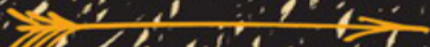


**ДМИТРИЙ
БЫКОВ**

ДУМАНИЕ МИРА



ИНСТАНЦИЯ ВКУСА



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
Москва



SHOUT
SHARE IT

Annotation

Дмитрий Быков не перестает удивлять читателей всеохватностью своего литературного и публицистического таланта. Кажется, нет темы в искусстве или социальной жизни нашего общества, которую не наколот бы этот вездесущий автор на свое безукоризненно отточенное перо.

В книгу «Думание мира» вошли рецензии, статьи и эссе Дмитрия Быкова, написанные им за несколько последних лет и по-прежнему привлекающие к себе всеобщее внимание литературным блеском, актуальностью темы и необычным ракурсом авторского взгляда.

- **Дмитрий БЫКОВ**

- РЕЦЕНЗИИ

- Glamourder, или Новый русский экзистенциализм
 - Советские страсти
 - После
 - Добить Есенина
 - Конец связи
 - Белый ящер с белого берега
 - Стругацкие и другие
 - Крутые челы
 - Гарри Поттер и антитеррор

- ТЕНДЕНЦИИ

- Дисквалификация
 - Что я вижу
 - Девять мифов о России[1]
 - 1. Вернуть СССР
 - 2. Вот бука, бука, русский царь!
 - 3. Спирт для внешнего употребления
 - 4. Мифология Путина
 - 5. Игра в дурака
 - 6. Все свои
 - 7. Маленькая вера
 - 8. С головой, повернутой назад
 - 9. Ты у себя одна
 - Свои наши
 - Вся Россия — наш сад
 - Русские горки
 - Политика имманентностей
 - Клонинг и вышвыринг

- Молчание классики
- Пропавшая грамота
- Расстаться, смеясь
- Нужное подчеркнуть
- Поп в культуре
- Мертвые слова, или Ад вручную
- Возвращение советской литературы
- Проект РФ
- Возбужденные до беспредела
- Код Репина
- Псих-фактор
- Думание мира
- Отсутствие
- Сила вещей
- Небедные люди
- Бди
- Путеология
- Опыт о страхе
- Опыт о свободе и справедливости
- Сага о форсажах
- Конец фильма?

- notes

- 1
- 2

Дмитрий БЫКОВ
ДУМАНИЕ МИРА

РЕЦЕНЗИИ

Glamourder, или Новый русский экзистенциализм

«9 рота» — фильм не без достоинств. Символом своего времени он останется в любом случае. Это было время, когда у страны появились деньги, но исчезли последние смыслы. Денег в этом фильме много, а смыслов нет совсем. Впрочем, еще Надежда Мандельштам учила читателей: *«В мучительные эпохи, когда бедствие, нечеловеческое и чудовищное, затягивается на слишком долгий срок, нужно забывать про смысл — его не найти — и жить целью. Упражняйтесь в уничтожении смысла и в заготовке целей»*.

Разумеется, я далек от того, чтобы объявить наше время нечеловеческим и чудовищным. Эти слова нуждаются в корректировке: оно нечеловеческое ровно в том смысле, что ничему человеческому в нем места нет. Назвать его чудовищным — огромное преувеличение. Если сталинская эпоха, о которой пишет Надежда Яковлевна, рождала чудовищ, то нынешняя не рождает вовсе ничего. И это гораздо лучше. В странах, живущих природными циклами, вопрос о смысле упраздняется. Что касается цели, то она в России одинакова во все времена: как можно дольше поддерживать такое внеисторическое существование, потому, что, где есть начало — есть и конец, а мысль о конце для русского сознания совершенно невыносима. «9 рота» — фильм о том, как жить в отсутствие смысла; и более того — о том, что его не бывает. Есть цель — поддержание империи в жизнеспособном состоянии. Чтобы существовать, империя обязана периодически сжиматься и разжиматься. Сжиматься, как сейчас, ей тоже важно — Александр Дугин сравнил динамику русского развития с биением огромного сердца. Сжатие и разжатие так же взаимообусловлены, как систола и диастола. Это наше сердце, правда, марширует на месте — но, может, у России и впрямь такая функция? Если помыслить Землю как антропоморфный живой организм, Россия вполне может оказаться его сердцем, которое и не обязано двигаться куда-то. А руками, например, будет неутомимый Китай.

В какой-то момент империи необходима была внешняя экспансия. Дружественный народ Афганистана не был в этом виноват ни сном ни духом. Никакого геополитического, экономического и нравственного смысла в афганской кампании не было. На нас никто не нападал. Но поскольку быть империей правильно, как правильно, по мысли Алексея Балабанова в фильме «Война», быть мужиком, — надо было войти в

Афганистан, чтобы несколько тысяч мужиков там погибли. Очень возможно, что вспыхнувшая вокруг фильма полемика не случайна (и уж точно более осмысленна, чем сама «9 рота»): одни утверждают, что наши воевали в Афганистане бездарно, другие — что прекрасно. Одни говорят, что Коротков с Бондарчуком исказили действительность, потому что реальная девятая рота отразила атаки, удержала высоту и сохранила почти половину личного состава. Другие доказывают, что искажения не принципиальны. Ни те ни другие — как во всех русских полемиках — не отвечают на главный вопрос: что делала девятая рота в Афганистане и каков был смысл удержания высоты? Этот отказ задуматься о смысле (потому что в прежние времена и в прежних фильмах такие попытки, по крайней мере, делались) знаменует собою наступление нового русского экзистенциализма.

Манифест Надежды Яковлевны — экзистенциализм классический, старообразный: если в мире нет ничего человеческого, если в нем отсутствуют милосердие и благодарность — единственным достойным путем остается путь одинокого подвига, не нуждающегося в награде. Этим же пафосом были проникнуты страшные военные повести Василя Быкова, старательно лишавшего действия своих героев какого-либо прагматического смысла. Смысл был в том, чтобы «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться», — этот безнадежный инфинитивный императив не случайно повторялся у него в названиях. Быков доказывал, что главное — остаться человеком, а убьешь ты врага или нет — вопрос десятый. Бондарчук рассматривает эту же коллизия на материале другой войны. Разница в том, что у Великой Отечественной смысл все же был, и война эта была справедливой. Но вопрос о справедливости и несправедливости войны тоже подлежит пересмотру, как и все, что в нас вбивали в школе. Мы занимаемся сейчас не патриотической демагогией, а феноменологией, и потому вопрос о справедливом характере Великой Отечественной здесь не принципиален.

Если бы Сталин осуществил свое намерение (приписываемое ему Суворовым и Радзинским) и первым напал на фашистскую Германию, война перестала бы быть столь справедливой, но погибать на ней пришлось бы все равно — просто потому, что ее ведет твоя страна. Тот, кто в сорок первом обратил бы оружие против тирана Сталина и встал на сторону захватчиков — разумеется, из соображений антитоталитарных и гуманитарных, — все равно был бы предателем своей Родины, потому что на войне вопрос о качестве Родины снимается. Именно поэтому все русские патриоты так любят войну — бывшую и будущую. На

войне Родина никогда ни в чем не виновата. На войне она особенно имманентна. Возможно, одной из причин афганской кампании было именно то, что у населения накопились к Родине достаточно серьезные вопросы, которые требовалось немедленно снять. Юрий Андропов, как можно предполагать по некоторым его действиям, был настроен именно на третью мировую войну, которая, как ни странно, могла оказаться для Советского Союза менее опасна, чем перестройка. Вообще между врагом внешним и внутренним истинный патриот должен всегда выбирать внешнего, поскольку он для страны не только не опасен, но даже и благодотворен. Завоевать Россию целиком все равно не сумеет никто, а вот развалить ее изнутри очень даже можно. «9 рота» — и об этом тоже, если правильно ее смотреть.

Русский человек воюет не за принципы. Он воюет за имманентности. Это и ответ на вопрос о том, почему за нашу Родину нельзя жить, но можно умирать. Наша Родина все делает для того, чтобы жить в ней было трудно, почти невозможно. Жить без смыслов не очень приятно, тогда как умирать без смысла можно сколько угодно. Смерть вообще не особенно осмысленное занятие.

Все эти истины довольно трагичны, как трагично всякое циклическое существование. Трагично язычество. Дохристианское сознание не сулит надежды. Поэтому интонация «9 роты» могла быть совершенно другой — и картина состоялась бы, как состоялся «Apocalypse Now». Экзистенциализм плохо совмещается с гламуром. Боюсь, что неверная интонация взята уже в киноповести Юрия Короткова, который, будучи хорошим и высокопрофессиональным сценаристом, не умеет писать трагедии и экзистенциальные драмы. У него получаются очень милые истории, в которых нет настоящей безвыходности — и установки на нее.

Юрий Коротков рассказывает историю про хороших ребят, попавших в нелегкие обстоятельства. Такой сценарий об Афгане мог бы быть написан во времена самого Афгана — разве что сцену с Белоснежкой оттуда вырезали бы как очернительскую. В остальном я не вижу в «9 роте» решительно ничего, что помешало бы ей появиться на экране в 1983 году. Правда, в картине недостаточно раскрыта тема партийного руководства Вооруженными Силами и комсомольского влияния на рядовой состав. Но эту тему легко раскрыть, вписав в сценарий эпизод с комсомольской проработкой Хохла за то, что он отправил рядового за спичками в незнакомый кишлак. Возможно, в 1983 году в картине появился бы эпизод дружеской беседы нашего военнотружашего с афганской девушкой, весело несущей на

голове кувшин с ключевой водой. Но в картине и так присутствуют трогательные афганские дети.

Что до моджахедов, душманов и иных врагов, то их образы решены в полном соответствии с эстетикой 1983 года — у них зверские лица и черные очки, и все они, без сомнения, обкурены. Интернациональный состав Советской Армии подчеркивается образом правильного чеченца, а тема тягот и лишений воинской службы раскрывается благодаря образу командира учебной роты Дыгало, на лицо ужасного, доброго внутри. Нежная сущность Дыгало раскрывается благодаря эпизоду, в котором он просит художника Джоконду нарисовать его без шрама — вместо того, чтобы избить художника Джоконду, позволившего себе непристойную шалость. Возможно, в фильме 1983 года художник Джоконда вылепил бы из пластила не член с яйцами, но, допустим, бабу с сиськами или же зайчика с ушками.

Единственный порок «9 роты» — он же главное достоинство, если рассматривать картину не как факт искусства, но как симптом паралича, — заключается именно в несоответствии изобразительных средств и главного пафоса. Пафос состоит в том, что умирать за Родину надо, не спрашивая, права она или нет, — и только это называется настоящим мужчи́змом. Изобразительные средства напоминают рекламный клип, словно вся «9 рота» и есть до бесконечности затянутый рекламный ролик настоящего фильма об афганской войне. Оттого мягкий юмор в обрисовке героев неуместен, а некоторый соцреализм при демонстрации боевых будней слишком ясно отсылает к программе «Служу Советскому Союзу» или клипу Леонида Агутина «Граница» («Ты пойми, что сына — настоящая мужчина» или что-то в этом духе). Все актеры, включая дебютантов, отчаянно фальшивят по этой же причине. Героям не веришь — ни когда они живут, ни когда погибают. Такой диссонанс обеспечивается самой постановкой задачи: о трагической и безвыходной русской ситуации — о жизни вне истории, вне прогресса и вне смысла — предполагается рассказывать с гордостью и одобрением, признавая такой порядок вещей не просто выносимым, но и единственно правильным. Трагический фильм об Афгане — и вообще о русской жизни — сегодня не нужен никому, потому что Россия не заинтересована в переменах и не верит в них. Нужен фильм, конституирующий именно такое положение дел и радостно приветствующий возвращение к нему. Все остальное несет России гибель и распад, и предыдущие двадцать лет нашей истории предполагается забыть как странный сон, что, в общем, по-своему логично.

Про операторскую, композиторскую, художническую,

сценарную и промоутерскую работу я, если можно, ничего говорить не буду, потому что это неинтересно.

2006 год

Фильму Алексея Балабанова «Груз 200» крупно повезло в кинокритическом мнении. Давно уже не было у нас признания столь дружного и единодушного — причем со стороны цеха, отнюдь не отличающегося снисходительностью. «Мне не больно» — попытка Балабанова быть милым и человечным — встретила год назад столь же синхронный отпор; такое чувство, что от этого режиссера ждут исключительно брутальности — и на этот раз дождались, и все счастливы.

«Груз 200» — про мента-маньяка в 1984 году — действительно хороший фильм, он замечательно сделан, социально точен, художественно убедителен — при всех многократно отмеченных фабульных нестыковках и натяжках. Меньше всего мне хочется в очередной раз изображать *enfant terrible* и гулять против потока, но то, за что эту картину — и стоящую за ней концепцию — хвалят, меня как раз больше всего раздражает. Журнал «Сеанс» опубликовал подборку критических отзывов — и почти во всех четырнадцати рефреном идет заветная мысль: это чернуха, мы такой не видели с девяностых, но это прекрасно, потому что вскрывает советскую ложь. Отвратительно было это сюсюкающее лицемерие среди назревавшей подземной жестокости! Смотрите, как в закрытом обществе позднего социализма плодятся маньяки! Один Юрий Гладильщиков в «Русском Newsweek'е» искренне удивился: социализм давно пал, а маньяков не убывало. Масла в огонь подлил сам Балабанов, давший — что редкость — внятное интервью по окончании работы над фильмом. Сейчас, сказал он, все-таки лучше. Сейчас — голый честный цинизм. А тогда была сплошная ложь, ой, ужас какой!

И вот тут у меня концептуальное возражение — и по поводу фильма, и по поводу его авторской и критической трактовки. Вся эстетика «Груза 200» выстроена — и вполне удачно — на контрасте между страной и ее антуражем, разлагающейся идеологией и подпочвенной дикостью, готовой вырваться наружу; главный контрапункт — идеально выстроенное сочетание видеоряда, состоящего из насилия, пьянства и распада личности, и звукоряда, составленного из позднесоветской лирической попсы. Это работает. Но судя по тому, до какой степени картонны в фильме все персонажи кроме маньяка, — это в равной степени касается и его жертвы, и уверовавшего ленинградского профессора, и бывшего зека, мечтающего о городе солнца, и его сожительницы, которая в конце концов выскочила ниоткуда и отмысла менту, — Балабанова нимало не волнует мораль, в

очередной раз пристегнутая к его фильму на живую нитку. Точно так же не волновала его русская идея, на которой он остроумно поспекулировал в обоих «Братьях». И проблема криминала, освещаемая в «Жмурках», и даже тема чеченской войны, продажности генералитета, неадекватности власти, затронутая в фильме «Война», — занимали его очень мало. Балабанов — что откровеннее всего выступило в фильме «Про уродов и людей» — интересуется прежде всего насилием и механизмами, способными его остановить или уравновесить. Пока он таких механизмов не видит. Разве что Антонина из последнего фильма, которая пристрелила-таки ужасного насильника-импотента. Но это такой бог из машины, что обсуждать эту линию всерьез трудно. Никто и не обсуждает. А вот маньяк автору очень интересен, и по-настоящему сильной картина становится только там, где этот персонаж появляется и действует. С любовью задуман, с тщанием изображен.

Однако если уж Балабанов пристегнул к своему — нет слов, отличному — триллеру еще и некий социальный месседж, придется его трактовать: именно он пришелся по душе отечественным интерпретаторам, очень скучающим по девяностым годам. Нет слов, в смысле чернухи (и художественной правды, ибо это зачастую синонимы) все тогда обстояло значительно лучше. А вот насчет оплевания СССР Балабанов, кажется, попал в струю — его картина выходит одновременно с бурной дискуссией о том, следует ли убирать серп и молот со Знамени Победы. Получается как бы, что победила Россия, а не Советский Союз. Хотя Россия нулевых, в сегодняшнем своем виде, не то что тогдашнего фашизма не победила бы — она с собственным справиться не способна, благо к скинхедам он далеко не сводится.

И тут уж надо сказать со всей определенностью: Советский Союз, даже распадного, гнилостного образца 1984 года, был все-таки значительно лучше того «голового честного цинизма», который мы наблюдаем сегодня. И образ страны, какой она была на самом деле и какой запомнилась мне, — далеко не совпадает с тем, что так страстно, со ссылками на реальные события и собственный опыт, изобразил Алексей Балабанов.

Да, это была страна лживая и грязная, убивавшая в Афганистане своих и чужих без меры и цели, страна с катастрофически глупеющей властью, повальным запретительством, изуверской жестокостью на всех уровнях — от низового, семейного, до милицейского, судебного или идеологического. Но в этой стране, наряду с грязью и злобой, была, без преувеличений, сильная культура, а главное — у всех

было четкое представление о добре и зле. И хотя девяносто процентов населения через эти представления успешно переступали по десять раз на дню, они, по крайней мере, испытывали некое сознание собственной греховности. В этой стране боролись с пещерным национализмом, хотя тупым запретительством и загоняли его в подполье. Там еще не господствовала дарвинистская мораль «падающего толкни». И несмотря на все свои мелкие грешки, ежедневные компромиссы с законом и моралью и прочие человеческие слабости, большая часть населения этой страны состояла все же из приличных людей. А вовсе не из тех макабрических и вдобавок плохо сыгранных уродов, которыми населена картина Балабанова.

Сейчас, как ни странно, все советское вызывает дикую злобу не только у правых, либеральных, интеллигентных и прочих публицистов и критиков, — но прежде всего у нынешних идеологов страны, которые и затеяли расставание с серпом и молотом. То ли этих персонажей так злит лимоновская символика, то ли — что более вероятно — при всем сходстве нефтяных конъюнктур и застойных методов управления страной они отлично чувствуют разницу. Советский Союз не состоял из зверств и лжи, не сводился к имперскому утеснению, чекистским расстрелам и коммунистической диктатуре. Он был задуман как великий утопический проект, и ответ этой вековой утопии лежал даже на его руинах. Понимаю, что впадаю в некоторую прохановщину, — но Проханов, при полном отсутствии у него художественного вкуса, социальным чутьем не обделен. Советский Союз — даже во времена стагнации, «колбасных электричек» и повальной коррупции — обладал тем, чего нынешняя Россия, при сохранении всех этих прелестей, начисто лишена. Это можно назвать величием, а можно — народным единством, а можно — совестью, но это было, и я это помню. Меня-то Балабанов не обманет, при всем своем таланте. Ведь мир, изображенный в «Жмурках», живописующих как раз девяностые годы, — ничуть не менее абсурден и жесток, чем мир «Груза 200». И даже кафкианский «Замок» у Балабанова снят с той же мерой омерзения к условной, брейгелевской реальности картины. Балабанов так видит. Таков угол его художественного зрения. Россия Серебряного века в «Трофиме» и «Уродах», да и Якутия в «Реке» были ничуть не милосердней и уж подавно не уютней. И нечего сюда пристегивать советскую власть, которая — сохраняя все наши неизменные, генетические болезни, — предлагала человеку хоть немного приподняться над собой.

Этого-то ей сегодня и не прощают. В ее зловонном распаде, ранних зверствах и позднем маразме видят компрометацию

любых надежд на любые перемены. Гибель СССР сегодня выглядит и для власти, и для интеллигенции, и для бизнеса с его позднекомсомольскими нравами необходимым оправданием собственного скотства. Раз с утопией не вышло — будем радостно чесаться о стены хлева.

Этим-то и плох хороший фильм Алексея Балабанова, которому решительно все равно, за счет какой идеологии удовлетворять свои эстетические страсти.

2007 год

После окончания школы Александр Миндадзе некоторое время работал секретарем в суде, и эта работа, думаю, сформировала его в большей степени, нежели окончанный в 1972 году ВГИК и последующая служба в войсках связи. Именно тогда, накануне поступления, Миндадзе придумал первый свой сценарий. Поезд должен был столкнуться с другим составом, машинист ценой жизни предотвратил крушение — это в предыстории, а история — жизнь пассажиров после катастрофы. Десяток разных новелл. Живут они пошло и скучно, словно и не спас их человек, и не погиб за них. Однозначного вывода нет, да и какой вывод? Не спрашивать же: «Стоило ли?» — ясно, что человек погиб не за их насыщенную и осмысленную жизнь, а просто потому, что людей спасал. И вообще: где критерий полноценности? Может, именно такое полуживотное состояние и есть самое прекрасное, потому что от этих людей уж точно никому никаких неприятностей вроде диктатур или революций? Но все они чувствуют смутное недовольство, тревогу — не знают только, откуда. А она оттуда: кто-то за нас погиб, и мы не уверены, что этого достойны. Этот вполне христианский взгляд был присущ Миндадзе уже тогда, но главное — эмоция, потому что его кинематограф не особенно рационален. Он далеко не равен простым притчам, которые сам автор — для зрительского удобства — выводит из собственных сценариев.

Ни одна картина Абдрашитова и Миндадзе не сводится к идейному или социальному послы: отсюда их тревожная, будоражащая атмосфера, отсюда и зрительская неудовлетворенность. Не то чтобы мы недовольны уровнем — с ним все в порядке. Но нам не обеспечили катарсиса — с ним у Абдрашитова и Миндадзе вполне сознательная напряженка. Выхода не указали. Вывод проблематичен. Что-то очень сильно не так.

Я долго думал, в чем особенность кинематографа Миндадзе — он и в чужом, неабдрашитовском исполнении сохраняет свои системные черты: «Космос как предчувствие» или «Тихое следствие», не говоря о его собственном режиссерском дебюте «Отрыв», тоже тревожат и будоражат довольно сложным ощущением — вроде перед нами классический социальный реализм, дотошный, точный в мелочах, и тем не менее мир не тот, люди не те и все сдвинуто. Только в мелочах-то он и точен, а в главном все непоправимо смещено. «Что-то случилось», как в лучшем романе Хеллера. Легко сказать, что Миндадзе — чьи

сценарии, все до одного, растут из того первого замысла, как из общего корня — исследует частного человека на сломе, выхватывает его из обыденности и подвергает испытанию катастрофой; но ведь таково, во-первых, все искусство. Никакой особенности в этом нет. А во-вторых, я бы не сказал, что Миндадзе вообще интересуется герой как таковой, частный человек: он чаще всего схематичен, служебен. Оттого актеры так и любят сниматься в его историях: есть куда поместить собственные представления о герое. В «Охоте на лис» о герое Гостюхина ничего не сказано — это Гостюхин целиком себя туда принес, доброго простого человека, искренне не понимающего, как это бывают на свете другие люди. Борисов в «Параде планет», Колтаков в «Армавире», Толстоганова в «Магнитных бурях» играют или себя, или свое представление о герое. В сценарии ничего этого нет — полный простор. Не герой интересует Миндадзе, а нечто иное.

И после «Отрыва» я понял. Почему именно после него — особый разговор: просто в его собственной режиссуре особенности его сценарного почерка выступили ярче. Миндадзе интересуется мир после катастрофы. Это его единственная тема. Мир, в котором что-то непоправимо кончилось. Он его вокруг себя видит, так воспринимает реальность, она для него вся — последствие взрыва, извержения, предательства, социального разлома. Мы живем во Вселенной, пережившей Апокалипсис. И более мелкие катастрофы в фильмах Миндадзе — Абдрашитов их снимал, или Учитель, или Прошкин, — не более чем наглядные и лаконичные версии той, главной. Всякая жизнь — по крайней мере, в двадцатом веке — есть жизнь ПОСЛЕ. После чего-то столь ужасного, что даже память об этом заблокирована. Герои Миндадзе попадают под суд, в тюрьму, в аварию, теряют близких, становятся жертвами бандитских разборок — только для того, чтобы проявить эту изначальную посткатастрофичность. И это у него не идеологическое (хотя допускаю, что такое мироощущение присуще всякому нормальному христианину, — ведь все мы живем после Голгофы), а эстетическое. Его интересуется такая постапокалиптическая реальность и возможности, которые она предоставляет художнику.

Не сказать, чтобы он был в этом одинок. Скажем, Стругацкие в «Далекой Радуге» смоделировали мир после катастрофы, точнее, в последние ее минуты, когда уже нельзя спастись. Одни лихорадочно ищут лазейки, другие и на самом краю пихаются локтями, третьи же, выбрав лучшую часть, либо уплывают в закатное море, либо играют на рояле, либо спокойно и благожелательно созерцают пейзаж своего последнего вечера.

Повесть, по авторскому признанию, была навеяна фильмом «На последнем берегу» — тоже о послекатастрофическом мире, — и Миндадзе наверняка посмотрел его тогда же, и в подростковую его душу навеки проникло губительное очарование этого условного пространства. Все кончилось, тут-то все и начинается. Герои «Времени танцора» живут в райском саду, разросшемся на месте горной республики, в которой всю цивилизацию начисто разрушила война.

Оказывается, после катастрофы бывает и рай. Именно в нем происходит действие «Парада планет» — картины, в которой эта посткатастрофичность наиболее наглядна, потому что никакого социального посыла тут нет вовсе. Чистая эстетика: люди поехали на военные сборы, их рота накрыта условным ядерным взрывом и объявлена условно погибшей, — но с работы-то их отпустили на неделю, и они теперь свободны. Куда себя деть? Они ходят по Подмосковию — странному, чужому, волшебным образом преображенному: призраки, освобожденные от всего земного — семей, профессий, прошлого. Попадают в загадочный город женщин и столь же загадочный город стариков. Проявляют чудеса доброты и милосердия, юмора и изобретательности — именно потому, что все уже случилось и бороться уже ни за что не надо.

Человек после смерти — вообще, наверное, хороший человек, потому что ведь это жизнь делает его ужасным. Как ни странно, у Миндадзе после катастрофы все тоже становятся хорошими, как герой Янковского в «Повороте» или герой Колтакова в «Армавире». Кстати, когда чаемый Миндадзе конец света настал в отдельно взятой советской империи, именно его мироощущение оказалось самым точным — именно он сумел написать «Армавир» с гениальной сценой переключки на колесе обозрения, когда огромная страна сама себя окликает и тщится связать разорванное. Именно он оказался автором «Магнитных бурь» — истории о том, что социальные катаклизмы беспричинны, и уроки из них извлекать бессмысленно. Надо думать не о том, почему катастрофа происходит (она не может не произойти, это имманентная, регулярная данность русского мира), а о том, как себя вести во время и после нее.

Герой Миндадзе — безусловно массовый человек, в котором под действием стихийных сил просыпается не массовое, не человеческое, а почти ангельское. Правда, это смотря в ком: герой «Отрыва», скажем, становится сверхчеловеком, лишенным сострадания, и не сказать, чтобы это новое состояние было ему неприятно. А герой Гостюхина в «Охоте», столкнувшись с непонятным, принципиально иным устройством психики (тоже, кстати, довольно противным), становится тупо агрессивен и в

конец вообще молотит подшефного малолетку ногами (этот финал им тогда сделать не разрешили). Кстати, герои «Плюмбума» все как один оказываются беззащитны перед лицом будущего (а всего и случилось-то, что в их среде завелся железный мальчик, не чувствующий боли). Не сказать, чтобы все так уж перерождалось в святых. Но Миндадзе интересует не святость, а самоощущение человека, выпавшего из времени. Что у него остается, когда отнимается повседневность? И тут выясняется главное: этот человек уже неподсуден обычным людским правилам и критериям. Он действительно супермен. И он обречен — потому что выживает только тот, кто вписывается в систему. А тот, кто побывал в аду и выжил, уже не жилец — и об этом «Пьеса для пассажира», не зря получившая в Берлине сценарного «Серебряного медведя».

Откуда у Миндадзе такое мироощущение — сказать трудно. Но мне как раз кажется, что оно обусловлено социально: любой, кто жил в СССР времен его излета и деградации, чувствовал, что это ненадолго. Обреченностью дуло из всех щелей. Советский проект был слишком умозрителен, чтобы жить, слишком нелеп и идеалистичен в теории, слишком кровав на практике, чтобы существовать. И накануне распада такое апокалиптическое мироощущение тут было у многих — почему «Письма мертвого человека» другого нашего духовидца, Константина Лопушанского, и стяжали такой феноменальный успех. Правда, все боялись ядерного апокалипсиса, а случился другой, — но не случайно он начался с Чернобыля. Обреченность была в воздухе. Но еще в этом воздухе была неправота — очень полезная составляющая: режим не был уверен в своей стопроцентной легитимности, в идеальности, он сдался практически без боя. Поэтому и стал возможен феномен Абдрашитова и Миндадзе: им дали состояться.

В «Отрыве» — первой режиссерской работе Александра Миндадзе — катастрофа впервые исследуется уже без всякого социального подтекста (Абдрашитов-то, блестящий социальный диагност, всегда искал виноватого и вытаскивал на экран общественные язвы; пожалуй, он делает это лучше всех). Для Миндадзе не важен виновник, потому что ничего нельзя изменить. Идет чисто психологическое, филигранное, рискованное исследование небывалого состояния: выжили чудом — и теперь готовы то плакать, то смеяться, то шутить друг над другом бесчеловечные шутки. Психика становится сверхлабильной, гиперподвижной, все возможности равны. Это и есть отрыв. И эту высшую степень свободы Миндадзе исследует, обнаруживая в ней корни той губительной сверхсвободы, которая нас без руля и без ветрил мотала в последние пятнадцать лет.

Ехали без правил по встречной, сознавая себя в своем праве. А выход где? А выход — вспомнить, что вокруг все-таки люди, и они ни в чем не виноваты. Впрочем, выхода для героя не предложено: обрыв. Может, он никогда уже не станет человеком, потому что когда-то на несколько дней выпал из всех правил. Может, и страна уже никогда не станет прежней. Потому что опыт отрыва так просто не избывается — даже если отрыв куплен нечеловеческой ценой. Миндадзе не знает, что будет. Но то, что происходит, он показал с отважной, убийственной точностью. Любой, кто жил сначала в СССР, а потом в постсоветской России, по одному диалогу, по любому кадру узнает собственную правду в любой из его картин.

Прямо скажем, Миндадзе не писатель: он пишет не для чтения, а для кино, и чтение его сценариев — тяжелая работа даже для профессионала. Российский сценарий традиционно тяготеет к киноповести, а тут перед нами жесткое либретто; фантастика — но множество предложений в этих сценариях вообще безличны.

«Идут, встали. Фары из тумана. Поеживаясь, бредут дальше. Крикнули за лесом. Обернулись. Что такое? Бегут через кусты.

— Ты что здесь?

— Так а там...

— Пошли с нами.

Бегут, падают. Зарево. Встали. Огляделись. Осторожно пошли».

Пусть Александр Анатольевич простит мне эту невинную пародию — ничего обидного тут нет, он примерно так и пишет, и стилистика Абдрашитова, превосходно снимающего именно толпу или человека толпы, идеально наложилась на эту манеру. А и не важно, кто идет. Идет жизнь. Диалоги у Миндадзе отрывочны и лапидарны, а собственно нарратив похож на отчет черного ящика с поврежденной пленкой, на рваные фразы чудом выжившего: «Мы туда... А там... А они...»

Но никто и не обещал, что будет легко. Миндадзе умеет заставить себя слушать — читать и смотреть его надо внимательно, реконструируя ситуацию по обмолвкам, прислушиваясь к проговоркам. Люди постапокалипсиса должны уметь замечать любые мелочи, потому что привычный мир кончился. Здесь никогда не знаешь, откуда ударит. И этому вниманию он нас учит уже сейчас, потому что что-нибудь обязательно произойдет. Ясно же. Причем со всеми.

Кто читал и смотрел Миндадзе — по крайней мере, готов.

Почему в России так любят юбилеи, я, кажется, догадываюсь. Нам дорог любой повод повыяснять отношения, поуничтожать друг друга, размахивая то национальным триумфом вроде гагаринского полета, то национальной трагедией вроде Беслана. Юбиляры превращаются в аналогичные орудия взаимного истребления. В этом году таких юбилеев случилось сразу два: у Шолохова и у Есенина. Два главных пункта либерально-патриотических разногласий в литературе обозначились снова: Шолохов САМ написал «Тихий Дон». А вот Есенин повесился НЕ САМ.

Собственно, только об этом сегодня и речь. Все остальное — на уровне одной статьи в правительственной газете. Статья называется «Певец родных просторов». Тот факт, что Есенин был выдающимся авангардистом, сторонником крестьянской революционной утопии, реформатором русского стиха, учеником и поклонником Блока, автором «Инонии», «Сорокоуста», «Пугачева», игнорируется вчистую. Снова, как в семидесятые, востребован сусальный отрок с трубкой в углу херувимского рта; снова в разговорах о Есенине доминирует синтез самых отвратительных интонаций — блатной и патриотической. Они, впрочем, вообще похожи — и блатные, и патриоты любят сочетание надрывной сентиментальности с изуверской жестокостью. Сентиментальность направлена на себя, жестокость — на окружающих. Мы самые бедные, и поэтому нам можно все. И сейчас мы всем покажем.

В рамках этой концепции — «Мы самые бедные» — осмысливается и биография Есенина. Конечно, певец русской деревни не мог умереть сам. Его убил ужасный Лейба Троцкий с Яковом Блюмкиным. Нет, неправда, его убила кровавая Чека во главе с Дзержинским, а осуществила она свою кровавую месть руками Галины Бениславской, агентессы Феликса, застрелившейся от раскаяния на есенинской могиле. Вопросы о том, убит Есенин или покончил с собой, уже не возникает. Убит. Сам спикер Совета Федерации Миронов торжественно потребовал заново расследовать дело о гибели Есенина. Потому что он, Миронов, хоть и возглавляет «Партию жизни», но часто видел смерть. И у самоубийц руки не так, как у Есенина на посмертной фотографии. Вот как-то у них они не так. Это он дословно так сказал.

Понятно, что Сергей Миронов просто пересказывает своими словами труды Эдуарда Хлысталова — главного апологета версии

о коварном убийстве национального поэта. Именно эта версия легла в основу романа Виталия Безрукова «Есенин», а роман, в свою очередь, лег в основу фильма, показ которого на Первом, я не шучу, канале запланирован на 7 ноября. Чтобы люди примерно знали, что их ждет, книга Безрукова-отца с портретами Безрукова-сына на обложке и корешке продается с начала октября. Правда, Безруков-сын поспешил успокоить потрясенные массы, сказав, что в книге все жестче — в кино кое-чего показать так и не смогли (снимали по всей России плюс Венеция).

Если бы книга Безрукова была хорошо написана — слова бы не сказал. Но эта книга переполнена пассажами вроде: *«Сергей увидел ее упругое тело, красивый и чувственный рот, небольшие груди, как две изящные чаши, обращенные внутрь, и желание обладать ею снова накатило на него»*. Или: *«Есенин, обхватив голову руками, долго и напряженно читал газетные полосы, пока у него не сложилось полное представление о трагической гибели бакинских комиссаров»*. *«Сергей! Ты... — От волнения Чагин не находил слов. — Ты... ты сотворил жемчужину советской поэзии! Жемчужину, дорогой! Я прочел... Волосы дыбом встают от ужаса!»*

Что да, то да: они встают. Этот дикий набор штампов, эротических фантазий и конспирологических пассажей, разбавленных патриотическим квасом, растянут на шестьсот сорок страниц. Не знаю, как режиссер Игорь Зайцев справился с переложением безруковских фантазмов на язык кино, не знаю также, будет ли Есенин в исполнении Безрукова так же похож на Сашу Белого, как Саша Пушкин в его версии пушкинской судьбы (спектакль «Александр Пушкин» до сих пор украшает собою афиши театра им. Ермоловой). По крайней мере, рейтинг сериалу обеспечен: теперь и те, кто в ужасе от романа, посмотрят фильм, чтобы убедиться в беспредельности человеческих возможностей... В свое время Бурляев снял картину о Лермонтове — и получил таки адекватную критическую оценку: Лермонтов там говорил его стихами, не всем это понравилось, несмотря на весь патриотический напор картины. Сегодня все можно — крой беглым.

Правда, одновременно выходит и другая картина о Есенине — полуторачасовая, не сериальная. «Золотая голова на плахе». Постановка Семена Рябикова. Рябиков утверждает, что сериал плохой, а вот у него фильм хороший. Принципиальных различий постигнуть не могу. Правда, Рябиков утверждает, что Безруков-младший не созрел еще играть Есенина, а вот у него играет Дмитрий Муляр с Таганки, и это прекрасно. Не знаю. Лично мне после просмотра «Золотой головы» (участием в которой

оскоромились также Василий Лановой и Аристарх Ливанов, давно известные патриотическими взглядами и пряной духовностью) кажется, что Муляр и в игрушки играть не вполне созрел, не то что в Есенина — пусть меня простит артист, использованный в унылой стряпне. Картину презентовали в Рязани еще в декабре прошлого года (сериал «Есенин» показали жителям Константинова только в начале октября; правильно Есенин называл свою деревню бедной!). Фильма беспомощнее рябиковского мне давно уже не приходилось видеть. И добро бы у него с Безруковыми были концептуальные расхождения — так ведь нет! Версия все та же: убили, убили нашего великого национального поэта! Только у Рябикова главная злодейка — шпионка Бениславская; ну так ведь она и у Безруковых прозрачно и толсто обвинена в слежке за любимым!

Я не буду сейчас говорить о присвоении действительно большого поэта кучкой агрессивных бездарей. Не говорю даже о том страшно обедненном, куцем, жалком восприятии лирики Есенина, при котором его образность, его композиция, его удивительная органика отходят на второй, третий, десятый план... Такой Есенин, какого описывают патриотические издания и показывают телевизионные каналы, ничем не отличается от блатного шансонье, поющего про ресторанный тоску, бабу-суку (или бабу-несуку, которая ждет своего жигана) и старуху-маму. К сожалению, случалось Есенину брать и эти блатные ноты, и не сказать, чтобы за такую трактовку своих сочинений он вовсе не отвечал. Меня другое смущает: почему все-таки им обязательно надо, чтобы его убили? Почему и юбилей его — 110-летний, не круглый, но очень им нужный, — они используют не для того, чтобы проследить литературные связи Есенина, и не для того даже, чтобы разобраться с его реальными врагами, политическими и литературными.

Со слов множества современников известно, что тогдашняя власть не только не преследовала, а активно защищала Есенина. Ему сходило с рук такое, что его друзьям (тому же Алексею Ганину или Николаю Клюеву) стоило жизни или, по крайней мере, места в литературе. Опять-таки патриоты всегда убеждены, что родное государство недостаточно внимательно прислушивалось к их кровожадным советам и гнобило патриотическую идеологию, вместо того чтобы опереться на нее. Почему так необходим этот миф об убитом поэте? Только ли потому, что настоящий национальный гений не может рук на себя наложить? Дело, думаю, не только в этом. И не в необходимости подновить образ врага, беспрестанно покушающегося на наши святыни. Дело в том, что сама стратегия Есенина — насквозь

самоубийственная — должна быть замолчана или оболгана. Потому что признать ее самоубийственность патриоты не согласятся никогда.

Им никогда не понять, что апология падения, скандала, самоуничтожения, которой так много у позднего, разочарованного Есенина, не могла закончиться иначе. Что культ всех навязываемых ими добродетелей, их фобии и мании, их комплексы и взгляды — не могут закончиться ничем иным, кроме гибели. Им очень хотелось бы видеть Россию и ее обитателей такими же, каковы худшие стихи Есенина: истеричными, агрессивными, саморекламными, пьяными, грязными. А этой грязи у Есенина побольше, чем у интеллигентного мальчика Маяковского, для устрашения врагов напавившего желтую кофту. И ненависти к интеллигенции, и отвратительного отношения к женщине у Есенина сколько угодно — но признать это самоубийственным почвенник не согласится никогда. Потому что для него все это и есть почвенничество.

К счастью, Есенин всем этим далеко не исчерпывается. Есенин — новатор и формотворец, Есенин — автор блистательных стихотворных драм, Есенин — автор «Черного человека», которого не понять белому человеку Саше Белому, — этот Есенин был и навсегда останется подлинным национальным достоянием. Это ясно всем, кто читал его с детства, плакал над «Песнью о собаке» и смеялся над эпиграммой на Брика. Этот Есенин — действительно гордость России, настоящей, не дикой, не пошлой и не блатной.

Но его все время убивают. Даже восемьдесят лет спустя.

2006 год

Фильм Авдотьи Смирновой «Связь» — блестящая удача.

Я не уверен, что автор вкладывал в картину именно те смыслы, которые для меня так очевидны, — но в переходные эпохи, когда ничто толком не определилось и стиль «бродит», всякое высказывание ценно не только как эстетический феномен, но и как симптом. Реальность нащупывает себя, и фильм Смирновой ценен уже тем, что это (в отличие от «Прогулки», скажем) — не попытка угодить тому или иному зрителю, соответствовать тому или иному тренду, продемонстрировать технические новшества или идеологическую фигу. Картина снята без досадной и всегда выпирающей ориентации на таргет-группу, она сделана честно, и в этом ее существенное достоинство. Но главное — почти без политики, с минимумом привязок ко времени, Смирновой удалось сказать о двухтысячных годах нечто более серьезное и внятное, чем большинству ее коллег.

Адюльтер — одна из самых социальных тем в культуре: именно потому, что на нем, как на оселке, проверяется так называемая общественная мораль. Про сам треугольник ничего нового не скажешь — он как тот топор, из которого варят суп: в конце топор можно убрать без всякого ущерба для кулеша. Да так, собственно, почти всегда и получается — у Толстого вышел роман о пореформенной России и метаниях мыслящего дворянина, о том, как бездарен государственник и как мается в армии приличный человек, ни в чем не находящий достойной реализации, а сама любовь Анны к Вронскому осталась где-то в первой трети первого тома. Диву даешься, как мало в мировой культуре сочинений собственно о любви: в «Ромео и Джульетте» всего ходульней и преувеличенней любовные диалоги героев, зато вражда — о, вражда! Про любовь писать труднее всего, да еще и допишешься до чего-нибудь неприятного — типа того, что в большинстве случаев она выдумана (один Стендаль, кажется, не стеснялся); большая тема, неприятная, даже у Пруста, начиная с «Содома», сплошные скрежетания страждущих собственников... Жуткая вообще вещь, лучше ее не касаться. И потому все любовные романы и фильмы, по большому счету, рассказывают о чем угодно, кроме любви.

Любовь домысливается читателем из личного опыта. Автор рассказывает о препятствиях, преодолеваемых влюбленными, и о реакции общества на адюльтер; чем откровенней автор, тем меньше мы узнаем о страшной, животной, физической стороне любви или о драме неизлечимой зависимости (срыванием

фиговых листков тут ничего не прояснишь). Зато о стране нам сообщают столько, сколько не выболтают десять аналитиков. Вот почему самые удачные тексты и фильмы о треугольниках появляются на больших исторических переломах; кстати, тема выбора героини (реже — героя) почти всегда накладывается на тему выбора России, безнадежно застрявшей между двумя моделями развития и неспособной определиться, почему так и мучаются все трое — Европа, Азия и, соответственно, мы. У Смирновой эта тема уже была заявлена в «Прогулке», в дихотомии «Петр — Алексей», но слишком уж в лоб. «Прогулка» как сценарий вообще сильнее претенциозного и умозрительного фильма, тогда как «Связь» как фильм, безусловно, лучше уже опубликованной киноповести. Это и есть первый признак кинематографической удачи: кино далеко не сводится к фабуле и диалогам, оно ценно веществом, и вещество у Смирновой поймано.

Общим местом (хотя приличной статьи о фильме мне прочесть еще не довелось) стало сопоставление «Связи» с «Осенью» Андрея Смирнова; сопоставление и впрямь напрашивается — хоть бы и на уровне названий: женский род, второе склонение, пять букв... Недооцененная, странная, очень личная картина Смирнова — полупровал и полузапрет которой был особенно замечен после триумфального «Белорусского вокзала» — тоже замечательно проявила время. Она обозначила эпоху глухого и окончательного застоя, у которой были, однако, свои преимущества. Человек окончательно и бесповоротно отделился от страны, в симфонии с которой мыслил себя на протяжении сказочных, идиллических шестидесятых. Родина была уже где-то отдельно, и не зря Смирнов сослал своих влюбленных в деревню. На фоне Натальи Гундаревой, жизнерадостно поучавшей Наталью Рудных — «Не то счастье, о чем спишь да бредишь, а то, на чем сидишь да едешь», — герои выглядели законченными изгоями.

Кульминацией фильма были вовсе не любовные сцены, а эпизод в шоферском шалмане, где Кулагин читал «На ранних поездах», а камера панорамировала по «неповторимым чертам»: лица, кружки, папиросный дым, плачущие окна, сырой серый простор за ними... Только в этом пространстве полуслучайных встреч и разговоров, где все друг другу чужие, несчастные любовники — тоже изгой — чувствовали себя на месте. Но к стране это их отнюдь не приближало — отчуждение всех от всех и от почвы торчало из каждого кадра, и не самая сильная картина семидесятых оказалась, как всегда и бывает, социологически самой точной. Более того, она зафиксировала необходимость

поступка, нравственного стержня.

Смирнов вообще любит приберегать эффектный музыкальный ход к финалу, снимая картины почти без музыки — и под конец взрывая: триумфальный ночной проход героя по улицам заснувшей Москвы, под музыку радостную, бравурную и вольную, олицетворял собою прорыв, кратковременную вспышку надежды среди всеобщей осени. Взял и ушел к любовнице. Как жить будем? Как-нибудь, посмотрим. Человеку вновь понадобилось умение принимать трудные решения, забытое было в оттепельные годы. «Терпения и мужества, друзья» — как заканчивался лучший, вероятно, рассказ Искандера, написанный пять лет спустя.

В «Связи» нет никакой связи, контекст утрачен начисто, прочее население страны представлено крайне скупо, даром что есть и сцена в пивной (но посетителей пивной не видно — в темном кадре сидит узкая компания, ближний круг героя). Камера Сергея Мачильского предельно субъективна: весь фильм — на крупных планах, даже и городская реальность в них не попадает. И этот минимализм — знак еще большего разрыва, окончательной изоляции: страна, безусловно, есть «где-то там», но героям нет до нее никакого дела. Как и ей до них. Разве что иногда она окликнет их голосом по-прежнему хамящей, неперевоспитуемой продавщицы. В магазине все равно пусто, и наши любовники никому не мешают со своими школьными поцелуями в кабинке для переодевания, — нет, надо наорать, все испортить! И не потому, что у продавщицы денег мало или личная жизнь трудная: она получает наслаждение, запрещая, разоряясь, срываясь на визг! Равнодушная доброжелательность ее улыбкивой младшей напарницы тоже очень показательна — Смирнова вообще точна в психологических деталях, чего так не доставало «Прогулке». Но главное, что есть в «Связи», — констатация полного отсутствия среды. Любовь возникает не потому, что Илюша и Нина жить друг без друга не могут, а потому, что делать больше нечего. Так часто бывает, я это много раз наблюдал.

Лидия Гинзбург много писала о том, что в любви действует механизм отвлечения. Человек охотно и радостно отвлекается на работу, общение с друзьями, на прогулку, наконец, — лишь бы оторваться от личной драмы. А драма неизбежна, если два разных человека вынуждены уживаться вместе или мучительно друг к другу притираться. Любовь, как уже было сказано, вообще травматична, и счастье, если мы на ней не сосредоточены, — иначе она нас утащит в такие бездны, о каких и в учебниках по сексопатологии не пишут. Мне случалось наблюдать и мужчин, и женщин, болезненно заикленных на единственной

привязанности, не способных думать ни о чем другом: как правило, предмет воздыханий ничего собой не представлял, да и безумная любовь была плодом воображения. Но когда человеку по-настоящему нечем жить, любовь становится единственным содержанием его пустых дней; так вот, мир «Связи» — мир, в котором действительно не на что отвлечься. «От делать нечего друзья» — это бы еще полбеды, но «отделать нечего любовь» — полный привет. Герои не работают (работа героини заключается в сборе материалов с жадных рекламодателей, герой держит два охотничьих магазина, где вся его трудовая деятельность сводится к перестановке чучела кенгуру).

Это не потому, что Смирнова не знает жизни, не собирала рекламу, не держала охотничий магазин, — это единственно потому, что такая работа не требует никакого участия души. Как и девяносто процентов менеджерских или посреднических должностей. Герой ездит на охоту и футбол, потому что так надо; героиня ходит учиться танго — потому что фитнеса не может себе позволить по причине среднего достатка семьи, а держать себя в форме как-то надо, хотя, как видим, и не получается. Что интересно — муж Нины и жена Ильи как раз вполне адекватные люди, и у каждого есть свое дело. Жена Ильи воспитывает дочь и приглядывает за домом и диетой мужа, на это уходит все ее время, и дом, в отличие от бизнеса, действительно в порядке; муж Нины — художник (лучшая роль в картине, сильная работа Дмитрия Шевченко), вдобавок он и в школе учительствует. Думаю, остроумной затеей была бы «Связь-2» — картина о том, как все это время Илюшина жена крутила страстный, бурный роман с Нининым мужем, и им, в отличие от наших героев, было о чем поговорить, и оба прекрасно конспирировались, поскольку не были к тридцати восьми годам такими законченными инфантилами, — отличная история была бы, смешная и осмысленная.

Что до Нины и Ильи, то Смирнова пасует перед необходимостью написать им хоть какие-то диалоги, и правильно делает: оба в кризисе среднего возраста, оба думали, что «больше уже ничего не будет», оба держатся за иллюзию жизни и молодости, и на месте партнера мог быть решительно любой. Тем для общения нет, кроме общих воспоминаний детства — почти обязательных для постсоветского кино. «Ля-ля-ля, жу-жу-жу, по секрету всему свету». У героев нет решительно ничего общего, кроме объединяющего всех советских детей чувства сиротства. Это же сиротство, тоска по великой империи, которой все боялись, — в разговорах друзей Ильи в пивной: Ходорковский украл у них не нефть, это бы ладно; он и такие, как он, украли

великую страну. Так им, безнадежно осиротевшим, кажется. Поэтому даже в постели они до сих нор повязывают галстуки и поют «По секрету всему свету». Это очень точно, а осиротевшее сознание хватается за любую ласку, любую заботу, любую мягкость. Это они и дают друг другу: Нина вообще очень сентиментальна, страшно жалеет себя (и зритель до слез ее жалеет), когда она бредет одна с ненужной шукой по своему Ленинграду, и любовь ее так же нелепа и никому не нужна, как эта шука... Взаимная пасмурная нежность осиротевших детей, которым некуда себя деть, — вот что у Смирновой вместо любви, и слава богу.

Но если от любви герои еще могут на совершать поступков, порушить свою и чужую жизнь, начать новую, то от такой «пасмурной мокрой ласковости», как называет это Лимонов, ничего хорошего не происходит. Это констатация полной беспомощности, и это лучшая метафора того, что происходит со страной. Мы все до сих пор выясняем отношения с нашим бывшим величием — тоскуем о нем, ненавидим его, — но, поскольку сегодня нам решительно нечем заняться и решительно нечего делать, главным нашим занятием становится поиск замены, паллиатива. Отсюда — паллиативное государство с искусственной национальной гордостью; искусственное искусство, совсем как настоящее, но не приносящее детишкам никакой радости; муляжи телевидения и газет; и даже кое-какой муляж величия, изготовленный из нефтепродуктов (о настоящем производстве, о состоянии промышленности, образования, здравоохранения, жилья, армии и прочего лучше не говорить).

Людям, которым до такой степени некуда себя приткнуть, людям, зачастую милым и талантливым, но категорически обесмысленным, — ничего не остается, кроме как цепляться друг за друга. К настоящей любви это все относится очень опосредованно — настоящую любовь чувствует, к примеру, Никита-муж к своей Нине, и выражается она, конечно, не в прогулках по пустым пляжам. Но таких, как Никита, в сегодняшней жизни единицы — слава богу, что хоть один такой персонаж попал в поле зрения современного кинематографиста. Кажется, что он пришел откуда-то из Миндадзе.

В сценарии, кстати, все выглядело несколько оптимистичнее: там герои оставались в семьях, надеясь если не начать новую жизнь, так уж хоть укрепить старую. В фильме все грубее, проще, никакой надежды нет, и заладится ли у них пресловутая старая жизнь — не ясно. Это не волевое решение, не следование долгу, а как раз полное отсутствие воли, готовность довольствоваться полужизнью. «Авось как-нибудь само». И это тоже точно —

сегодняшние граждане в массе своей категорически не готовы к осмысленному решению. Нет подходящего контекста. Никто не пройдет под бравурный марш по ночному городу. Кстати, пасмурные города — еще один символ неразрешимого выбора: то, что история сделана московско-питерской, вполне соответствует вечным русским метаниям. Либо жить по-питерски, либо по-московски, но драма в том, что и Питер давно не тот западный, имперский, умышленный город, символ перспективы и линейности, и Москва давно не та добрая и жестокая купчиха, символ азиатской цикличности. Все выродилось, как вырождается усадебный интерьер в гостинично-санаторный номер: какая разница, номер ли в «Рэдиссон», комната ли в разваливающемся санатории?

У «Связи» много минусов, но, как всегда бывает в симптоматически точных картинах, все они обращаются в плюсы. Это не слишком увлекательный, не особенно зрелищный, вовсе не изобретательный фильм, но так и надо, он соответствует теме и настроению. В нем нет ни гротеска, ни юмора, — а как весело было бы поселить героев в Бологом, где они были бы счастливы вместе, победив отвратительную и безвыходную дихотомию! Смирнова, часто остроумная в статьях и даже в «Школе злословия», в этой картине подчеркнуто ровна и скромна — так и время нынче такое. «Скромно, но просто».

В общем, талантливая и точная работа. Давно бы так.

2006 год

Белый ящер с белого берега

Михаил Щербаков. «Если». Песни 2001–2002. Запись Игоря Грызлова.

Когда «Огонек» — после перемены менеджмента, собственника и редактора — съехал из Газетного на Красноказарменную, в чем так соблазнительно было усмотреть символ эпохи, сотрудники, понятное дело, роптали. Ликовал я один, поскольку путь на работу пролег теперь от метро «Авиамоторная» мимо ДК МЭИ, по местам, навсегда для меня счастливым. Этот кусок улицы с чудовищным красноказарменным названием выпадает из Москвы и связан с каким-то иным, сказочным пространством — потому что с восемьдесят девятого по девяносто, кажется, третий здесь давал концерты Щербаков, иногда по три вечера сряду, по абонементу; здесь я его впервые услышал живьем. Циклы из двух-трех концертов случались, как правило, весной — или это сейчас так помнится? — и оттого ощущение огромного пустого простора городской окраины было особенно полным.

Толстой писал о пустыне отрочества, имея в виду одиночество и безотрадность, — но в пустыне есть свое очарование: безлюдье, бесконечность, живое присутствие Бога; такой пустыней романтического отрочества мне всегда представлялся пейзаж песен Щербакова, о чем бы они ни были написаны. Да они, собственно, и всегда были только об этом.

И потому, шествуя по московской слякоти на не больно-то любимую работу мимо школы с визжащей малышкой (идиллия врет, все судьбы уже предрешены, роли поделены, изгои назначены), мимо самого МЭИ с такой же визжащей малышкой чуть постарше, мимо киосков, которых тогда не было, с газетами, которых лучше бы не было вовсе, — я хоть на десять минут, да перескакиваю в то время, тоже не особенно радостное, но еще не столь затвердевшее, сулившее веер вероятностей. Неисчерпаемое богатство будущего как-то связывалось с щедростью песенного щербаковского дара, ничем не ограниченной свободой его возможностей. Неважно, что сам автор никаких иллюзий не питал, что первый концерт восемьдесят девятого, на который я и попал сразу после армии, уже открывался песней куда как мрачной — *«С какого конца ни начни, к началу уж точно не выйдем, бессмертен лишь всадник в ночи, и то потому, что невидим... Мария, кораблик, душа, ничто ничему не подвластно.*

Сто лет, отступаясь, греша, я помнил тебя — и напрасно. Покуда в дальнейшую мглу душа улетает жар-птицей, на диком раешном бату останешься ты танцовщицей».

Щербаков никогда не страдал избыточным оптимизмом, и на что-то понадеявшись, сам себя тут же и осуждал («Вот поднимается ветер», 1985, 1988). Тут не в содержании дело — содержания очень часто нету вообще никакого, это высокое искусство — произносить столько слов, не говоря ничего... или, точнее, обнажая то, что за словами. Не сказать даже, чтобы щербаковские песни внушали надежду и желание жить, — они просто безмерно раздвигали горизонт и учили радоваться пустыне, песчаной ли, морской ли; конечно, с политикой все это никак не связано, но с ощущением свободы в ее наиболее привлекательном обличье — пожалуй. Все эти красноказарменные наблюдения я недавно попытался изложить Щербакову лично — он, по обыкновению, усмехнулся и буркнул: «Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую мою». Ну, не сказать, чтобы вовсе погибшую, однако спутником и символом моей молодости навсегда останется он, и думаю, что лучшего спутника подыскать трудно.

Вообще с Щербаковым или о Щербакове говорить бессмысленно — этим и объясняется, вероятно, сравнительно малый объем написанного о нем при огромном объеме написанного им за двадцать пять лет сочинительства. Какой смысл беседовать с пейзажем или анализировать облака? Новый альбом «Если», выпущенный в преддверии сорокалетия автора, в этом смысле мало отличается от прежних, — и вообще периоды у Щербакова найти и разграничить трудно; все черты, наметившиеся уже в первых песнях, попросту проступают ярче. Другой эволюции нет. Лев Лосев заметил как-то, что Щербаков считался бы одним из самых больших русских поэтов современности, если бы не писал музыки; возможно, это и так — по части виртуозности и изобретательности у него соперников нет, но без музыки не было бы его зыбкой, колеблющейся просодии, да и сами стихи Щербакова скорее музыка, чем поэзия, — именно в том смысле, о котором постоянно напоминал Толстой: музыка тревожит и будоражит, поскольку ничего не говорит.

То, что иногда кажется в Щербакове холодностью или амбивалентностью, — на самом деле полное и строго продуманное отсутствие прямого лирического высказывания, без которого русская поэзия себя никогда не мыслила. Даже Бродский — сколько бы он ни повторял любимый тезис о том, что голос поэта должен быть ровным, а не форсированным, — в свои

ровные пейзажные перечни умудрялся вносить столько ярости и отчаяния, бьющегося об эту плоскость, как волна о скалу, что ни о каком авторском самоустранении в его случае говорить не приходится: описывая «мир без себя», он каждую секунду пламенно негодует.

Щербаков — совсем иной случай: он всячески пытается не то чтобы вычесть себя из мира, но избавиться от всего «человеческого, слишком человеческого», и эта тема из относительно ранних его песен перетекла в новые почти без изменений: «Боже, слыша мои заклинанья, видя воздетые руки — знай: это все, что угодно, но не я!» «Я» — совсем иное, нелюдское, скорее из мира дочеловеческих чудовищ, гигантских рептилий, динозавров, каракатиц, подводных монстров, мутантов: «Сердце справа, зеленая кровь, голова на винтах...» «Уж лучше сам, развернувши кольца, прощусь и в логово уползу...» Таких чудовищ в песнях Щербакова множество — «десять крокодилов, двадцать гарпий, тридцать змей», — и если он с кем-то себя идентифицирует, то уж никак не с людьми, а именно с этими древними, безымянными сущностями, как вежиновский «Белый ящер»:

Пока я был никто, не обитал нигде,
примерно лет от двух до трех,
я наслаждался тем, что никакой вражде
не захватить меня врасплох.
Именовался я не вожаком вояк,
не завсегдатаем таверн.
Я тезкой был тому, кого в подводный мрак
отправил странствовать Жюль Верн.
Была надежна ночь (пока я слыл ничем),
как дверь, закрытая на ключ.
И только лунный шар, как водолазный шлем,
незряче пялился из туч.

Это из «Немо» — лучшей, вероятно, песни нового альбома, не особенно мелодичной и не самой благозвучной, озвученной гулом и плеском, — и как мучительно из этого дородового, дочеловеческого и неуязвимого мира выпрастываться в земной, бессмысленный, где вечно приходится, по слову Дикинсон, «кем-то быть»:

А предстояло мне не по лазури плыть
на зов луны, волны, струны,
но рыть болотный торф и чужеземцем слыть

на языке любой страны.

Понятное дело — нелюдь везде чужеземец; отсюда и повторяющееся «Прощай, чужестранец!» — в «Тирренском море», и «Не объявляй помолвки с иноверцем» из сравнительно раннего сочинения; «неземной» в стихах Щербакова — почти всегда буквальная констатация, а вовсе не расхожий троп.

Вдали от райских рощ, где дышат лавр и мирт,
считать отечество тюрьмой
и бормотать в сердцах «какой невкусный спирт»,
лечась от холода зимой.
И повергаться ниц, теряя нюх и слух,
когда случится вдруг узреть,
как стая синих птиц клюет зеленых мух
(лечась от холода, заметь).

Лучшей и более отталкивающей метафоры, чем эти синие птицы, клюющие зеленых мух, — для земного бытования романтиков не придумаешь. Щербаков — самый крайний и последовательный романтик, поскольку его отвращение к миру тотально, свободолюбцы в его мире давно неотличимы от рабов, единственным средством для исправления реальности остаются «Мои ракеты» из песни девяносто пятого года, то есть радикальное уничтожение этой реальности «как класса». «Если» — еще один шаг на пути избавления от всего человеческого, вот уж и любовь только в тягость, никаких тебе иллюзий:

Чуть бы пораньше, лет так на шесть
или хотя бы на пять лет, —
мне б нипочем восторг и тяжесть
этой любви. А нынче нет.
Ночь не молчит, урчит, бормочет,
много сулит того-сего,
но ничего душа не хочет там,
где не может ничего.

Демоны страсти вероломной,
цельтесь, пожалуй, поточней.
Пусто в душе моей огромной,
пасмурно в ней, просторно в ней.
Север зовет ее в скитанья
к снежной зиме, к сырой весне...

Спи без меня, страна Испания!
Будем считать, что я здесь не был.

Или, как еще лаконичней сформулировано в следующей песне из альбома — «Пойду в монахи постригуся, не то влюблюся в этот ад».

Возвращение к дословесному раю, в котором нет грубых и простых человеческих смыслов, а лишь невербализуемые восторг и тоска при виде Божьих чудес и тайн, — сквозная щербаковская тема, главная его нота; побег от любых симпатий и привязанностей — странное, но весьма характерное для нынешнего рубежа веков развитие блоковского мотива. Достаточно сопоставить сравнительно новый «Белый берег» из альбома «Если» с «Соловьиным садом», где «заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна». В мире Блока это рокотание моря — тот самый «жизни гул упорный» итальянских стихов, напоминание о том, что в романтических снах не укроешься; в мире Щербакова, поэта, успевшего навидаться и послушаться этой самой реальности в куда более грубом виде по самое не могу, гул моря — как раз напоминание о мире реальности подлинной, куда только и стоит бежать от простой, скучной лжи любых человеческих отношений и политических иллюзий. Блоковского героя отрывает от возлюбленной тайная тревога, зов пресловутой «действительности», — герой Щербакова уже знает, насколько эта действительность недействительна, и бежит любых цепей, любых обязательств:

Пришлось очнуться мне и прочь отплыть в челне.
Я плыл и жизнь другую обдумывал вчерне.
Свежо дышал зенит. И дочиста отмыт
Был берег тот, где ныне я начисто забыт.

Гораздо убедительней для щербаковского героя реальность собственного детства и отрочества, к которым он в песнях обращается все чаще; и не только потому, что в это время еще свежа пренатальная память о счастливом мире без слов, мире туманных образов, безымянности и связанной с нею неуязвимости, — но и потому, что в детстве ярче были, по блоковскому же определению, «молнии искусства». Вся «Травиата» с нового диска — об этом; и здесь мы находим лучшее из щербаковских определений музыки — *«Нечто важно и непреложно грядет из тьмы, еле звуча пока, когти пробуя осторожно, как сонный зверь, спущенный с поводка»*. Вся

«содержательная» часть искусства, все, что выразимо словом, — автору не нужно: *«Чей был выигрыш? Кто противник? Вспять оглянешься — пепел сплошь. Страхам школьным цена полтинник, а уж сегодняшним — вовсе грош»*. Есть только *«зверь летучий в дымах и саже, небыль-музыка, мир иной»*, и чем меньше в ней смысла, тем лучше.

В щербаковских песнях смысла — в традиционном значении — и вовсе немного, и человеческих эмоций почти нет; впрочем, тут есть и еще одно объяснение — ожог; нервность и впечатлительность на грани человеческих возможностей. Как и Блок — да, собственно, как и все радикальные романтики, ненавидящие быт и живущие в предчувствии возмездия, — Щербаков живет в предчувствии «Последней Гибели», но избегает говорить о ней напрямую, всегда — в обход, предельно зашифровано, и уж конечно, не по эзоповско-конспирологическим соображениям. С предыдущего диска «Déjà» наименее адекватно понятой и, пожалуй, незаслуженно малоизвестной осталась превосходная песня «Не бывает»; более адекватную картинку двухтысячного года мало кто нарисовал:

Не вполне поворотлив собой
Утеравший стрелецкую прыть
Зверобой с рассеченной губой,
Обещавший меня пережить.
Девяносто навряд ли ему,
Но не меньше восьмидесяти,
И грозит, по-видимому,
Он, скорее, для видимости.
А сам не сумеет. Сумеет не сам.
Мне он не опасен. Опасен не он.

Содержался там и прогноз на ближайшее будущее — пожалуй, слишком беспощадный в отношении лирического героя: *«И как только всеобщее „за“ превратится в злоещее „чу“, я отважно закрою глаза и со всей прямоюю смолчу»*. Если этот герой и молчит — то не из трусости, естественно:

Лишь бы не нынче о дыбе с кнутом,
Лишь бы о главном ни звука.
Музыка кончится, настанет разлука,
Хватимся — пусто кругом.

Это уже из «Застольной» 2001 года с последней пластинки. В

подсознании щербаковского протагониста, сколь бы он ни стремился помнить только свое дочеловеческое прошлое, живет и вся пыточная история человечества, да и собственно щербаковская биография в этом смысле не слишком радостна, он успел застать гниение и распад империи, и иллюзии переломных времен, и крах всех иллюзий, и радикальную примитивизацию мира вокруг. «Пусто кругом» — но это совсем не та райская, божественная пустыня, в которой пребывал герой «Менуэта» или «Восточных песен». Это мир седой пыли, тумана, обломков, руин, пепелищ — будущее, каково оно есть. Неумолимость этого будущего — тема еще одной чрезвычайно удачной песни из нового щербаковского альбома, концертного хита «Москва-Сухуми».

Рефрен «Я еду к морю, мне девятнадцать лет» тут принципиально важен, поскольку девятнадцать лет нашему герою было в восемьдесят втором, — все, кто жил тогда, все, чье тинейджерство пришлось на эти прелестные времена, помнят счастливое и трагическое — но, скорее, все же счастливое — ощущение великих перемен, скорого краха и обновления (с крахом получилось, с обновлением не очень), — и в этом щербаковском сочинении, в жестком его ритме, во взрывах ударных как раз и проступает то, что обычно остается за словами: сосущее чувство неотвратимости, странное сочетание свободы и роковой предопределенности. *«А нынче ждут меня лимоны с абрикосами, прибой неслыханный и новый горизонт вдалеке. Локомотив гремит железными колесами, как будто говорит со мной на новом языке. Вагон потрепанный, лежанки с перекосами, днем кое-как еще, а ночью — ни воды, ни огня. Локомотив гремит железными колесами, и море надвигается из мрака на меня»*. Из мрака надвигаются свобода, счастье, пушкинская романтическая ночь, пахнущая лимоном и лавром, — но поверх всех радостных ожиданий гремят железные колеса, закон неизбежности, неумолимый новый язык; и когда море надвинулось — стало ясно, что того моря нет и не было.

Многим — в том числе и автору этих строк — случилось не то чтобы упрекать Щербакова в многословии, но констатировать некую словесную избыточность, пристрастие к длинным, громоздким конструкциям, десятки строк в буквальном смысле ни о чем; все это связано с тем, что слово у Щербакова превратилось в строительный материал, оно ничего не хочет сообщить — из него строят «пески, деревья, горы, города, леса, водопады». Изгибчатый, плавный ритм щербаковского стиха похож на рельеф холмистой местности; слово утрачивает смысл, чтобы вернуть себе полноценный звук.

Щербаков — большой поэт эпохи большой бессловесности, компрометации всех смыслов, когда права и убедительна оказывается только эстетика, когда важнее человеческого страха и человеческих же надежд (и даже человеческого сентиментального сострадания) оказываются именно ужас и восторг перед лицом великого и безжалостного неодоушевленного мира. Только это величие привлекает Щербакова, только тут его герой содрогается, плачет, трепещет — неважно, «Океан» ли перед ним или «Тирренское море». И когда жалкие человеческие усилия, ничтожные победы увенчиваются закономерным и равнодушным забвением или эффектным крахом, этот герой откровенно злорадствует:

Прекрасна жизнь! Затеялив хруст ее шестерен.
Прищур востер. Полки внушительны.
Во фронт равняйся! Поблажек никаких никому.
Чем гуще шквал, тем слаще шторм.
Но гаснет вечер. И на штурмующих,
Как снег судеб, нисходит белая-белая-белая-белая ночь.
Отбой.
Гудбай.

Веселенький марш «Советский цирк умеет делать чудеса» и своевременная цитата из финальной темы «8½» (к Нино Рота у Щербакова вообще слабость) издевательски завершают эту чрезвычайно оптимистическую балладу.

Разумеется, у такой радикально-романтической позиции, «уничтожающей как класс» все, что не есть Бог, — а Бог дышит только в музыке да в небесных красках, — есть свои издержки: ни на концерте Щербакова, ни при многократном (сразу привыкаешь и подсаживаешься) прослушивании его последних дисков слушатель не испытает того умиления, той щекочущей теплоты, которая гарантирована ему на обычном бардовском вечере. Барды часто отзываются о нем в духе «Зато мы неумелые, но добрые»; слушать это смешно. Щербаков, собственно, и не бард никакой.

В эпоху кризиса смыслов большое искусство редко апеллирует к человеческому. Это досадно, нет слов, но неизбежно, поскольку слов в буквальном смысле нет, как о том и пелось в давнем «Подростке»: «Ты прав. Слов нет. Ты прав». Зато есть ужас и восторг — при виде бесстрашного эквилибриста, разгуливающего над бездной, как по асфальту, сколько бы он ни жаловался, что «налетели черные, выбили балансир». Если говорить об издержках более серьезных, придется заговорить о щербаковской аудитории, за которую, впрочем, автор отвечает

лишь в очень малой степени (никогда не соглашусь, что не отвечает вовсе). Но ведь и Бродский, серьезно говоря, не виноват в том, что у него такие противные эпигоны; у Щербакова настоящих эпигонов нет — слишком сложно то, что он делает, и чтобы ему подражать, надо владеть стихом и гитарой довольно прилично.

Иное дело, что щербаковскую неуязвимость, бегство от «человеческого» легко принять за высокомерие, за непробиваемую броню, за которой так любят скрывать свою настоящую, безрадостную пустоту неоквазипостструктуралисты, имя им легион. Всякие умные слова им тоже очень нравятся (на сайте, посвященном творчеству Щербакова — www.blackalpinist.com/scherbakov, — есть целый раздел «Словарь заморских слов»); Щербаков всегда употребляет их иронически, а те, кто о нем пишут, любят произносить всерьез. Людям высокомерным и уязвленным нравится в песнях Щербакова именно кажущаяся защищенность, они охотно разделяют его презрение к быту — но неспособны разделить его отчаяние; с наслаждением подражают его иронии — но превращают ее в дешевый снобизм, потому что не понимают щербаковского восторга и благодарности — или, иными словами, его религиозности, и не новозаветной, и не ветхозаветной, а какой-то дозаветной, грозно-младенческой, из самых первых дней творения, когда еще свет только отделялся от тьмы и плавали в тумане расплывчатые сущности. Такая память дана не всем — и тем, кому она не дана, остается учиться у Щербакова самому легкому: презрению. Увы, без таланта оно мало чего стоит.

Я не специалист, к сожалению, в музыке; терминология музыкальных критиков мне недоступна. Для меня «Если» — явление все-таки литературное, хотя оно и остается замечательным примером того, как слово перестает описывать мир и становится его частью. Вместе с тем я не могу не оценить изобретательности и блеска щербаковских аранжировок, которые вот уже многие годы осуществляются автором вместе с Михаилом Стародубцевым, профессиональным музыкантом-мультиинструменталистом. Начиная с сюрреалистического, веселого и кошмарного альбома «Ложный шаг» (1998), Щербаков все чаще предпочитает звучание мажорное, сладкое, почти попсовое временами, и в сочетании с достаточно драматической интонацией его песен это создает эффект забавный и полезный, вроде улыбки чеширского кота над царством сплошной бессмыслицы; отсюда же и жизнерадостная улыбочка, застывающая на лице исполнителя во время пения. Все это вместе делает слушание Щербакова занятием чрезвычайно веселым — и,

пожалуй, целительным.

2005 год

Стругацкие и другие

Константин Лопушанский только что выпустил «Гадких лебедей», Герман-старший на шестой год доснял «Трудно быть богом», Федор Бондарчук запускается с «Обитаемым островом», а Голливуд только что купил «Пикник на обочине». В киноосвоении Стругацких не было бы еще ничего сенсационного — странно, скорее, что мировое кино так долго ходило мимо этой кладовки сильных сюжетов и уродовало все, за что бралось. Даже Тарковский сделал из Стругацких нечто совсем для них не характерное.

Это ведь только казалось, что предсказания Стругацких не сбываются. Скажем, в «Отягощенных злом» упоминается горком партии. Ошиблись, ошиблись! Но ведь Борис Натанович предупреждал в комментариях: там не сказано, какой именно партии! И в этом смысле именно «03» — с их конфликтующими молодежными организациями и общегородскими погромами по инициативе борцов за чистоту — воспринимаются как сбывшееся пророчество.

Перестройка не приближала, а переносила сроки исполнения «Стругацких» предсказаний. Она выпустила пар, но предпосылок взрыва не уничтожила. Эти предпосылки — в самой человеческой природе, с которой Стругацкие и работали, минуя социальное. То, что мода на Стругацких пришла именно после окончательной компрометации любых социальных утопий, связано с тем, что для Стругацких эти утопии не существовали. Ни коммунистический, ни капиталистический рай не отменяют человеческих трагедий, и главная из них — та, что все люди друг для друга ДРУГИЕ.

К этой мысли умные братья («Братья по разуму» — частенько называли их фаны) подошли не сразу. В сущности, все их зрелые книги именно о том, как человеку существовать рядом с «чужим». И только в 1984 году — отлично помню шок от заключительной части трилогии о Каммерере — авторы сделали грозный вывод о том, что Других мы придумываем сами. Проще говоря, мы давно ими являемся друг для друга, ибо человечество вступило на путь, окончательно разделяющий его на две непримиримые социальные группы. Вчера еще монолитное, решавшее одни и те же проблемы, человечество сегодня разделено на два принципиально разных класса. И пойдя пойми, как с этим жить. На «Знание — сила», где печаталась страшная повесть «Волны гасят ветер», у нас в журфаковской читалке стояли очереди. И, шепотом на лекции обсуждая с друзьями дочитанную вещь, я, помню, говорил: «Да ну, не может быть. Какие два вида внутри

одного человечества? И с какой вообще стати оно должно на них поделиться?»

Но прошло десять лет, и все стало понятно. Стало ясно, что антропологически Другие — существуют. А как с ними обходиться, мы пока не понимаем. Это ведь не *aliens* из космоса. Это сосед по планете, которого вчера еще принято было цивилизовать, ублажать, приводить к общему знаменателю... А после 11 сентября, горящего Парижа и погромоленной Кондопоги становится окончательно ясно, что люди-то все разные и бояться надо было не склизкой инопланетной твари, а себя самого.

Почему Голливуд купил «Пикник» — понятно. Уже известно, что из всех линий жутковатой повести (нигде фантазия Стругацких не была так безвыходно мрачна) у американцев осталась только история сталкера, пробирающегося в Зону и торгующего краденым. У Стругацких (не у Тарковского!) главный ужас был в том, что вот совсем рядом с нами существует нечто принципиально непостижимое. И что же мы с этим делаем? Перво-наперво используем для взаимных убийств или, в крайнем случае, для удовольствий. Ведь чудесами Зоны активнее всего интересуются военные да индустрия развлечений. Этот главный пафос повести — способность человечества даже из чуда прежде всего устроить конфликт, а из благодеяния убийство — совершенно Тарковского не заинтересовал. А зря. Американцы теперь сообразили — вот и приступают к экранизации, ставит Дэвид Якобсон. Им сейчас эта история о благих намерениях очень ко времени — Буш ведь тоже все добра хочет. Как Рэдрик Шухарт, который ради счастья всего человечества швырнул доброго и чистого мальчика в мясорубку. Счастье еще будет ли, нет ли, уйдет ли кто обиженный и вообще уйдет ли живой — вопрос открытый. А мясорубка уже здесь, вот она. Потому что играть с Другими можно только по правилам Других: человеческие категории не работают.

Лопушанский, режиссер «Писем мертвого человека», перенес действие «Лебедей» в маленький город Ташлинск; уже сейчас можно сказать, что Лопушанский второй раз в жизни прыгнул выше головы: «Лебеди» — удача несомненная, но, господи, какая же это грустная удача. Пафос «Гадких лебедей» аккуратно вывернут наизнанку. У Стругацких жестокое будущее побеждало, и герой-интеллигент отвергал его, потому что в дивном новом мире делать ему было нечего: «Не забыть бы мне вернуться». Если будущее прекрасно, но жестоко — к чертям такое будущее. Это был выбор Кандида из «Улитки на склоне»: пусть побеждают прекрасные, умные, честные, я никогда не смирюсь с их победой, потому что задача человека — вставать на пути прогресса, когда

он бесчеловечен.

«Гадкие лебеди» Лопушанского — ответ братьям Стругацким сорок лет спустя. Братья, какой, собственно, прогресс? Вам казалось, что «будущее беспощадно по отношению к прошлому»? Это прошлое беспощадно. И никакому будущему оно тут не даст ни малейшего шанса. Вы думаете, вы всемогущи? Дудки. Сейчас вас польют реагентом, и ваш дождь, которым вы намеревались смыть с Земли всю гадость, прекратится. А вместе с ним прекратятся и загадочные мокрецы, любимые учителя наших детей. А самих этих детей, которых мокрецы выучили читать, летать и снисходительно посмеиваться над взрослыми, мы распихаем по больницам и заставим смотреть ток-шоу, а потом разучим с ними попсовые песенки. Вследствие чего они и зачахнут, обколотые нейролептиками. Это «Гадкие лебеди» в редакции 2006 года, где все события идут точно по канве книги. Только вот профессор Пильман, переехавший из «Пикника», скажет в самом начале идеалисту Баневу: «Поймите, они другие. И они враги».

Случилась, в общем, примерно та же история, что с Замятиным. Он написал «Мы» — о прекрасном, в сущности, будущем и о мятежниках, отвергших эту утопию. А реальность переспросила: что? какая утопия? ась?! Тебе мерещились стеклянные небоскребы? А другую прозрачность, за колючей проволокой, не хошь? «Они думали — будущее будет, — горько говорил Лопушанский после премьеры. — Что за шестидесятнические иллюзии. Да кто ж ему даст — быть?!»

То, что Бондарчук после «9 роты» взялся за «Обитаемый остров», — вовсе не следствие любви к блокбастерам. Он ведь еще в «Роте» нащупал тему все тех же Других. Вот афганцы — и как с ними прикажете быть? Смотрят на тебя пристально, в любой момент пырнуть готовы — без злобы, а просто за то, что ты не свой... В «Острове» та же коллизия: вроде бы надо спасти жителей наизнаночной планеты Саракш от Огненосных Творцов. Но тут встает вопрос: а надо ли? Ведь им же и так, собственно, хорошо!

В свое время «Остров» задавал самый колючий вопрос: ну хорошо, разрушил ты Империю, кончился уютный тоталитаризм — а теперь? Что ты будешь делать со страной, еле очухавшейся после трехдневной абстиненции? Финал был открытый, в лучших «братских» традициях. И ни у Каммерера, ни у Странника не было никакой уверенности в том, что все это не кончится полным массаракшем. Мало вырубить лучевые установки. Надо как-то заменить мозги. После Шварца все повторяли, что надо убить дракона в себе. Но вот как бы это не убить заодно и себя?

Самый жесткий ответ дает новый фильм Германа. Герман в

сценарии ничего не изменил, дотошно следуя средневековой эстетике Стругацких. Это Средневековье, каким оно было на самом деле: грязное, кровавое, вонючее, физиологичное, отвратительное. И вместо главного вопроса Стругацких — как бы это спасти человечество? — Герман ставит в итоге: а надо ли спасать такое человечество? Или это в принципе бесперспективно?

Это будет своевременный фильм. По нему выходит: человечество вполне заслуживает того, что с ним происходит. А ДРУГИМ выглядит как раз Румата Эсторский — уверенный, что он на этой планете представитель высшего, прекрасного мира. Посланник «не имеющей названия державы», по Галичу. А державы-то и нет. Как нету в фильме Германа никакого возвращения Руматы в мир, где его зовут Антон. «Ваш мир кем-то выдуман», — как говорил один мудрец в финале ненаписанного четвертого тома каммереровского цикла, к которому братья приступили незадолго до смерти Аркадия Натановича, а Борису Натановичу в одиночку дописывать его неинтересно. Жизнь дописала.

...Актуальна сегодня не только гениальная догадка Стругацких о непреодолимости барьеров между людьми и о том, что две ветви человечества в процессе социальной эволюции будут расходиться все дальше и дальше. Сегодня важна их интонация — интонация мужественная и веселая. Ощущение, что человек не может победить, но может не потерять лица. С таким чувством зритель будет смотреть фильмы Лопушанского, Германа и, надеюсь, Федора Бондарчука. С таким же чувством, хочу верить, пишет Борис Стругацкий очередной роман — в котором опять горько и оптимистично расскажет, что ждет нас впереди.

2006 год

Почему вы должны снять молодежную комедию именно сейчас? Эта ниша долго пустовала — так исторически сложилось, и теперь вы забудете ее «на раз», не парясь. Одним из самых непобедимых наследий советской власти оказалось уважительно-придыхательное отношение к молодежи. На вопрос «Легко ли быть молодым?» стар и млад дружно отвечали: трудно. Во-первых, нам ввали, а во-вторых, негде. Советская власть уважала стариков и детей. Именно поэтому большинство молодых пытались остаться детьми до старости, чтобы из одной уважаемой категории сразу перепрыгнуть в другую.

Америка напропалую иронизирует над своими подростками и старцами — в России молодежная комедия едва появилась, а стариковская, построенная на темах маразма и старческой похотливости, даже не брезжит. Все дело в том, что настоящая молодежная комедия должна измываться над молодежью. У нее надо начисто отнять розовый ореол розовских мальчиков, носителей высшей морали, юных правдолюбцев: такое заискивающее опекающее отношение к юности присуще именно тоталитарным социумам. Капобщество молодым не доверяет, бунтарства не одобряет, капгерой — представитель среднего класса, подбирающийся к среднему возрасту. Молодой человек имеет высокие шансы быть идиотом, потому что заиклен на сексе, самоутверждении и громкой музыке. У молодого человека муравьи в штанах. Чаше всего он Бивис и Батхед в одном флаконе.

Молодой человек бывает двух типов: либо он болтливый ботаник, неспособный покорить девушку горой мускулов и берущий словарным запасом, либо та самая гора мышц, доброжелательная и абсолютно безмозглая, а потому во всем слушающаяся ботаника. Этот расклад уже намечался в знаменитой дилогии «Приключения Петрова и Васечкина» (1982–1983): советская цензура умудрилась покромсать эту невиннейшую комедию, но дело Петрова и Васечкина не пропало: в каждой молодежной комедии сегодня есть свой доверчивый добряк, выжимающий лежa двести, а то и пятьсот без закуски, и хилый, но умный мальчик, знающий слово «эякуляция».

Молодежная комедия (МК) тоже бывает двоякого рода. Герои МК класса «А» мучительно озабочены поиском сексуального партнера. Они еще «никогда не», стыдно глядеть в глаза товарищам, девушки хихикают вслед... Герои МК класса «Б» также мучительно хотят бабла. Бабло нужно, конечно, главным

образом для того, чтобы потрахаться, но этим дело не ограничивается: они хотят создать свою рэп-группу (снять клип, сделать порнофильм, организовать преступную группировку, снять порноклип силами преступной рэп-группировки и так далее). МК первого типа представлена в России фильмом Дениса Евстигнеева «Займемся любовью», в котором было еще что-то человеческое, и его клонами «Сматывай удочки», «Никто не знает про секс» и т. д. МК второго вида полностью отдана на откуп Руслану Бальтцеру с его «Даже не думай» (1 и 2) и «Ненасытными».

Несложно заметить, что МК представляет собой упрощенный и опошленный до неузнаваемости вариант большого кино в пересказе упомянутых Бивиса и Батхеда: первый тип — подростковый ремейк любой любовной мелодрамы, второй — подростковая же травестия бандитской саги в диапазоне от «Бумера» до «Однажды в Америке». Поэтому написать сценарий МК очень просто: берутся с улицы произвольные Бивис и Батхед и заставляются пересказывать по памяти главные фабулы мирового кино. Как они это делают — демонстрирует классический ералашный сюжет, в котором мальчик излагает фильм «Гамлет»: «А он его хрясь! А он его бамс! Черепушка — „бедный Юрий, бедный Юрий“...»

Фантастический элемент — необходимая составляющая молодежной комедии, но не потому, что молодежь любит фантастику, а потому, что в противном случае развязать сюжет невозможно. Бивис и Батхед не могут выдумать логическую развязку и нуждаются либо в бобе из машины, либо в джинне из бутылки, либо в джин-тонике, обладающем магическими свойствами («Даже не думай—1»).

Если у вас возникают вопросы о логике сюжета — ее в МК нет по определению, так что не парьтесь. Главарь враждебной вам банды в любой момент может оказаться отцом вашей девушки или самой девушкой. Наехавшие на вас менты — переодетые лохи, решившие по-легкому срубить бабла. Ваша девушка — переодетый лох. Мент — переодетое бабло. Комбинируя в произвольном порядке эти нехитрые элементы (мент — девушка — лох — бабло — джинн — тоник), вы получите неограниченное количество сюжетных конфигураций.

Музыки в молодежной комедии должно быть много. Во-первых, это дает возможность выпустить саундтрек. Во-вторых, музыка позволяет забить паузы между словами. Это облегчает сочинение диалогов, сократив их до «Ну?», «Ёпс!» и «А то». В идеале МК первого типа должна напоминать музыкальный клип с быстрым монтажом, комментирующими титрами и интонациями

ведущих MTV. МК второго типа — расширенная реклама продвинутого пива типа «Клинское» или «Сокол» с моралью. Реально крутые авторы должны вставлять в МК один-два рэпа — не только для демонстрации идеалов героя, но и для краткого пояснения сюжета. Первым к этому приему прибег Тимур Бекмамбетов в «Ночном дозоре», пересказав для тупых его путаный сюжет. Стил «Рэпко» предусматривает несколько метров раешника типа: *«Мы крутые челы, мы срубили бабло. Теперь мы пойдём и купим бухло. Если ты не крут и не рубишь бабла — ты с нами не пойдёшь и не купишь бухла. Пока мы не сидели по горло в бабле, нам оставалось лишь мечтать о бухле. Зато теперь мы круто затарились баблом и можем реально залиться бухлом».*

У героев МК бывает четыре профессии: студент, хакер, клипмейкер, копирайтер. Введение пятой является признаком авторского непрофессионализма, поскольку комедия не должна грузить. У девушек профессий не бывает. Девушка — это призвание.

Лексика молодежной комедии... Чел, в натуре... ну че ты, чел? Че ты хочешь? Какая, на хрен, лексика? Это нереально. Забей, не парься. Крутая чикса. Тарантино. Бабло, бухло, западло. Жёсть. Пипец, писюн, описюнеть. Секс, кокс, кекс, перец (это ваш вариант «крекс-фекс-пекс», заклинание успеха). Я не поал. Я поал. Эякуляция.

Еще в молодежном кино должны быть остроты. Самой удачной мне показалась реплика из «Ненасытных»: «Девушка, принесите мне салат с тунцом, но без тунца». Это точнейшее определение молодежного юмора, встреченное мною вообще.

Финал молодежной комедии должен быть неожиданным. Набор детских неожиданностей приводится ниже.

МК класса «А»: девственник попадает на бабу и перестает быть девственником.

МК класса «Б»: девственник попадает на бабки с тем же результатом.

Многие наивные люди спрашивают: как эти произведения умудряются не только выходить в прокат, но становиться лидерами продаж? Ответаем: у этих фильмов практически бесконечная таргет-группа. Молодежи смешно смотреть на идиотов. Старикам приятно думать, что вся молодежь — идиоты. Среднему возрасту приятно думать, что идиоты выросли не только у них. Богу тоже смешно. Он смотрит вниз и понимает, в каком жанре творил. Оказывается, у него получилась не божественная и не человеческая, а молодежная комедия. Я прусь, говорит он себе. Я реально прусь.

2006 зод

Гарри Поттер и антитеррор

Каким образом презентация шестой книги «Гарри Поттера» превратилась в мировое событие и какие особенные маркетинговые стратегии позволили так раскрутить несчастного? При ответе на этот вопрос меня просили по возможности избегать литературоведения и сосредоточиться на маркетинге. Мало ли на свете хорошей литературы, но два миллиона экземпляров в первый день продаж остаются для нее недостижимой мечтой...

Понимаете, дело именно в литературе. И пока в России этого не поймут, старательно и безнадежно перенося центр тяжести именно на маркетинговые стратегии, — успешных и многолетних (что особенно важно) проектов у нас не будет. Ни в искусстве, ни в политике.

Роулинг — или Ньютон — догадались, что в книге должен быть богатый и продуманный антураж.

Попробую обрисовать генезис опасного заблуждения. В девяностые годы, когда обычным людям вроде бывших комсомольцев стали вдруг доступны большие деньги, эти люди стали думать, что за деньги можно все, и некоторое время так оно и было. С помощью пиаровской кампании стало можно превратить Винни Пуха — в приморского мэра, Абрамовича — в чукчу, Березовского — в черкеса. К сожалению, все эти, а также другие, еще более известные нам серийные проекты быстро рухнули. Еще довольно успешный (в том числе и на рынке) драматург и пиарщик Шекспир сформулировал главный закон всякого маркетинга: «Из ничего не выйдет ничего» («Король Лир», пер. Б. Пастернака). Осмелюсь напомнить также о самом покуда успешном книжном проекте в истории человечества: когда четыре малоизвестных писателя взялись описывать жизнь одного рано погибшего пророка, никакого маркетинга вообще не существовало, а весь пиар заключался в том, что дистрибьюторов загоняли в катакомбы либо скармливали львам; и ничего, книга до сих пор успешно продается, обгоняя по тиражам даже «Поттера».

Фокус заключался в том, что авторы попали в нерв, угадав главную проблему тогдашних (и всегдашних) людей: как чувствовать себя победителем, если ты проиграл? как уважать себя, если ты лузер? как обрести другую шкалу успеха, отличную от общепринятой (поскольку в общепринятой чаще всего торжествуют подонки)? Именно благодаря нестандартному подходу к решению этой задачи, а также благодаря тому, что пророк заплатил за учение жизнью (а потом еще воскрес, но

некоторые считают это пиаром), книга завоевала сердца читателей всего мира, добравшись в IX веке и до России (шестая книга про Поттера, для сравнения, выйдет у нас всего через пять месяцев после английской премьеры; все-таки история ускоряется). Уверяю вас, если бы книга была плохо написана или не отвечала на главный вопрос человечества, она бы осталась достоянием немногих специалистов, подобно талантливому, но несколько монотонному «Гильгамешу».

В России (где же еще?! в мировой прессе я покуда не встречал ничего подобного, хотя предпринял розыски) уже раздаются голоса о том, что сага о Поттере совершенно бездарна, написана никудышным языком и учит детей злу, а раскрутило все издательство «Блумсбери», которое и создало феномен. Само собой, все это завистливый бред, не стоящий внимания. Вот профессиональный пиарщик Арсен Ревазов тоже решил, что, если написать любую конспирологическую чушь, назвать «Одиночество 12», упомянуть в ней несколько знакомых знаменитостей и снабдить диском, будет сенсация. Чушь написана, знакомые упомянуты, несколько тысяч экземпляров продано, события нет. То есть все ингредиенты на месте — заговор, монахи, средний класс, путешествия, секс даже два раза... а счастья нет. Ревазов пиарщик, ему простительно так заблуждаться, а вот нам — нет.

Конечно — чтобы уж закончить с этой темой, — издательство «Блумсбери» ведет себя очень хорошо. Сегодня всему издательскому миру известна история о том, как в 1986 году издатель Найджел Ньютон написал бизнес-план на шестьдесят пять страниц, вложил в дело два миллиона фунтов (ну, около четырех, если считать венчурный капитал) и зарядил издательство «Блумсбери», принесшее первую прибыль в 1992 году. Офис располагался в Лондоне, в Сохо. Там он и теперь, только уже в шикарном особняке XVIII века. Многие сегодня упрекают Ньютона в том, что начинал он революционно, а с годами стал консерватором, ставящим только на известные имена. Ньютон на это возражает, что только прошлой осенью он практически с нуля раскрутил молодую Сюзанну Кларк с сильным и хорошо продавшимся романом «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». А во-вторых, что сегодня оправдывает себя главным образом ставка на известные имена — тогда как в начале девяностых все было иначе. «International Gerald Tribune» уже задается вопросом: что будет с «Блумсбери» дальше? Седьмая книга-то вон уже не за горами, и вряд ли Роулинг обманет читателей, решив длить сагу и дальше. Она девушка честная, как показывает опыт.

Скорее всего, новых серий со сквозным героем Ньютон

запускать не будет долго — повторяться неинтересно. Говорят, он откроет филиал в Штатах и будет издавать детскую классику. Как бы то ни было, сегодня «Блумсбери» продает книг на восемьдесят четыре миллиона фунтов стерлингов в год (примерно сто сорок миллионов евро), а чистая прибыль в этом году составит порядка двенадцати-пятнадцати миллионов фунтов (результат пока неясен, ибо продажи шестого тома «Поттера» оказались успешней, чем прогнозировали).

История о том, как мать-одиночка Джоан Роулинг в двадцатилетнем возрасте придумала, а два года спустя записала историю о сироте, воспитываемом в чужой семье и попадающем в школу волшебства, — тоже хорошо известна; ее книгу отвергли два издательства, а третье взяло и не пожалело. Перелом произошел где-то между третьей и четвертой книгами, когда выяснилось, что Роулинг пишет все лучше и лучше, изобретая для каждого романа новые трюки; с четвертой началась настоящая поттеромания, а пятая побила все рекорды стартовых тиражей в детской литературе.

Удачным маркетинговым ходом следует счесть сам замысел, тонко сочетающий сериальность, сиквельность и сильный сквозной сюжет с непредсказуемым финалом; Роулинг учла опыт Кинга, щедро насытив детский роман мистикой и готикой. Вовремя начался выпуск сопутствующих товаров — резиновых Гарри Поттеров, волшебных палочек, круглых очков, летающих метел и крылатых шариков для квиддича, именуемых снитчами. Роулинг — или Ньютон — вовремя догадались о том, что в книге должен быть богатый и тщательно продуманный антураж, чтобы можно было выпускать много игрушек. И антуража в «Поттере» полно: мантия-невидимка, дневник с исчезающими чернилами, островерхая магическая шляпа, фирменный хогвартский плащ с драконом, говорящий учебник и проч. Всем этим игрушечный рынок Европы насыщен уже лет пять — и дети неустанно требуют новых поттер-прибамбасов. Толкиен об этой составляющей не позаботился, кстати. Кроме колец да расчесок для хоббитских мохнатых лап ничего не наштампуешь. Меч? Щит? Банально!

Наконец, Роулинг и Ньютон прекрасно организуют и дозируют утечки. В Лондоне действовал тотализатор — кого из героев убьют? Роулинг еще в январе, закончив книгу, сообщила, что в ней погибнет один из главных героев саги. Многие ставили на дядюшку Вернона, кто-то — на Хагрида, но большинство догадалось, что Роулинг пожертвует Дамблдором, чтобы оставить Гарри вовсе уж один на один с мировым злом.

Маркетологи и критики до сих пор спорят о том, случайно или нарочно была организована в Канаде продажа «Гарри

Поттера и Принца-полукровок» за неделю до официального релиза. Продано было всего семь экземпляров, но шуму сделалось! Счастливицев умоляли вернуть книги в обмен на такие же, но после 16 июля и с подарочным набором; в набор входили мантия и автограф Роулинг. С покупателей взяли страшную клятву не рассказывать никому, что там случилось. Юрист, профессор права оттавского университета Майкл Гейст сделал специальное заявление, что, мол, детскому автору и его издателю нехорошо так себя вести — сначала сливать книгу, потом повязывать читателей обязательствами...

Наконец, сама продажа в ночь с 15 на 16 июля была организована сверхталантливо. Роулинг живет в Шотландии, близ Эдинбурга; в эдинбургском замке был организован праздник для семидесяти победителей викторины о Поттере из двадцати стран мира, включая Китай. Самому-самому победителю, Оуэну Джонсу (четырнадцать лет), Роулинг дала *единственное персональное эксклюзивное* интервью. Никто из взрослых журналистов в Эдинбург допущен не был, и ваш покорный слуга довольствовался лондонской презентацией книги на паруснике «Катти Сарк», куда съехались очкастые подростки, кажется, со всего Лондона. Победителю тамошней викторины вручали золоченую метлу, а устраивал все это празднество ближайший книжный магазин «Оттакар». Да что там — все триста тридцать с лишним больших книжных магазинов Лондона, каждый на свой манер, устроили грандиозные ночные торжества, начавшиеся ровно в одну минуту первого: с отсчетом времени вслух, с пирожными, шампанским и карнавалом.

Пиар таланту не помеха, одним словом. Было бы что пиарить. Ведь если даже сверхграмотно организовать утечки насчет сериала «Черный ворон» работы Вересова или, не дай бог, раньше времени выпустить в продажу очередное желто-черное творение Донцовой с названием типа «Василиса Преглупая» или «Сердце в духовке», это не вызовет подобного «Поттеру» ажиотажа даже в пределах Садового кольца. Отчасти потому, что все эти саги не держат читателя в напряжении даже на протяжении одной книги, а отчасти потому, что у читателя, приобретающего их, нет гордой и радостной самоидентификации, сопричастности чему-то светлому. Он прячет эту книгу от посторонних глаз, читая ее в метро. Ему стыдно. Тогда как фанату «Гарри Поттера» радостно принадлежать к сообществу его фанатов — как поклонникам Стругацких в свое время нравилось вступать в группу «Людены», потому что эта группа желала быть похожа на людей XXII века. Им нравилось разговаривать, как Горбовский, Быков и Румата Эсторский. Им льстила принадлежность к эзотерическому

братству добрых, умных и бескорыстных. Принадлежность к кругу читателей Донцовой, Ревазова или даже относительно продвинутого Сергея Кузнецова с его ностальгическими детективами о первом поколении русского мидл-класса не льстит никому. Это неприличная самоидентификация.

Сегодня сверхпопулярной может быть именно детская книга — не потому, что люди впали в детство, но потому, что им нравится на миг в него вернуться. Книга Роулинг разговаривает со взрослыми уважительно и серьезно, как с детьми. В ней точно — и, думаю, бессознательно — схвачено сегодняшнее мироощущение: снова просыпается то, что казалось бесповоротно уничтоженным и погребенным. Зло крепнет и сгущается в книге — но и в мире оно все заметнее, все отвязаннее; презентация книги через неделю после лондонских терактов — это уж вам не пиар, дорогие. А тут еще стало известно, что один из террористов посещал мусульманскую школу по изучению ислама в Лондоне — такой Слизерин, если угодно; только Гриффиндора что-то не видно...

В общем, некая новая реинкарнация побежденного фашизма определенно поднимает голову — и в этом смысле со своей седьмой книгой Роулинг может как раз успеть к решительной битве. Интуиция тут, а не маркетинг, писательское попадание в нерв. Сегодня битва с абсолютным мировым злом (читай: террором, радикальным исламом, тоталитаризмом, etc.) — главный сюжет западных СМИ; с терроризма начинаются все теленовости, и, скажу страшную вещь, единственное, что нас еще связывает с мировой историей как процессом, — это терроризм. Ну и нефть отчасти. Только в этих двух точках, как и положено, прямая мирового развития (может, и ведущая к гибели — кто знает?) пересекается с нашим замкнутым кругом, не ведущим никуда и потому вечным.

Вы, конечно, спросите: а как бы все эти чудеса транспонировать на русскую почву? Отвечу анекдотом: чтобы этот газон выглядел, как в Гайд-парке, его надо всего лишь поливать и подстригать, и так триста лет.

Я уже писал о том, что в русском мире (по крайней мере, в сегодняшнем его состоянии) детская сериальная сага невозможна — прежде всего из-за отсутствия консенсусных ценностей, вокруг которых ее можно бы построить. Главная тема «Поттера» — демократизм, поединок аристократов с грязнокровками, и не зря именно Принц-полукровка — главный герой нового тома. Я знаю, кто он, но не скажу (Роулинг, кстати, наврала, спустив в массы утечку, что это принципиально новый персонаж: отлично мы его знаем и с первого тома побаиваемся). У нас таких абсолютных

ценностей нет и до сих пор не появилось; не преуспел в их постулировании даже Лукьяненко, больше других постаравшийся соорудить хоть какое-то подобие русского фантастического эпоса на новом материале. Чтобы читателю хотелось купить книгу — вот главный маркетинговый ход, — он должен лично захотеть поучаствовать в битве добра со злом. А это не так просто делается, потому что современный русский читатель вообще не уверен, что служить добру хорошо. Он не знает, где это добро находится и с чем его едят.

И еще одна важная штука. В «Поттере» срабатывает важный фабульный механизм, который у нас часто игнорируют: это связь личного с общим, выяснение своей судьбы через коллективную участь. Ведь Гарри Поттер не только мир спасает — он выясняет тайну своего собственного происхождения, понимает постепенно, кто он такой и как спастся. В русской литературе нет ничего подобного, и очень давно — личное и общее давным-давно разделены. И потому у нашего человека нет личного стимула купить книгу про современную жизнь. А у маленького англичанина, или даже китайца, — есть: он чувствует, что его жизнь и жизнь его мира таинственно связаны между собой.

Я по советским временам отлично помню это чувство связи между своей судьбой и судьбой страны. И этой детской памяти хватает, чтобы понять: сегодня такой связи нет. А приключения героя, болтающегося в пустоте, никому не могут быть интересны. Заметьте, что в шестой книге все начинается с проникновения магии в наш обычный мир и первая глава посвящена встрече британского премьера (!!!) с министром магии, принесшим тревожные известия. Можете себе представить что-то подобное на русском материале? Колдун в кабинете Фрадкова? Да Фрадков его взглядом превратит в жабу — и все дела.

Чтобы современная русская сказка имела успех, она должна быть организована как странствие, в русской традиции. Кинг попробовал так построить «Темную башню» — хороший цикл, но, в общем, не имевший того успеха: Кинг привык делать деньги на описании страшных и некомфортных миров, а чтобы ребенок хотел прочитать сагу, в ней должен быть уютный и прекрасный мир, в котором хочется жить. Домик Карлсона. Муми-долина с домиком Муми-семейства. Готическая волшебная школа Хоггвартс.

Тот, кто сумеет построить такой мир на русском материале, выдумать не кровавую и не арктическую, свободную от квасного и сусального духа русскую утопию и четко угадать главные опасности, подстерегающие сегодня Россию, — как раз и станет автором русского аналога «Гарри Поттера» и покорит все сердца

без всякого особенного пиара.

Впрочем, зачем такому человеку мелочиться? Я бы на его месте сразу возглавил страну.

2005 год

ТЕНДЕНЦИИ

Дисквалификация

После пяти лет перестройки, десяти лет непонятно чего и двух лет ревизии, которую многие уже приняли за ремиссию, — выявился главный итог последнего периода российской истории: у России больше нет языка. То есть слова этого языка значат уже совсем не то, о чем врут словари. Они обросли новыми значениями, совершенно исключаящими возможность адекватного диалога.

Сказать «Я люблю свою страну» — значит сказать «Бей жидов» или «Я одобряю спецоперацию в Чечне». Сказать «Я государственник» — значит расписаться в том, что человеческая жизнь для вас ничего не стоит. Ну и так далее.

Последним периодом тотальной государственной обработки населения стал конец восьмидесятых, когда вся мощь телевидения, прессы и толстых журналов с их тысячекратно возросшими тиражами вдавливала в головы россиян либеральную версию российской истории. Эта версия по-своему ничуть не менее тотальна и уж точно не менее сомнительна, чем версия советская. Более того, в каких-то отношениях либеральная философия, внедренная в умы от противного, опасней философии тоталитарной, поскольку ставит под сомнение саму мысль о наличии абсолютных ценностей или просто отождествляет эти ценности с насилием, кровью, ГУЛАГом.

Как и всякой империи, России не повезло еще в одном: во всех республиках патриотизм означал — свободу. Борьбу с тем самым ГУЛАГом и империей — за собственную культуру и свой язык. Это тоже была подмена, поскольку борьба за независимость и за развал СССР была нужна уж никак не национальной культуре и тем более не языку, — но не будем педантами. Во всех республиках быть патриотом — означало быть антиимперцем. И только в России патриот — человек в смазных сапогах, больше всего на свете любящий Империю, насилие и высокие идеалы. Невыносимо скучный тип, при всей своей пассионарности.

В итоге либеральная философия применительно к России выродилась в тотальное отрицание закона, культуры и патриотизма, с каковым результатом наша Родина и подошла к XXI веку.

И тут выяснилось, что про конец истории нам ввали. Что падение коммунистического режима в России и ее окрестностях никак не означает прекращения конкурентной борьбы. Что американцы, оказывается, боролись вовсе не против коммунистической власти, а против конкретной конкурирующей

сверхдержавы. Что вся американская поддержка наших борцов за права человека диктовалась отнюдь не любовью к правам человека, которые Америке в значительной степени по барабану. И что сильная Россия — неважно, коммунистическая или либеральная, — американцам абсолютно без надобности, точно так же, впрочем, как и Европе.

Это оказалось шоком, от которого многие не оправились до сих пор. Поскольку в восьмидесятые годы телевидение и пресса точно так же (но талантливее и изобретательнее) зомбировали людей, как и газета «Правда», — выросло целое поколение зомби, привыкших рассматривать свою страну как досадное препятствие на пути к мировому прогрессу. Они с молоком матери (как раз сидевшей в это время на кухне с другими такими же интеллигентами) впитали убеждение, что наличие любых твердых убеждений — залог личной тоталитарности, а уж любовь к Отечеству — просто сталинизм. Законодательство, регулирующее рынок, для них — абсурд, ибо рынком называется только то, что никак не регулируется. А любой оппонент в сознании таких людей — не просто враг, но агент КГБ-ФСК-ФСБ, как бы это ведомство ни называлось.

Либеральная жандармерия оказалась бессмертна. Любой, кто заикается... даже не о любви к Родине, а о нежелательности глумления над нею, — начинает восприниматься как апологет ГУЛАГа; господа, да что же это такое?! Я не говорю о какой-то патологической ненависти либералов ко всему великому, к постановке и попыткам решения действительно «последних» вопросов; есть либеральная тотальная ирония, которую ненавидел еще Блок. Тот же Блок в ответе на анкету, в мае 1918 года, высказал ключевую для меня мысль: «Я художник, а следовательно, не либерал». Я тоже не либерал — и искренне не понимаю, как можно не признавать над собою некоторых абсолютных ценностей, как можно с легкостью сбрасывать бремя своей Родины, если эта Родина недостаточно лучезарна. В отличие от моего коллеги, который ведь тоже родился не в 1985-м и уж тем более не в 1991 году, я — из Советского Союза. Я несу на себе все его родимые пятна. Есть бремя черных — любовь к плохой и виноватой стране, что поделать, действительно виноватой; но если бы я точно знал, что Лазутина применила допинг, и от меня зависело бы — предать или не предавать этот факт огласке, я бы не сказал. Представляете, ужас?! Более того: я никогда не присоединился бы к числу гонителей представительницы моей страны. Просто потому, что страна — моя, и это действительно бремя, о котором никто меня не спросил. Тот же Шендерович прав: если жена начнет все время

пилить — «Люби меня, люби меня, я великая!» — ее захочется убить. Но жену выбираешь сам. А Родину не выбираешь, и есть некая метафизическая трусость в том, чтобы строить свое отношение к ней исключительно на ее достоинствах и недостатках. Это как-то мелко, плоско... либерально как-то. И уж конечно, когда мою жену ругают, — я не присоединяюсь, хотя есть, есть претензии...

Что говорить, ужасен был советский патриотизм с его культом великих злодейств и столь же великих заснеженных пространств. Но после десяти лет либерального владычества, когда все, что не окупало себя, объявлялось излишним и тормозящим прогресс, когда закрывались мои любимые издания и уходили в затвор мои любимые авторы, я стал патриотом от противного: я стал любить свою страну, потому что ее так легко, без всякого чаадаевского отчаяния, с веселым злорадством презирают богатые и самодостаточные люди, которым эта страна добавок не успела особенно попортить кровь.

Мне — успела, и портит до сих пор. Я родился тут полуевреем и знаю, что такое травля (с обеих сторон). Я служил в армии. Я зарабатываю на хлеб не самым легким трудом, сочиняя не только эссе о патриотизме (которые пишутся не отходя от письменного стола), но и отчеты о дальних командировках, во время которых я посильно защищаю социальную справедливость. Имея некоторые способности к сочинению стихов и прозы, я вынужден писать их урывками, по выходным, — никто не дает на это грантов. Я ни у кого сроду не просил подачки. Россия несколько раз отбирала все мои сбережения, дважды возбуждала против меня уголовные дела, бывали и всякие другие мелкие неприятности по части отношений с властью — я не на паперти пока, слава Богу, а потому не стану перечислять все эти прелести. И однако я начинаю ненавидеть либерализм по той единственной причине, что быть либералом очень легко: ответственности никакой. «Это не моя страна. Мой — только дворик». То есть дворик соседа — это уже его личные проблемы...

Легко было позиционироваться либералом и в 1993 году: как Ельцин смел пустить танки?! Никому и в голову не приходило сказать: а ведь эти танки защищали меня, и потому я должен — это еще по самому скромному счету — хотя бы разделить ответственность за них. Очень легко ненавидеть сегодня русскую государственность и с априорным недоверием относиться к усилиям российских властей по ее укреплению, — но когда тебя начинают потрошить в подъезде, как-то очень быстро становишься стихийным государственнымником. Я понимаю вечный аргумент либералов: патриотизм — последнее прибежище

негодяев. Но рискну сказать, что космополитизм — первое их прибежище.

Когда я в очередной раз в кругу коллег недавно ругал девяностые годы, называя их позорнейшим временем в российской истории, один из самых любимых и действительно честных журналистов этого десятилетия, который всегда пишет правду, даже когда она не совпадает с общественным настроением, сказал с тоской: «Но ведь это десятилетие нас сделало! Кем были бы мы без него? Хорош или плох Ельцин, но ведь и ты бесконечно многим ему обязан...» Хорошо, с этим я готов согласиться: девяностые нас сделали. Имею в виду, конечно, не ночные киоски и уж подавно не возможность выезжать за рубеж, — которой я, кстати, пользуюсь очень редко. Это время, как всякое гнилое время, нас рассортировало. И огромное большинство дееспособного населения России оказалось, по большому счету, не способно ни к чему: внушаемо, вяло, бледно, а главное — склонно к тому, что Лев Аннинский так убийственно назвал когда-то «текучим и повальным попустительством человека своим слабостям».

Беда не в том, что распался Советский Союз: это было неизбежно. Беда в том, что разрушение империи, которое для прочих четырнадцати республик было (или хоть казалось) борьбой за Родину, — для России было фактическим отчуждением населения от этой самой Родины, вбиванием небывалого еще в истории клина между страной и ее народом. Эти десять лет — чего уж там — мы прожили без Родины. Мы сами себе успели внушить непреложную истину: любое упоминание о величии России есть по определению призыв к реставрации сталинского монстра, страны железного занавеса, черной металлургии и еженощных арестов. Вот они, узнаваемые штампы горбачевской эпохи, на которую наложились штампы эпохи ельцинской: 1) Нам обо всем врал, и истина *никогда* не совпадает с государственной версией события; 2) КГБ (ФСБ, ФСК) бессмертен и всегда знает больше нас; 3) Во всех трагедиях страны всегда виновата власть, все победы — победы народа, одержанные вопреки власти; 4) Укрепление русской государственности — главная опасность для народа, поскольку государство — первейший враг населения; 5) Никакой альтернативы либерализму нет, поскольку любая попытка возразить ему оборачивается ГУЛАГом и Холокостом.

2 марта умер великий русский писатель Фридрих Горенштейн, который всю свою жизнь ненавидел либеральную интеллигенцию, — она, впрочем, платила ему взаимностью, старательно замалчивая, а то и напрямую высмеивая. В одном из

своих последних интервью Горенштейн обрушился на либерализм с силой, неожиданной даже для него: нужно изжить рудименты диссидентского сознания! Не мешать власти, когда она способствует укреплению государства! Государство — это тело страны, и не нам разрушать его! Мудрено ли, что при таком подходе к укреплению русской государственности этот писатель не пользовался в современной России широкой известностью?

Конечно, говоря «либерализм», мы вкладываем сегодня в это слово совсем не тот смысл, какой вкладывали в него отцы-основатели Соединенных Штатов. Они как раз были людьми пассионарными, убежденными, да и сама современная Америка являет нам примеры искреннейшего патриотизма, переходящего в идиотизм. Что ж, Иосиф Виссарионович Сталин и Александр Андреевич Проханов намертво скомпрометировали само понятие русского патриотизма, оставив право на любовь к Родине всем, кроме нас? Ведь это именно они внушили нам, что патриотизм *всегда требует жертв*. Да ничего подобного, жизнь не состоит из экстремальных ситуаций — провоцируют их как раз те, для кого нет ничего святого. Наши так называемые либералы, опережающими темпами разваливая государство, больше других сделали для возможного триумфа фашизма — это чудеса народного терпения, что реакция на их художества до сих пор не наступила. А патриотизм — это вовсе не любовь к тому самому монстру, с которым идеологи русской свободы старательно отождествляли Родину. Патриотизм на самом деле требует очень немногого: не глумиться, не добавлять своего пинка стране, которую пинают все, иногда гордиться своей страной — за то, что многим кажется скорее поводом для стыда: я говорю прежде всего о феноменальной русской способности сидеть в навозе и нюхать розу, жить кое-как и иметь великую культуру. Когда либерал произносит свой любимый эвфемизм «достойная жизнь», он имеет в виду прежде всего жизнь сытую. Сытость никогда не была русской национальной идеей; более того, она никогда не была национальной идеей вообще.

Зачем искать эту пресловутую национальную идею, когда она — вот, дана нам в ощущении? Эта идея — величие, чаще всего иррациональное и даже ненужное, иногда ущербное, подчас уродливое. И все-таки это величие — величие пространств, подвигов и глупостей; иррациональный, невероятный масштаб. Это и есть русская идея, и она мне кровно близка, поскольку я тоже занимаюсь всю жизнь никому не нужными вещами. Литературой, в частности. И как ни старались девяностые годы свернуть меня с этого пути, сделав из меня клерка, дилера, риэлтора, — я продолжаю составлять из букв слова, из слов

предложения... Неуместное в сегодняшнем мире, нерациональное, бесполезное — вот то единственное, что мне дорого; и в этом смысле страна — безусловно моя.

Стало общим местом, что всем нам она что-то должна, что любить ее мы начнем, только когда она обеспечит нам достойную жизнь... Но помилуйте: кто же будет обеспечивать нам достойную жизнь, если все уверены в ужасности Родины? Слава богу, что сегодня ее честь отстаивают в основном спортсмены и юристы; но что будет, если ее — такую — на самом деле придется защищать? Времена, когда у нас не было вероятного противника, давно закончились. Мы все еще свои. Ничего не поделаешь. И страна все еще наша.

Не надо, однако, делать вид, будто любовь к своей квартире — это необходимость постоянно ее защищать и ежедневно за нее умирать. Убираться в этой квартире — тоже не тоталитаризм. Любовь к своей квартире и к своей Родине состоит из нескольких простых правил и нескольких несложных дел, которые, ей-богу, отнюдь не обременительны. Чтобы жизнь в России перестала быть пыткой, достаточно ощутить эту страну своей.

Не надо нам внушать, что если мы призываем любить Родину, то, стало быть, должны отдавать своих детей Молоху войны. Не пугайте нас нашей Родиной, мы здесь живем. Мы тем больше ее любим, чем больше вы на нее плюете, — потому что мы, небольшой процент русских интеллигентов, не покупающихся на тотальную обработку слева или справа, способны любить ее только от противного. Мы не верим бондаренковской швали и не соблазняемся идеей железной и каменной тюрьмы народов. Шваль демократически-беспредельная нас тоже никогда не убедит, что без России будет только лучше. Мы любим свою Родину по-розановски: любим «обглоданный остов, всеми плюнутый». Может, именно униженная и изуродованная страна — это и есть наш единственный шанс ее полюбить: в силе и славе пускай ее любят другие.

Но вот я включаю телевизор — и вижу на канале ОРТ чудовищную фальшивку телекомпании «ВиД» под названием «Десант». Мне рассказывают о том, как хорошо наши десантники готовятся воевать в Чечне, как они любят ветеранов и как им нравится служить в армии, а не на дискотеках болтаться. Вопросы свои, глупые и навязчивые, задает нагловатый корреспондент, на которого и сами десантники — не самая утонченная публика — смотрят с чувством неловкости и стыда...

Я такого патриотизма хочу? Навязанного, пропагандируемого, состоящего из встреч с ветеранами и походов

в кино? Мне этот кровожадный фальшак нравится?

Не нравится? Вот и не рыпайся. И не квакай о любви к Родине. Потому что иначе Родина посмотрит на тебя ласково — и схарчит со всей семьей, замыслами и вечными ценностями.

Вот наш выбор.

Наша страна дисквалифицирована. Она утратила навык самоуважения — а без этого никак не поднимешься. Рашен сам себе страшен. Мы не желаем себе победы ни в одной войне — потому что за победу надо платить, а как раз платить-то мы и не готовы. Ничем. Ни за что.

Так что ж, спрашивают меня в одном из форумов Интернета — мальчик, который кричит «А король-то голый!», тоже дурно поступает?

Очень дурно. Это же твой король, мальчик. Ты его не выбирал. Поди, стань в угол. А лучше подай ему прикрыться.

2002 год

Что я вижу

(Ответ на анкету журнала «Цитата»)

Самая опасная для психики штука — это когда видишь одно, а тебе говорят другое. Видишь, что больной в коме, — а тебе говорят, что он спит легким сном выздоравливающего и улыбается во сне. Видишь зыбкое болото — а тебе говорят, что это твердая почва. И так далее. К счастью, бывает искусство, которое не врет. Оно бы и радо, но бессознательно проговаривается — просто потому, что имеет дело с данностями. Кино, например. Про что бы ты ни снимал, в кадр попадает кусок реальности. Вот такой кусок, и довольно большой, показал сейчас Петр Буслов в «Бумере. Фильм второй». Сюжета там никакого нет, он распадается при первом прикосновении, но настроение — точное. Образ страны — вполне адекватный. Сразу за Москвой начинается огромная свалка, земля, которой слишком много, чтобы ее можно было возделывать. По этой земле можно только метаться, потому что долго задерживаться на ней нельзя: тоска, тревога, пустота, руины. Обломки старых парков культуры и остановившихся предприятий. Братки, забывшие об иерархии: «Старшие в Москве сидят, а у нас тут все просто так». И паратройка приличных людей, машинально продолжающих делать свое дело без цели и смысла. Так выглядит сегодняшняя Россия, и доминирующие настроения в ней — тоска и тревога, которые гонят тебя дальше и дальше, куда глаза глядят. Даром что впереди все то же самое, пока не упруешься в границу.

Ну, значит, я все правильно вижу. Не может же быть, чтобы мы с Бусловым, не сговариваясь и принадлежа к разным поколениям, так одинаково воспринимали Родину.

О тенденции лучше всех сказала Марья Васильевна Розанова: после этих ее слов в эфире нашего «Сити FM» восторженные звонки раздавались беспрерывно. Розанова уже три часа как уехала домой, а какой-то упертый слушатель все настаивал: «Вернуть старуху! Старуха говорила правду!» Правда вот какова: «Атлантида погрузилась в воду не за пятнадцать минут. Это был процесс долговременный. И с Россией он — долговременный, с тою только разницей, что погружается она не в чистую океанскую воду, а в совсем другую субстанцию». Все мы до сих пор живем остатками советского мира, и сейчас он на глазах частично догнивает, а частично догорает. Техногенных катастроф в ближайшее время будет как минимум не меньше. Чечня, окончательно ставшая кадыровской, будет превращаться в

гигантскую мину-ловушку. Стабфонд будет расти, становясь все бесполезней. Попытка закрутить гайки будет неизбежной, но, оттянутая до последнего, обвалит все окончательно, потому что этого закрута сгнившая субстанция уже не выдержит. Такова макротенденция, и никакой другой я не вижу. Ленин любил повторять, что эсхатологическое мышление свойственно представителям вымирающих классов, но несколько путал понятия. На самом деле представителям вымирающих классов свойственна болезненная чуткость — они и так обречены, и бояться им нечего. Так что все они видят правильно.

На этом общем и довольно гибельном фоне есть мелкие тенденции, гораздо более увлекательные. Мир всасывается в новую глобальную войну, но Россия в этом противостоянии никакой роли играть не будет — обойдутся без нас. В моду у нас стремительно входит и скоро окончательно войдет психоанализ: где без толку изменять реальность — надо менять свое восприятие этой реальности, и прошлый год наглядно показал, что без Курпатова и Еникеевой поле массовой культуры сегодня уже непредставимо. Психолог — самый желанный гость в политических ток-шоу (ибо политическая информация закрыта наглухо, и остается гадать на гуще). Психолог — самый популярный персонаж семейных, скандальных и кулинарных программ. Психолог — тот мед, которым вместо йода смазывают рану.

На фоне свертывания отечественной вольности все больше проявляется другая тенденция — как бы компенсирующая: рост бесстыдства. Если в смысле политическом, социальном или философском пространство разрешенных высказываний на глазах схлопывается, то в порядке посильного возмещения растет пространство эстетическое: разрешены такие вещи, которые бы год назад не прошли никакого ОТК. Мера пошлости превышена многократно, пир бездарности длится и длится без всякого стыда. Главная тенденция в этом смысле — повторять на голубом глазу: «Да, мы такие!» Мы такие, и быть другими не можем и не хотим. Пробовали, не вышло. Если врать — то нагло. Если демонстрировать собственную бездарность — то без тени смущения, триумфально и самоупоенно. В глазах Максима Галкина, Елены Степаненко и Владимира Соловьева — одна и та же эмалевая уверенность: это наше время. Мы, по крайней мере, никем не притворяемся. Эту тенденцию я назвал бы новой честностью.

Модно становится заботиться о своем теле, потому что заботиться о душе в таких условиях нельзя: душа может догадаться о происходящем и лишиться покоя. Модно становится

не просто худеть (это уже давно), но исправлять любые другие дефекты, шлифовать себя до пластикового совершенства в духе Барби. Все моднее будет делать экзотические домашние ремонты. В прессе все большую роль будут играть так называемые блоги — их и сейчас уже цитируют всюду: «живые журналы», дневники молодых обывателей, убежденных в своем праве судить обо всем на свете. И впрямь, чем они хуже обозревателей с образованием и опытом? Информация одинаково скрыта от всех, а умствования никому не нужны. Бесстыдство — самая естественная и, пожалуй, самая спасительная реакция на страх. А поскольку страха современные люди не чувствовать не могут (слишком хорошо видно, к чему они идут) — единственно адекватным ответом на это становится наглое, торжествующее «Чем хуже, тем лучше».

Надо бы, наверное, сказать о позитивных тенденциях. Они налицо. Самым нервным и пугливым — литераторам, кинематографистам, отдельным умным девушкам — довольно быстро надоедает бояться. Эмоция эта слишком сильная, трепетные творцы и их музы не выдерживают этого долго. И тогда они начинают говорить правду: сначала друг другу, потом остальным. Так что на фоне тотальной пошлятины постепенно начинается расцвет искусств. Так уже было в Серебряном веке, накануне другой катастрофы. Но ресурс тогдашней России был не в пример больше. Ее хватило еще на семьдесят лет большевистского рывка и постбольшевистского распада. Теперь не хватит. Тем пышнее будет наш последний расцвет.

2006 год

Девять мифов о России^[1]

1. Вернуть СССР

Одна из самых устойчивых и бредовых легенд о современной России — страшная сказка о том, как она мечтает вернуться в 1991 год. То есть восстановить СССР в прежнем составе и подчинить доминионы.

О, если бы. Это, по крайней мере, было бы осмысленно. Имперская идея неосуществима, но в качестве мечты прекрасна и плодотворна. Никто же не говорит, скажем, о достижении Царствия Небесного при жизни, но мечтать-то не запретишь, без этой установки всякая вера бессмысленна. Совершенство маячит где-то вдалеке, но надо хоть курс на него держать... Нынешняя Россия, к сожалению, хочет совсем другого. Имперские идеалы — удел незначительной и не особенно влиятельной части населения. Говорю не о почвенниках и не об ура-патриотах, как раз помешанных на идее мононациональной «России без чурок», — а о тех немногих, кому рисуется великий цивилизаторский проект. Даже эти утописты, однако, в душе понимают, что в качестве цивилизатора Россия сегодня несостоятельна. Великого проекта, который мы могли бы нести благодарным сателлитам, не наблюдается и близко. Себя-то цивилизовать не можем, Сибирь бы удержать, а вы — империю... Нет, ребята, не с нашим счастьем.

Больше скажу — в сегодняшней России господствует доктрина куда более страшная, а именно изоляционизм, проигрышный по определению. Имперское сознание предполагает экспансию, расширение собственных правил и представлений на прочий мир, уверенность в своей конкурентоспособности — мы же сегодня именно в эту конкурентоспособность не верим, стараясь закрыться от любых влияний и веяний, настаивая все на том же особом пути, на вредоносности заимствований, на поддержке отечественного производителя и квотировании зарубежного. Лозунг «суверенной демократии» на деле отражает именно это, а вовсе не желание решать свои задачи самостоятельно. Мы уже давно рулим сами, никто нам не указ.

Суверенная демократия — это когда для нас не существует мировой опыт, а наш, в силу его уникальности, не годится для прочего мира. Я уж не говорю о низовых, но мощных ксенофобских настроениях: имперский проект ведь предполагает, что столица империи подобно советской Москве — будет

наводнена среднеазиатскими, славянскими, прибалтийскими гостями... Кто хочет этого в сегодняшней России, где и свои-то брюнеты чувствуют себя неуверенно? Оно бы, конечно, хорошо быть чисто русской империей, и отдельные националисты рисуют себе именно такой проект — с имперской завоевательной мощью, незыблемой властной вертикалью, жестокой элитой, набранной по принципу отрицательной селекции, и несчастным народом в качестве эксплуатируемых дикарей. Но таких садистов-государственников, во-первых, немного, а во-вторых, для ближнего зарубежья они уж точно не опасны. Все их воинственные потенции направлены на истребление собственных несогласных — чтоб чужие боялись.

Так что, к сожалению, о восстановлении империи не мечтает в России никто. А жаль. Хороша или плоха была та империя — по крайней мере на уровне провозглашаемых ею доктрин она была много лучше нынешнего средневековья, в которое скатились и Россия, и значительная часть ее бывших спутников.

Иное дело, что подавляющее большинство российского населения — и тут расхождений не наблюдается — все-таки мечтает, и не без оснований, о дружественном отношении так называемого СНГ. О ностальгии, с которой мы думали бы друг о друге. О дружеской лояльности, что ли. Обидно же, когда вчерашняя жена рассказывает новому мужу о том, как ужасно ты храпел, как бил ее по пьяни и как от тебя воняло носками. Не сводилась же к этому ваша семейная жизнь! Были там какие-то походы в театр, выезды в Крым, какая-то, страшно сказать, романтика... Любили друг друга, общее дело делали... Теперь, конечно, разошлись, всякое бывает, — но давайте хоть не шептать в ухо новому партнеру: «О, как ты это делаешь... oh, honey... он никогда так не мог!» Мог, девочки, в том-то все и дело. И сводить с ним счеты, когда он не в лучшем виде орет на соседей и выживает за счет сырья... ну, как-то это не комильфо. И пускать на постой его врагов, демонстративно с ними целуясь, тоже неблагородно. Он ведь орал, скандалил — но и содержал, и принес вам не одно только угнетение, а и кое-какую культуру, и перспективы, и мировой контекст... Вы же до замужества были, прямо скажем, не особенно образованной простушкой с мещанскими запросами, стонали под игом байства, с грамотой были проблемы, а не то что в космос летать... Так что теперь, после развода, который никому из нас не прибавил счастья и богатства, можно бы сохранять хоть тень лояльности.

Россия вправе рассчитывать если не на благодарность, то хотя бы на уважение; если не на помощь в своих нынешних проектах (согласен, часто сомнительных), — то хотя бы на

снисходительность. Потому что бывшие наши компатриоты в отсутствие нашего тоталитарного гнета тоже покамест не предъявили миру ничего выдающегося: политика так себе, со свободой слова в Грузии обстоит немногим лучше, чем в России, и даже самые горячие украинские головы вряд ли сегодня считают феномен Майдана серьезным вкладом в европейскую политическую культуру. Все мы друг друга стоим, господа, и если не хотим больше дружить — давайте друг другу хотя бы не гадить, не оплевывать, что ли, общее прошлое. Вот на что Россия вправе надеяться. Но эти надежды, к сожалению, тщетны — очень уж мы сегодня неприглядны.

А об империи мы и не мечтаем, что вы! Мы вообще давно не мечтаем. Отсюда и все наши проблемы.

2. Вот бука, бука, русский царь!

Сказка о неискоренимой привязанности россиян к сильной руке и тотальной неспособности к демократии уже поистрепалась, но оказалась живучей — судя по частотности ее рассказывания на постсоветском пространстве. Молодые новые демократии путают собственное население Россией, как букой. Как хорошо, что мы вовремя откололись. Кровавый Путин. Рта не открыть. Тотальный контроль над прессой и бизнесом. «А что вы хотите? Что Россия дала миру, кроме рабства? Она и освобожденным ею от фашизма народам не принесла ничего, кроме нового угнетения»... Ну и так далее, по восходящей, в зависимости от глубины собственного кризиса. Чем хуже собственные дела, тем страшней пугалка. Все как у Пушкина в нозле: «Вот бука, бука, русский царь!»

Сказать, чтобы в легенде о любви россиян к сильной руке вовсе не было правды, — нельзя: наверное, в пионерлагерных страшилках про зеленую руку, душащую непослушных детей, тоже есть доля истины. Судьба непослушных детей действительно трудней, чем праздничная участь послушных. Любовь россиян к вертикальной власти, диктатуре и насилию отчасти сродни любви кавказца из анекдота к помидорам: «Кушать люблю, а так — нет». Сильная рука россиянам вовсе не нравится, но с ее помощью выстраивается тот русский мир, который, невзирая на все его опасности и издержки, комфортен для конформиста, уютен для большинства.

В чем исключительность России? Об этом есть замечательные стихи у Александра Кушнера: «Когда б я родился в Германии в том же году...» Речь там о том, что в нацистской Германии у него, еврея, уж никак не было бы шанса выжить, — даже и убеждения

оказались бы ни при чем, шлепнули бы до всяких убеждений. «Но мне повезло. Я родился в России... и выжить был все-таки шанс у меня», — вслед за ним это повторяют многие, и не в одном «еврейском вопросе» тут дело. Россия — вообще страна щелястого тоталитаризма, довольно значительного зазора между народом и властью; деспота здесь сажают на трон не для того, чтобы обожествлять, и не затем, чтобы маршировать за ним к светлому будущему.

Обратите внимание, массовый саботаж этой маршировки начинается почти сразу после установления очередной диктатуры. В том-то и ужас, но и прелесть российского населения: оно никогда полностью не разделяет ценностных установок власти. И сильная рука нужна нашему народу исключительно для того, чтобы снять с себя всякую ответственность: пусть эта рука бьет — всех не перебьет. Зато мы опять свободны от необходимости проявлять историческую волю и что-то решать за себя.

В душе мы эту сильную руку презираем точно так же, как хозяин презирает сильного, но грязного наемного работника, приглашенного для осуществления самых зловонных процедур. А если иногда жертвами этих процедур становимся мы сами — так ведь, во-первых, не все и не до смерти. Всегда жива надежда, что берут каких-то не таких, неправильных, засветившихся в прежние времена: соседа, изводящего нас музыкой, другого соседа, несправедливо обогатившегося... А во-вторых, как показывает опыт, без этой сильной руки немедленно начинается усобица или голод, в результате которых убыль населения оказывается примерно такой же, как при Грозном или Сталине. Особенно если не искажать статистику в угоду той или иной идеологии.

У меня в книжке «ЖД» уже была изложена теория, согласно которой власть в России является именно слугой народа, и это не издевка и не гипербола. Можно, конечно, по-пелевински допустить, что нами правят вампиры, разводящие нас, как коров, — но это еще большой вопрос, кто кого разводит. Очень может быть, что российское население от души позволяет властям паразитировать на себе и даже частично истреблять себя — чтобы только избавиться от всякой исторической ответственности. Так в древней мифологии дракону раз в год жертвуют красивейшую из девственников — чтобы весь остальной год дракон охранял город; и уверяю вас, в России над ним издевались бы даже девственницы.

До сих пор этот фокус — бегство от истории — удается: народ России в самом деле никогда ни в чем не виноват. Его угнетали то одни, то другие, эксплуатировали то баре, то большевики, обманывали то патриоты, то либералы, — но сам он

с одинаково обаятельным цинизмом смеялся над всеми, ничуть не меняясь с пятнадцатого столетия. Андрей Синявский не зря заметил, что главный вклад России XX века в мировую культуру — анекдот. Это инструмент не то чтобы народного сопротивления, но коллективного неучастия, дистанцирования.

Обратите внимание: Россия одинаково цинично смеялась над Лениным, Сталиным, Брежневым, Ельциным, Путиным... У нас нет и не было государственной доктрины, которую бы радостно и готовно разделило большинство населения. И про помещиков, и про царя всё понимали, и про Сталина (частушек и анекдотов про него было в разы больше, чем весьма вегетарианских и несмешных немецких анекдотов про Гитлера). Да что там! Даже наш Майдан образца 1991 года — свидетельствую как участник — был самоироничен, и почти все мои соседи, державшиеся за руки на площади перед Белым домом, посмеивались над собственным героизмом: «Погоди, будет то же самое». Они, в общем, не ошиблись. Украина — тоже весьма ироничная страна, но к своей независимости тут относятся истово, а Майдан для многих — до сих пор святыня. Россияне свободны от подобных предрассудков. Недавно один молодой израильский поэт с русским прошлым попенял мне: израильский патриотизм, мол, лучше русского, потому что в Израиле мера участия народа в жизни страны много больше, чем в России. И что хорошего, возражу я? Чем особенно гордиться? Население России в самом деле очень мало участвует в решении своей исторической судьбы — его допускают к этому только в кризисные периоды вроде отечественных войн. И что же? В остальное время оно бережет себя для вещей получше, чем голосования, политические дебаты и копания в белье недалеких и властолюбивых людей.

Русский зазор между властью и народом — наше великое ноу-хау. Мы свободны от участия в десятках глупостей и безобразий. Сильная рука берет на себя всю преступность, всю мерзость, всю грязь — предоставляя нам мечтать, работать и посмеиваться. Ничего другого мы не умеем, по это ведь и есть самые лучшие занятия. Россия никогда не была и не будет по-настоящему тоталитарной. Хорошо это или плохо — со стороны виднее. Мне больше нравится страна с жесткой властью и дистанцированным от нее населением, чем страна с приличной властью и безмерно преданным ей народом. Но это — только мой личный выбор, благодаря которому я здесь и живу.

3. Спирт для внешнего употребления

Миф о хроническом, неизлечимом, повальном, запойном,

радостном, трагическом русском пьянстве, пожалуй, принадлежит к числу тех немногих, которые насаждаются не самими русскими, а их гостями и соседями, причем насаждается, надо заметить, вполне доброжелательно. Из всех легенд о нас эта — самая безобидная. Русским приписывается столько пороков, от стремления к мировому господству до тяги к самоистреблению, «и все это одновременно и в темпе» (М. Веллер), — что каким-то пьянством нас в самом деле не скомпрометируешь. Как гетевский Мефистофель казался Господу еще самым приемлемым из адских жителей — «Из духов отрицанья ты всех мене бывал мне в тягость, плут и весельчак», — так и пьянство — самый уютный, милый и простительный из наших пороков. Я даже разделил бы всех, кто сплетничает о России, на две категории: одни приписывают нам имперскость, грубость, запредельный цинизм, другие фиксируются на чем-нибудь этаким милым, сравнительно простительным, вроде пьянства, болтливости, бытовой неаккуратности, склонности к ночным излияниям в ущерб деловой активности и пр. Короче, для одних мы — коварные враги, для других — невинные и не очень счастливые чудаки, и немудрено, что сами русские охотнее всего поддерживают именно репутацию сильно пьющих, ужасно любящих это дело, исключительно выносливых в попойке и совершенно неспособных без нее обходиться.

Это хорошо понимали уже в древней, дохристианской Руси, когда князь Владимир, выбирая государственную религию, отверг магометанство за чересчур строгое отношение к алкоголю: «Веселие Руси есть пити, не можем без того быти». Как видим, уже и в те времена это было чистым пиаром для внешнего употребления — в данном случае под этим надуманным предлогом было отвергнуто чересчур радикальное и бесчеловечное магометанство. Пьянство в России акцентируется и, по-современному говоря, пиарится лишь для того, чтобы списывать на него следствия других, куда более серьезных пороков: ведь с алкаша серьезного спросу нету, он как бы болен, при этом он немного художник, в своем роде артист, и относиться к нему надо, как к творцу, не слишком склонному заботиться о нуждах низкой жизни. Да еще при той культуре застолья, которая сложилась на Руси, при разнообразии легенд, тостов, ритуалов, не уступающих грузинским...

Снисходительное отношение к питию — этическая норма и в Европе, и в Штатах, и среди аборигенов Австралии. Мы цепляемся за миф о своем бытовом алкоголизме так же, как евреи — за свои анекдоты: уж мы лучше высмеем себя сами и за что-нибудь сравнительно невинное, чем дадим критиковать себя другим и за

серьезное. Так же, кстати, обстоит дело у жителей широкой Украины, охотно трунящих над собственной любовью к салу, — хотя никакой особенной салозависимости я на Украине сроду не наблюдал, салоголизма не встречал и салофилов гораздо чаще видел в Сибири. Но чем признаваться в собственной жадности или мстительности, или интеллектуальной и политической несамостоятельности, — куда лучше ведь посмеяться над салофилией, не так ли? Чем позволять другим строить ужасные догадки о своей тяге к мировому господству и о всемирном иудейском заговоре — куда проще самим рассказать пару еврейских анекдотов о милой жадности и обаятельной трусоватости. Чем признаваться во всеуслышание в дикости, зверстве, необузданности, необязательности и элементарном хамстве — куда выгодней лишний раз попиарить свое пьянство, списав все упомянутые черты своего характера на его счет.

Между тем бытовое российское пьянство — даже в глубинке, даже в самых депрессивных регионах — преувеличивается упорно и многократно; правда, пьют множество дряни, приводящей ежегодно к примерно одинаковому проценту отравлений (от них, впрочем, гибнет гораздо меньше народу, чем от беспечной езды). Но потребление алкоголя в русской деревне вполне сравнимо — по крайней мере количественно — с его же потреблением в грузинской, абхазской, да и французской глубинке; в провинции Коньяк я лично наблюдал быт виноделов, дегустаторов и рядовых граждан, не имеющих отношения к виноградарству, — пьют, как в Тамбове, и хоть бы хны. Впрочем, и в Тамбове пьют вполне умеренно — по сравнению с питием литературных и кинематографических русских, представляющих собою некие бездонные манекены, насосы, резервуары. Этот миф эксплуатируется в бесчисленном множестве фильмов, спектаклей и надрывных песен — так что мог бы и насторожить умного потребителя: если вам так назойливо что-то впаривают — самое время усомниться.

На деле же все обстоит вот как: русскому характеру в самом деле присущи некие черты, связываемые обычно с повышенным потреблением алкоголя, но не имеющие к нему никакого отношения. Если ты хамишь, бьешь жену, забываешь о назначенном свидании, грозишься закидать всех шапками, неумеренно гордишься собой и брезгливо воздерживаешься от систематического рутинного труда — проще сказать, что ты «был выпимши», согласно традиционной российской формуле. «Был пьян, ничего не помню» — универсальная отмазка: к пьяному непременно проявят снисхождение. Между тем никакого особого пьянства нет — это нормальная заниженная критичность, всегда

сопровождающая неумеренное употребление алкоголя, но вполне возможная и без него. Если русские часто ведут себя, как пьяные, — это вовсе не значит, что они много пьют. Это всего лишь значит, что они очень многое себе прощают и очень сильно себя уважают — именно за то, за что другие склонны их ненавидеть. Это нормальное поведение человека, живущего в обстановке тотальной недоброжелательности и рискованного земледелия. Но сводить его к алкоголизму, честное слово, не стоит.

4. Мифология Путина

Владимир Путин, вероятно, — самая мифологизированная фигура современной России: оно и понятно, ибо мифологизация — главное занятие наших друзей, врагов и политологов (правда никому не нужна и даже опасна), а Путин волей-неволей упоминается чаще всех. Главная ложь этого многоликого мифа — в том, что общая ответственность перепихивается на конкретную личность. От Путина зависит очень немногое. Роль личности в российской истории пренебрежимо мала — Толстой это хорошо понимал и напрасно стремился распространить на историю всемирную. Решение о нападении на Россию принимает Наполеон, но отпор Наполеону дает не лично Кутузов, а русский характер и русское пространство. Русская история наглядно циклична, ход вещей тут предопределен, и кто бы ни оказался на месте Путина — он обречен был бы делать более-менее одно и то же.

Путин в силу петербургского происхождения и явной симпатии к Европе, где он успел пожить и поработать во времена застоя, — делает это более-менее аккуратно. Разговоры о том, что он вводит цензуру, бессмысленны: я вижу, как цензура нарастает снизу, как до неузнаваемости меняются люди, еще позавчера защищавшие свободу, все эти менеджеры среднего звена, панически боящиеся любого внятного анализа, не говоря уж о сенсационной информации. Самое забавное — именно наблюдать, как история отстраивает людей: так магнитное поле располагает опилки по правильным дугам.

Путин — как и Ленин, и Сталин — заложник истории: Ленин хотел разрушить империю, а вместо того реставрировал; Сталин хотел проредить окружение в типично восточном стиле, убрав старых большевиков, а спровоцировал вакханалию самоуничтожения, поставившую страну на грань выживания. Разумеется, кое-что зависит и от личности: будь на месте Сталина Троцкий — СССР больше напоминал бы не Российскую Империю, а Камбоджу; но если бы на месте, допустим, Хрущева рулил кто-

то иной — судьба оттепели осталась бы той же. Макроисторические закономерности личностями не регулируются. Окажись на месте Путина Лужков или Примаков (а они собирались) — со свободами было бы покончено куда быстрее, а культ личности принял бы масштабы поистине гомерические. Что до внешней политики — думаю, тут возобладали бы методы времен Очаковских и покоренья Крыма, и вряд ли Украина — хорошо зная лужковские эскапады в Севастополе — обрадовалась бы такому развитию событий.

Если же вернуться к Владимиру Путину — миф о нем, как и все в России, бинарен, то есть двуглав, он развивается в рамках давно устаревшей оппозиции почвенников и западников. Одни считают Путина либералом до мозга костей, чересчур мягким, недостаточно националистичным; другие полагают, что это законченный кагэбэшник, сатрап, душитель, хладнокровный садист и т. д. И то и другое неверно: Путин — классический менеджер, каковым он был и при Собчаке, когда работал в сугубо либеральной петербургской мэрии, и при советской власти, когда осуществлял надзор за советской колонией в ГДР. Общая жажда третьего срока базируется именно на тайном страхе (присущем и либеральному крылу), что следующий лидер уже не будет иметь ни советского, ни собчаковского опыта — а потому кинется закручивать гайки с утроенной энергией, хотя они спокойно закручиваются сами.

Несколько раз Путин допускал серьезные и даже катастрофические ошибки. Такой ошибкой был Беслан, когда ситуация в первые часы после захвата никем, в общем, не контролировалась; предыдущей такой ошибкой был «Норд-Ост», но тогда катастрофа казалась не столь очевидной. Два поздравления избранному Януковичу и предшествующая грубоватая агитация за него у всех на памяти. Не исключено, что ошибкой была и ставка на клан Кадыровых в Чечне — ибо со временем мы можем получить там гнойник почище масхадовско-басаевского; но другой ставки, боюсь, не было.

Вообще миф о профессионализме КГБ-ФСБ давно не выдерживает критики, чего стоит последняя история с Андреем Луговым, с шифровками по книге Гришковца и прочими нелепыми отмазками; а «британский булжжик», якобы фаршированный разведывательной аппаратурой? а генетическое супероружие, которое будет якобы поражать только русских — и потому мы не должны отправлять за рубеж свои биологические образцы? Если Путин и умен (а он умен), то не благодаря, а вопреки опыту работы в госбезопасности. Ему приходится работать с чрезвычайно ограниченным контингентом, простите за

невольный каламбур. На этом фоне и Сергей Иванов выглядит европейским интеллектуалом — он, по крайней мере, умеет себя вести на людях.

Наряду со всеми этими ошибками у Путина были и победы, обеспеченные отнюдь не только нефтью и административным ресурсом. Он удалил из России Гусинского и Березовского, искренне убежденных в своем всевластии; он ограничил самодурство, а то и прямой сепаратизм местных властей, введя институт кремлевских наместников; он вернул главные российские ресурсы под контроль государства, не слушая демагогии о том, что это антирыночно; иное дело, что и это предопределено ходом вещей, и его личная роль тут только в том, что все это было сделано сдержанно, без крови. Мне могут напомнить о Ходорковском, но я в ответ напому о Тухачевском, с которым — в аналогичной ситуации — обошлись гораздо отвратительнее. В общем, Путин способен оптимально действовать на коротких исторических дистанциях — со стратегией у него, как у всякого менеджера, обстоит хуже; но некоторым его ответам я аплодировал от души, и вообще за его поведение на международной арене, по крайней мере, не стыдно. Реплика про то, что мы не хотим иракской демократии, — отличный экспромт.

Главная же ошибка Владимира Путина не упоминается почти никем: в соответствии со своим бэкграундом он искренне полагает, что стране всего нужней стабильность. Это не так: в пьесе Леонида Зорина «Царская охота» еще в 1975 году было сказано: «Великой державе застой опасней поражения». Под коркой стабильности в России бурно идут процессы гниения — но и роста; росту эта искусственная «стабильность» мешает, а для гниения она идеальна. Для первого срока — 2000–2004 — Путин был оптимальной фигурой, но для второго уже недостаточной. Для послеоперационного больного искусственный сон благодетелен, но он может перейти и в кому. Путинская Россия интеллектуально бедна, полна нарастающей и наглежащей показухи, неустойчива перед серьезными стрессами — стране явно нужен другой. Но другого нет. И это главная причина живучести путинского мифа — мифа о том, что Путин идеально соответствует масштабу стоящих перед ним задач. Это не так. И сам он это знает лучше других.

Впрочем, когда я слышу его зарубежных критиков — в том числе и украинских обывателей, — даже у критика власти вроде меня случаются пароксизмы гордости за своего президента.

Миф о стремительном интеллектуальном оскудении сегодняшней России, из которой все мозги вытекли, а несколько оставшихся титанов мысли бесповоротно ушли в оппозицию, насаждается при активном участии самой России, которой это, наверное, зачем-нибудь надо. Вероятно, это такой способ усыпления общественной бдительности. Да и потом, еще Иван-дурак, любимый персонаж русского фольклора, наглядно доказал: с тех, кого считают дураками, — спрос гораздо меньше, зато триумфы их гораздо ослепительней. Картина Репина «Не ждали».

Да, сегодняшняя Россия действительно поражает чудовищным уровнем масскульта. Масскульт есть везде, но не везде он так омерзителен и притом отрефлексирован, то есть сознательно и целенаправленно опущен ниже плинтуса. Все представители голимой русской попсы отлично знают, что делают. Дарья Донцова в бесчисленных интервью, которые она чудом успевает давать, не отрываясь от ежеквартального выпуска клонированных черно-желтых уродцев, от души ругает собственную прозу, признаваясь, что никогда не считала себя серьезным литератором. Помогает забыться — и ладно. В душе она, возможно, так не считает, но на людях ведет себя прилично и в тогу не рядится. Короче, вообразим себе толпы литературных, музыкальных и телевизионных Сердючек, работающих на понижение и даже исчезновение планки; представим себе десять копий ток-шоу «Аншлаг», которое три министра культуры пытались вытеснить с российского телевидения, но разбились о бетонный рейтинг этой программы, — и российская массовая культура явится вам во всей своей ослепительности... с одной существенной поправкой: она существует не для массового потребления, а для массового отталкивания. Все эти люди, от души хохочущие над Петросяном, так радуются именно тому, что они — не он.

Недавно меня взволновала тема фриков на российском телевидении: их там в последнее время стало немерено. Подробное, гурманское смакование бесчисленных уродств, в диапазоне от «Дома-2», где уродства в основном психические, до вполне буквального и крупного, садически-подробного изображения врожденных патологий, травм, шрамов и татуировок в каком-нибудь «Специальном корреспонденте» или чудовищной «Программе Максимум», сам ведущий которой Глеб Пьяных украсил бы самую придиричивую кунсткамеру... Зачем это, для кого? Милости к падшим так не внушишь, сострадания к малым и убогим — тем более: камера слишком явно любит патологию. Откуда этот уклон в уродство и ненормальность — особенно заметный на фоне глянцевого благодати отечественной политики,

на фоне зализанных новостей, давно сводящихся к переездам и шуткам первого лица? Откуда сумасшедший рейтинг молодежных реалити-шоу, герои которых демонстрируют лишь свой клинический идиотизм и невыносимую, несравненную пошлость каждой мыслишки? Причина проста: это попытка внушить населению хоть какое-то самоуважение — от противного. Потому что больше его сегодня взять неоткуда. Как и в крепостной России, где участие крестьянина в судьбе страны сводилось к рабскому труду и смиренному терпению. Тогда ведь основой национальной мифологии была все та же мысль: мы *выглядим* дураками и даже усердствуем в этом. Но на деле мы, разумеется, совсем не таковы!

Современному россиянину абсолютно не за что себя уважать: его страна выживает за счет сырья, а не за счет блестящих интеллектуальных достижений; во внешней политике она малоуспешна, во внутренней — однообразна и бесчеловечна, выдумать приличный миф о британской разведке — и то не могут (и, кстати, пресс-конференция Лугового — точно такое же фрик-шоу, как и «Дом-2»). Любая работа в России — почти всегда работа на дядю: неважно, в какие одежды рядится это рабство, именуется оно крепостничеством или корпоративным духом. Права и способности россиян повлиять на ситуацию в стране недалеко ушли от царских времен, когда средний обыватель чувствовал себя полностью отчужденным от происходящего «в сферах». За что ценить себя? За то, что я не попса. Я еще не Петросян, не Водонаева из «Дома», не участник «Фабрики звезд», продавший себя на круглосуточное обозрение другим таким же невестребованным молодым балбесам. Отсюда и почитание уродств и юродств, культ дурака в русском фольклоре и быту: дурак нужен для того, чтобы отталкиваться от него, как от минуса. А мы — нормальные, слава тебе, Господи!

Имидж «дурацкой России», какой ее знают по Петросяну, реалити-шоу, программам для домашних хозяек и газете «Твой день», не имеет ничего общего с реальной и чрезвычайно умной страной, в которой я имею честь проживать. Каждый день я читаю по две-три рукописи молодых авторов, и любой из этих авторов даст серьезную фору поэтам и прозаикам моего поколения. Я мог бы назвать не меньше сотни первоклассных имен во всех сферах современной литературы, публицистики, журналистики, общественной мысли, кинематографа, театра — все эти люди активно работают. Программа нынешнего «Кинотавра» сделала бы честь Каннам. За последний год в России опубликованы десятки замечательных романов, написаны гениальные песни, начаты серьезнейшие социологические исследования. Но все это,

будь оно широко распиарено, лишь вызвало бы у населения новый приступ паники и комплексов. У нас уже есть опыт Серебряного века, когда общественная и культурная жизнь страны оказалась настолько сложна и грандиозна, что примитивная политическая система была обречена вступить с нею в конфликт — и треснуть, как треснула теплица под напором гаршинской пальмы. Чтобы терпеть такую политику (и такую экономику), россиянам сегодня нужна именно такая культура, какую мы наблюдаем по главным каналам или обнаруживаем в глянце. А для внутреннего употребления существуют серьезные книжки и хорошие фильмы: загляните в рейтинги продаж любого магазина — и увидите там никак не Донцову и тем более не «Аншлаг». Они нужны современному россиянину лишь как фон, на котором он в полном шоколаде.

6. Все свои

Труднее всего развеять миф о поголовной зависти российского населения к богатым и успешным, о неискоренимом злорадстве, сопровождающем падения фаворитов и разорения магнатов. Здесь все тоже сложнее — поскольку дело сводится вовсе не к зависти.

Разумеется, некое злорадство наличествует. Скажем, иду я недавно в Артеке на любимый пляж, а там на время кинофестиваля поставили охрану — пускают только с бейджиками. А бейджик у меня в пресс-центре, забыл забрать. Начинаю что-то объяснять молоденькому охраннику. Рядом со мной на пляж пытается пробиться украинская семья «дикарей». Она начинает горячо меня поддерживать: ну хоть этого пустите, мы знаем, что он журналист! Это очень трогательно: в России, боюсь, началось бы совсем другое. «Этого не пускать! Если нас не пускают, то и никто чтоб не пролез!» В результате охранник умилился проявлению межгосударственной солидарности и пустил всех, и ничего плохого от этого не было. У нас бы он не пустил никого и наслаждался собственным церберством. Российская государственность жестче и оскорбительней украинской, нашему человеку не устают напоминать об его ничтожестве и бесправии — закон исполняется лишь в той его части, которая в данный момент удобна государству, зато уж в этом узком спектре зверствуют за десятерых, компенсируя бездействие в прочих сферах. Поэтому укравший булку садится на год, а укравший миллион учит нравственности по телевизору. Все это хорошо видно снаружи и особенно заметно по контрасту.

Но социальная зависть в России избирательна, как и закон:

она распространяется на тех, кто украл миллион, а те, кто украл пять, — вызывают уже восхищение и даже преклонение, особенно если жертвуют на благотворительность. Это изнанка все той же бесконечной социальной униженности: мы-то, конечно, стонем под пятой, не каждый день обедаем и не уверены в будущем детей — но если у кого-то получилось из-под пяты выбраться, этому человеку респект и уважуха. Думаю, всероссийское неизменное сочувствие к ворам — отнюдь не проявление всенародной сентиментальности и милости к падшим, потому что любят у нас не только арестованных воров, но и тех, которых никто не посадит никогда — они сами кого хошь возьмут под ноготь. Я другой такой страны не знаю, где была бы так модна блатная субкультура, где в топ-десятку FM-радиостанций входило бы «Радио Шансон», — но ведь это естественно для общества, где благота воспринимается как протест против всеобщей униженности и забитости. Вор украл не у нас — он ограбил эту систему, преступил этот подлый закон! Вертикальной мобильности в России почти нет, другого способа подняться со дна не придумано — оттого вся горьковская ночлежка смеется над Бубновым, мечтающим честно вернуться в нормальную жизнь. Дудки! Удачливый вор — один из национальных героев: иначе и быть не может в стране, где нарушение закона почитается добродетелью. К этому подталкивает все: закон нарочито и подчеркнуто бесчеловечен, по большей части неисполним, и именно поэтому эпоха олигархов не породила в России сколько-нибудь массового социального протеста.

Вы думаете, тут кто-нибудь ненавидит Березовского? Или Жириновского, который очень на него похож — так же хитер, суетлив и почти так же богат? Ведь Березовский стал народным депутатом (от Карачаево-Черкесии) при полной народной поддержке, а Абрамовича на Чукотке вообще считают полубогом — где же тут социальная зависть и мстительность? Отношение русских к богатому отчасти сродни реплике раввина из анекдота: «Вы же не можете стать Богом, падре? А один из наших все-таки пробился!» Так и тут: один из тысячи наших, припавший к государственному кормилу, воспринимается как всенародный мститель, воплощение общих чаяний — даже если он при этом еврей. Обратите внимание, как ограбленная постсоветская интеллигенция кинулась защищать Ходорковского — именно потому, что видела в нем собственные черты: очки, свободолюбие, культурность... Думаю, что она узнавала в нем и кое-какие из собственных пороков, — но говорить о них я здесь не буду, потому что Ходорковский сидит, а о сидельцах либо хорошо, либо ничего. Выйдет — поговорим.

В России нет зависти к несправедному богатству и незаслуженному успеху. Вот когда некто заработал деньги трудом или добился успеха талантом — это вызывает ненависть у определенной части населения, но это, конечно, никак не зависть, а вполне резонное отвращение двоечника к отличнику в школе с суровыми и бесчеловечными правилами. Если ты согласился играть по этим правилам и в этих рамках добился процветания — любить тебя не будет никто. Вот почему народ с такой радостью поджигает дом соседа, который своими руками все это возвел и обустроил, но с одобрительно-лукавой усмешкой следит за приключениями родной элиты, не работавшей ни дня. Это нормальная черта русского перевернутого мира, в котором законы существуют для преступания, грабитель предстает защитником свободы, а любой созидательный труд выглядит уделом раба.

7. Маленькая вера

Попробуем разобраться с двумя взаимоисключающими мнениями о России — с мифом о ее тотальной, подспудной, неизменной, органичной, кроткой религиозности и о столь же бессмертном и циничном атеизме. Как вы понимаете, и то и другое — ложное обобщение, но само по себе отношение России к религии в самом деле интересно и заслуживает анализа. Миф о народе-богоносце особенно активно пиарился славянофилами — поскольку он для них исключительно удобен: ведь славянофил видит в народе никак не мыслящую силу (тем более не набор индивидуумов, способных самостоятельно решать свою судьбу), а своего рода спелую ниву, готовую в любой момент без рассуждений лечь под государственный серп. У народа нет права на собственную волю — он кроток, незлобив, боголюбив; религиозность в представлении славянофилов — лишь покорность и слепота, тогда как сами себя они ощущают мозгом этой массы, элитой, поставленной ее наставлять. Наиболее адекватным мне кажется даже не сельскохозяйственное (пастыри при стаде), а кулинарное сравнение: повара при мясе.

Таким видят свой долг патриотические, консервативные, почвенные мыслители — и, само собой, религиозность в их представлении как раз и есть прежде всего тупость, пассивное принятие своей участи, готовность бесконечно прозябать в ничтожестве и нищете. У западников представление ровно противоположное — они и сами в большинстве своем атеисты, и народ свой хотят видеть таким же.

«Русский мужик произносит имя Божие, почесывая себе кое-

где», «русский мужик про образ говорит: годится — молиться, а не годится — горшки покрывать» — все это цитаты из письма Белинского Гоголю, и они более чем характерны для русского либерала. Либерал сам обходится без Бога — а потому и мужика желал бы видеть атеистом, способным вдобавок отвечать за себя, избирать и быть избранным, а о Господе вспоминать лишь в связи с аккуратным исполнением закона, который и есть истинная религия свободного человека. Это довольно скучный, сугубо западный (да и там давно устаревший) взгляд, имеющий с действительностью не больше общего, чем тотальная уверенность патриотов в кротости мужичка-богоносца.

Мужичок успел удивить и либерала, и патриота: в семнадцатом от души разрушал церкви, в девяносто первом от души их восстанавливал, в двадцатом расстреливал попов, в девяносто третьем освящал колбасные конвейеры, — и делали все это не жида и не латышские стрелки, а тот самый богоносец-рогоносец, о котором было столько полемики. Впрочем, он и диспутантов мочил без разбора — что либералов, что патриотов.

Русская церковь — тема более простая, с ней все ясно: она традиционно (по крайней мере с петровских времен, с раскола, который нанес сильный и, возможно, решающий удар народной вере) поддерживает самые архаичные, косные и репрессивные тенденции в обществе. Можете быть уверены, что если держава закабаляет народ — Церковь на ее стороне, а если вдруг что-нибудь разрешает — реагирует ворчливо и неодобрительно. Недавнее послание чукотского епископа Диомида — почему это Патриархия так либеральна, да почему нет решительного осуждения содомитов и экуменистов (словно от содомитов и экуменистов только и бедствует сегодняшняя Россия) — стало характернейшим выражением не маргинальных, а самых что ни на есть корневых и типичных тенденций в православии: запрещать, поработать, порицать — его привычное занятие. Говорю, разумеется, не о мыслящих священниках, не о пастырском подвиге о. Георгия Чистякова, о. Сергия Желудкова или о. Александра Меня (к ним можно относиться по-разному, но масштаб личностей обсуждению не подлежит). Говорю лишь о массе — которая, к сожалению, почти не занимается катехизацией населения, а на все вопросы отвечает: «Молись». Огромный процент священников охотно берут деньги у блатных, считающих Бога верховным паханом и пытающихся задобрить его пожертвованиями и дареными колоколами; впрочем, это явление интернациональное. Но в представлении многих батюшек Бог и есть верховный пахан — грозный, совершенно аморальный и глухой к мольбам, зато уважающий силу и с равным одобрением

благословляющий ратников и гопников.

Все это, однако, почти не имеет отношения к подлинной русской религиозности, которая в народе есть, и которая бессмертна, как «скрытая теплота патриотизма», о которой так точно говорил Толстой. Это не язычество, хотя многие обвиняют русских именно в верности его неизжитым пережиткам; думаю, что русские точно так же относились к Перуну, как сегодня относятся к Богу-отцу, — то есть верили, когда прижмет, и забывали о нем, когда все нормально. Это отношение к вере точнее других описал В. Розанов.

Не сказать, чтобы русские были «христианами до христианства», как полагают иные апологеты русскости, — то есть что главные христианские черты (милосердие, стойкость, сострадательность, умиление, жертвенность) были присущи русским изначально, и потому христианство попало на благодатнейшую почву; но другие черты, которых требует христианство — доверие к судьбе, недоверие к официозу, ироническое пренебрежение к комфорту, умение пошутить в экстремальных обстоятельствах, безразличие к регалиям и финансам, — у русских были всегда, и потому оно действительно здесь очень уместно. Русский Бог — не совсем христианский, но уж вовсе не языческий; он не требует от русских ни обрядов, ни твердого следования заповедям (и редкий россиянин перечислит их вам, если вы его остановите на улице), вообще не хочет от них никаких особенных жертв — но находится с ними в заговоре. Он любит их просто за то, что они русские. Он им подмигивает. Он сам такой же, как они, — иронический, хитроватый, выносливый, двуличный, вечный. Он знает, что они могут существовать вечно, — но лишь при том условии, что не будут меняться. Русский Бог похож на мужика. Он циничен, не обещает (и не обеспечивает) легкой жизни, но обещает (и обеспечивает) легкое отношение к ней. Русскому Богу молятся матом, к этой молитве он чуток. Русский мат облегчает любую безвыходную ситуацию и делает ее переносимой, служа универсальным паролем.

Русский Бог — Бог стыдливый, скрытого милосердия, демонстративного безразличия к собственной судьбе и упорного, стойкого выживания; он не слюнтяй, но и не садист. Помогает он только тогда, когда уж действительно край, — но в этих ситуациях не бросает никогда. Заслужить его любовь нельзя — она либо дается сразу и навеки, либо не дается никогда, хоть ты лоб разбей в молитве. Русский Бог может полюбить и немца, и еврея — лишь бы этот немец и этот еврей соблюдали его заповеди: не верь, не бойся, не проси, не ной, не свирепствуй. Красть он разрешает. К пьяным он благосклонен. Возможно,

потому, что пьянство позволяет быстрее всего ввести себя в то состояние, которое русский Бог так любит: безразличие к себе и невыразимую любовь к тоскливому, дождливому простору вокруг.

8. С головой, повернутой назад

Легенда о перманентной ностальгии россиян по прошлому имеет кое-что общее с действительностью, но проблема, как всегда, сводится к углу зрения. В изучении России рано или поздно наступает момент, когда симптомы ее многочисленных болезней начинают рассматриваться как условия выживания: ну все, возьмите с полки пирожок, вы уже кое-что поняли про страну. Чтобы не вспоминать пресловутый анекдот про болото — «Что ты меня отсюда тащишь, я здесь живу!» — вообразите себе человека, страдающего одновременно десятком расстройств и погибающего при первой попытке лечения: прежде чем лечить, надо этот проект детально описать. Тогда, может, и лечение не понадобится.

Российская цивилизация — уникальный опыт самосохранения вопреки всему, вот почему она так архаична, на взгляд иного либерала: здесь с XVI века все более-менее по-прежнему, и никакие научно-технические прорывы не придадут русскому бунту цивилизованных черт, а из феодального общества не сделают индустриальное. Этот выбор — самосохраняться и жить вечно, вместо того чтобы пройти некий эволюционный путь и исчезнуть, — еще оправдывает себя: я далеко не убежден, что любимая мной американская цивилизация досуществует до XXII века, — а у России есть все шансы. Основные черты этого вечного проекта — циклическая смена элит, периодические вспышки самоистребления, столь же периодические упрощения (когда культура оказывается чересчур сложна для архаического общественного устройства и входит с ним в противоречие); одним из неперенных условий этого самовоспроизводства является и ностальгия. Но она столь устойчива не потому, что русские вечно возвращаются в прошлое и желают это как-то оправдать; нет, она — лишь один из способов не видеть настоящего или, по крайней мере, не рефлексировать по его поводу.

Осознание настоящего должно бы, по идее, порождать немедленные действия, потому что жить в феодальной реальности не особенно душеполезно; но поскольку действия в России исключаются, а история идет сама собой, заведенная, как часовой механизм, — россияне предпочитают разбираться с прошлым или фантазировать о будущем. Это не отменяет того факта, что всегда находятся литераторы и публицисты,

озабоченные актуальной проблематикой, — но в поисках аргументов они обращаются опять-таки к прошлому, да больше их и взять негде: чужой опыт нам не подходит, приходится бесконечно интерпретировать свой. В России не работает аргумент «А вот у них во Франции», — работает только «А вот у нас при Сталине».

Ностальгия приобретает в России разные причудливые формы — она вовсе не сводится к утверждению, что «раньше было лучше». Это лишь одна из версий, самая примитивная. Есть другой вариант — «раньше было отвратительно», но это тоже форма ностальгии, ибо иной критик соввласти или Серебряного века любит эти эпохи куда больше, чем фанатик-сталинист или фанатик-модернист. Сегодня Россия бесконечно снимает сериалы о сталинизме — «Дети Арбата», «Звезда эпохи», «Московская сага», «Завещание Ленина», «Александровский сад», «В круге первом»: в «Звезде эпохи» Сталин — добрый дедушка, в «Круге» — гнусный старикашка, но и то и другое порождается полной неспособностью осмыслить день сегодняшний. Одновременно снимаются «Бригада», «Бумер», «Жмурки» — фильмы о братковской эпохе девяностых; пишутся тонны публицистики о ельцинизме — публицистики восторженной, гневной, обличающей, превозносящей и пр.

Все это делается никак не ради благотворных перемен и даже не для извлечения уроков из прошлого: извлекать уроки — значит не повторять, а мы только этим и занимаемся. Просто разбираться в настоящем — значит обрекать себя на принятие срочных мер, ибо как же можно мириться с таким количеством очевидных глупостей?! Но я убежден, что адекватный анализ путинской эпохи будет дан лишь лет через двадцать, когда она закончится (думаю, до этого времени, кто бы ни был у руля, она сохранит название «путинской» и все главные черты; концом ее, скорее всего, будет какой-то крупный международный неуспех, сопоставимый с Крымской войной).

Само собой, копать в прошлом безопасней, чем интерпретировать настоящее, — но безопасность тут дело десятое, поскольку в русском национальном характере нет трусости и избыточной осторожности. Скорей, опасность кроется в том, чтобы вечно жить «с головой, повернутой назад» (А. Кушнер), — но этой опасностью русские легко пренебрегают. Погруженность в прошлое превращает его в эстетический феномен и делает Россию страной лучшей в мире исторической литературы: она удастся россиянам значительно лучше, чем интерпретация настоящего, которое всегда выходит несколько карикатурным и гротескным, как у Достоевского. Единственное

исключение — «Анна Каренина», в «Воскресении» в художественную ткань уже хлынула публицистика, авторский взгляд сделался избирателен, автор перестал воспроизводить реальность и стал навязывать ей определенный образ. «Война и мир» — исторический роман, «Доктор Живаго» — тоже, а феноменальная популярность Валентина Пидуля и Юлиана Семенова объясняется далеко не только их мастерством и легким налетом бульварщины. Не зря Лидия Чуковская называла свою «Софью Петровну» уникальным свидетельством: единственная повесть, написанная — тогда. Но напечатать ее оказалось возможно лишь пятьдесят лет спустя.

Правда, бывают в русской литературе писатели, предпочитающие говорить о настоящем. Например, Чехов. Но читать его — такая невыносимая тоска... Примерно такая же, как думать о дне сегодняшнем. Не зря Андрей Вознесенский воскликнул в семидесятые: *«Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию — ностальгию по настоящему»*. А показать бы ему это настоящее во всей неприглядной красе, от которой либо бежать, либо строить баррикады, — и тоже бы небось затосковал по прекрасным шестидесятым, когда на него орал Хрущев. Впрочем, именно такой ностальгии поэт и предался двадцать лет спустя.

Нет, русские не сводят счёты с прошлым. Они прячутся в нем от необходимости изменять настоящее. И слава Богу, скажу я вам на правах современника эпохи перемен.

9. Ты у себя одна

Москва — самый мифологизированный город России: жадный, жирующий, витринный. Люблю ли я Москву? Черт ее знает. Люблю ли я собственную жизнь? Смотря с чем сравнивать. Она могла быть много хуже, и слава Богу, что есть хоть такая. Я давно живу от минуса — с тех самых пор, как впервые внятно осознал наличие под каждой крышей своих мышей. Завидовать некому. Кое-какие подсознательные, самые глубокие воспоминания — вы их тоже обнаружите, если как следует покопаетесь, — доказывают, что решение о рождении в это время и в этом месте было все-таки моим, сознательным. К моим услугам была вся временная линейка и весь глобус, и выбрал я в результате 1967 год и Москву — что ж теперь жаловаться.

Москва дана мне еще и для того, чтобы все на нее валить, поскольку она — обстоятельство внешнее. Пробки, отсутствие исторического облика, знаменитое московское жирование на фоне нищей страны, толпы понаехавших, порождающие ответную

реакцию ленивых и озлобленных; переполненное и вечно раздраженное метро, садистская и бесполезная милиция, непропорциональные цены на жилье — все это мое. И все это лучше, чем провинциальное болото с его болезненным, подпольным самомнением — «зато мы духовные». Так что раздражение на Москву — это раздражение на себя, и главная его причина — безальтернативность. Другого себя у меня нет. И другого города для жизни и работы в России тоже, к сожалению, нет — по крайней мере, если вы хотите многое успеть и кормить семью не только с огорода. Нефтянику и газовику, может, еще имеет смысл жить в сырьевом регионе, а ядерщику — в наукограде, хотя и это сомнительно; но все остальные обречены на Москву, и в этом главный ее недостаток.

Впрочем, еще не главный. Главный — тот, что она осознает это свое положение и не удосуживается быть другой. Хавайте эту, потому что выбор все равно отсутствует. Гениальная идея Петра насчет двух столиц была идеальным выражением пресловутой российской двойственности: живем, как Азия, но думаем и мечтаем, как Европа. Москва — столица постылого ретроградства, цикличной истории, природного отношения к жизни, которого в России так и не коснулось христианство: она и нарастала концентрическими кругами, а чередование сильной и слабой власти, традиционное для нашего цикла, выражалось тут вечными московскими холмами, спусками-подъемами, крутыми горками, способными укатать любого Сивку. Круглый замкнутый город Фамусовых и Скалозубов, враждебный ко всему чужому и жирующий, однако, только за его счет: одеваются у французов — вечно ворча под нос «А все Кузнецкий мост, и вечные французы...» Золотая дремотная Азия, одно слово.

И вот вам Питер — вытянутый в струнку, как всякий город вдоль побережья; памятник государственной воле, разомкнутому кругу, сознательному движению вперед, город государственной мысли, выстроенный сильными для сильных; Венеция на чухонских широтах, северный форпост классицизма, цивилизованная империя, демонстративно и упрямо противопоставленная московской мясорубке под видом государственности. «В Кремле не надо жить — Преображенец прав». Петр-Преображенец вытащил московскую государственность из-за кремлевских стен и перенес в архитектурное, строгое умозрительное пространство; красно-коричневый кремлевский кирпич сменился «желтизной правительственных зданий», солнечным Адмиралтейством, голубым Таврическим дворцом, розовой Думой. У населения появился выбор: столицей озлобленных ксенофобов,

самодовольной азиатчины, купеческих чаепитий и ретроградствующих архаистов сделалась Москва — столицей жестокой, холодной европейской прямоты и социального эксперимента стал Петербург.

Россия, впрочем, все приспособит под себя и всему придаст свой неповторимый пыточный колорит — так что Европа очень скоро выродилась в казарму, и Москва стала восприниматься уже как теплая и домашняя альтернатива питерской бесчеловечности. Город безумного Павла и слишком разумного Николая Палкина, шпицрутенгов и парадов, парадных подъездов и присутственных мест стал так же самодельно жесток, как всякая русская государственность. В Москве стало можно отсидеться, укрыться от палочной дисциплины и правительственного холода; оказалось, что купеческий город может быть и добр, и сердечен, а московская старина — храмы, садики, хлебосольство — спасительна для изнывшей в Питере души, где частный человек ничего не значит. Ленин перенес столицу из Питера не потому, что правительству опасно стало сидеть в сорока верстах от немецкой передовой, а потому, что подсознательно ненавидел русскую государственность, особенно в ее питерском оформлении; он не желал править в городе, где казнили его брата, и отомстил этому городу, по иронии судьбы названному в его честь. Революция революцией, пролетариат пролетариатом, а все-таки питерский стиль Ильичу претил, и он сбежал в Кремль. Он все еще надеялся построить в России государство иного типа; и Москва наложила свою азиатскую лапу на весь облик советской России с ее природностью, замкнутостью, ксенофобией и красно-коричневым колоритом. Питер стал восприниматься оазисом свободы, а вскоре окончательно утратил столичность. И Москва стала безальтернативна, как все обитавшие в ней вожди: Сталин, Брежнев, Ельцин, Путин. Собственно, это главное, что их роднит, — и это их главный порок. Путин попробовал что-то сделать для Питера, но, кажется, отчаялся.

Безальтернативный, единственный богатый город в стране. Единственный центр деловой активности. Место, где даются главные взятки и устраиваются главные разносы. Местонахождение главного российского ковра, на который вызывают и под которым грызутся. Ковер наполовину изъеден молью, но регулярно подновляется за счет нефтяных сверхприбылей. Город, возводимый рабскими руками: чистый феодализм, роскошь за счет нищеты, муляж деловой активности, за фасадом которой происходит все та же примитивнейшая феодальная грызня; и какая разница, что инструментом ее теперь служит компьютер? В Москве нет бизнеса — здесь «делают дела»,

проскальзывают в щелки, прогрызенные в законе, топчут друг друга, измываясь над самым понятием взаимопомощи... Этот город может себе позволить толкать падающих, не верить слезам, возвышать низких — ведь другого нет. Одна у нас столица.

И чем более жирной она становится, выпивая жизнь из всех окрестностей, высасывая из страны всю нефть, все деньги и всю энергию, чем больше пухнет этот гнойник, куда оттекают все мерзавцы, — тем отчетливей теряет она свой облик, ибо гнойнику архитектурный стиль не положен. Наши скверы с их лавочками, о доски которых вечно открывали пиво, наши дворы со старухами и колясками, наш Арбат, наши хрущевки, наши Солянка и Варварка исчезают, застраиваемые плотно — ножа не всунешь — и бездарно.

Московская недвижимость всегда в цене! Пузырь дуется и каменеет — где ему лопаться, если вкладываться больше не во что? Государство забрало себе весь бизнес и все медиа — причем негласно, половинчато, через подставных крыс; возможно, это и лучше, чем хищнический русский бизнес, которому так и не дали стать цивилизованным (да он, кажется, не очень и стремился), — но что делать человеку, желающему расти? Он должен либо выучиться лгать, либо катастрофически поглупеть, либо вписаться в армию клерков, которые у нас тоже похожи на солдат империи, либо спекулировать на жилье, ибо единственный город, где можно жить, обречен быть дороже Мехико и Токио вместе взятых.

Конечно, Москва не виновата в своей единственности. Виновата вся страна, не желающая жить иначе, не способная структурироваться на западный манер. У нас одна форма бытования — болото с гнилым пузырем в центре. И никакая золотая осень на Воробьевых горах, никакой весенний дождичек в Замоскворечье, никакой Серебряный бор не искупят этой мерзости — хотя при слове «Москва» кое-что хорошее еще вспоминается. Правда, чаще мне почему-то теперь представляется обобщенное офисное здание, зеркально-черное, с дорогим и невкусным кафе в одном подъезде, кокаиновым клубом в другом и попкорновым долби-кинотеатром в третьем. Даже сталинские высотки были приличнее.

А достойны ли мы другой столицы? Отнюдь. И другой жизни, если вдуматься, не достойны. Просто одни призывают себя любить — на почве все той же безальтернативности: «Я у меня один!» А другие, как я, предпочитают ненавидеть. Это, мне кажется, несколько перспективнее.

Впрочем, так и с жизнью. Я люблю ее — от минуса, по контрасту со смертью. И ненавижу за то, что она у меня одна.

С «Нашими» что-то не так, но что — объяснить очень трудно. Ниже будет предпринята честная попытка разобраться не столько в них, сколько в себе — нечто вроде шульгинского «Что нам в них не нравится», где автор честно пытался объяснить себе и людям, почему он антисемит.

А чувства после очередного двухнедельного тренинга комиссаров на Селигере — действительно смутные. Не зря даже сторонник движения Андрей Громов назвал свою статью в «Русском журнале» осторожно — «Смутное чувство Селигера». Проблема вовсе не в том, что в центре лагеря висит плакат «Будет по-нашему». Звучит грозно, но даже Василий Якеменко не окончательно себе представляет, что значит «по-нашему», — и слава Богу. И пятикилометровый кросс с утра, обязательный для всех, и факультатив по рукопашному бою (говорят, не особенно популярный) — тоже не драма; физически развитые люди не всегда опасны. И то, что лекции на Селигере читали Павловский, Кураев и Рамзан Кадыров, — не страшно, поскольку если бы их читали Михаил Касьянов, Гарри Каспаров или, не дай бог, Ахмед Закаев, — чувство неблагополучия лично у меня было бы куда отчетливей. Что Россия во многих лекциях предстает окруженной врагами — достаточно послушать Леонтьева или Маркова, — так ведь эти лекции транслируются по телевидению регулярно, молодые от них и так не защищены; подозреваю, кстати, что Россия действительно окружена врагами, — не потому, что этого хотят они, а потому, что так удобней ей и ее мобилизационным идеологам.

Мир ведь таков, каким мы хотим его видеть, а истину один Бог знает. Не пугают меня и откровенно безвкусные, на грани идиотизма акции по наведению чистоты и порядка в ближайшем городе Осташкове — с консультированием осташковцев по вопросам правозащиты (к бесплатным молодым юрисконсультам обратилось аж тридцать человек; трудно жить в городе Осташкове). Попутно навели порядок в детском приюте, покрасили заборы, подмели — метла издавна, со времен опричнины, была символом лояльности в России. И никогда, ни один российский лидер не призывал своих сторонников к насилию и кровопролитию. Не дураки же рулят. Скажем, символом грозного Третьего отделения — прообраза ЧК и ФСБ — был не только небесно-голубой мундир, но и носовой платок. *«Чем более слез отрешь этим платком, — сказал Николай Бенкендорфу, — тем вернее будешь служить моим целям».* На

этом фоне метла и кисть «Наших» еще вполне невинны. Даже железная дисциплина в лагере, кажется, доставляла самим комиссарам массу удовольствия — дети любят поиграть в войну, в штабе Тимура тоже была дисциплина. Когда вериги надеваются добровольно, они в радость.

Есть во всем этом еще один малопривлекательный аспект: «Нашим» все время внушают, что они элита. И будущая, и настоящая. Им говорят, что большинство их сверстников посвящают свой досуг алкоголю и разврату, и не бегают пять километров по утрам, — а вот они бегают, и потому они лучше. Человеку вообще опасно думать, что он хороший и спасется, а все вокруг плохие и за это огребут; с такого миропонимания начинается любая секта. Самодовольство — самый страшный из грехов, ибо именно через него приходят все остальные; но, положив руку на сердце, кого у нас сейчас не называют элитой? Откройте любой глянцево-журнал — и узнаете, что элита у нас состоит из Ксении Собчак, Шахри Амирхановой и Ивана Панфилова; не думаю, что библиотечарскому сыну или учительской дочери так уж вредно иногда почувствовать, что настоящие хозяева страны — все же они. Мне приходилось встречаться и разговаривать со множеством «Наших» в разных концах страны — большинство относятся к своей «элитарности» со здоровой долей иронии. И впрямь, какая уж тут элита, с житьем в палатках и двухнедельной тоской по горячему душу. Не страшно.

Настораживает другое: все «Наши» отлично понимают, что их будут учить государственной — господствующей — идеологии, и присоединяются к движению, готовясь к роли добровольных помощников власти. Хорошо ли это? Внушаемость ни в каком возрасте не может быть похвальна, а когда она еще и выгодна — это опасно вдвойне. Лояльность в России крайне специфична: Борис Акунин десяток романов написал, решая единственный вопрос — почему у нас порядочные люди всегда в оппозиции, а лояльный чиновник обязательно свинья? В самом деле, глядя на Василия Якеменко или Сергея Маркова (а в указанном направлении с разной скоростью движутся и все остальные идеологи российской государственности), всякий здравый человек усомнится в благотворности служения Отечеству — особенно искреннего, потому что оно приводит к наиболее стремительному перерождению. Причина проста: многие отшатываются под сень государственной идеологии, пренаблюдав нравы оппозиции. Видя, как вели себя подгусинские адепты свободы слова, многие честные люди с особенной готовностью перебегают на сторону власти — не потому, что это выгодно или безопасно (репутация при этом портится почти всегда, и читать

лекции в Штаты позовут уже вряд ли), а потому, что оппозиция наша уж очень противна.

Это тоже вполне объяснимо — оппозиция не может быть лучше власти, мы всегда равны своему врагу и бессознательно копируем его. А поскольку власть в России давно уже устроена по принципу отрицательной селекции — то есть начальником становится не самый умный, а самый грубый, лживый и наглый, — то и оппозиция действует ровно по этому закону: вы плохие, а я могу хуже! Власть отвечает по той же логике: ах так! А мы тогда сделаем еще гаже! По этим правилам играли царизм и большевики (Солженицын точно писал о воронке, в которую стороны друг друга вовлекали взаимно и чуть ли не полюбовно), Сталин и Троцкий, а сегодня — условные «сурковцы» и «русские оранжисты».

Почему Россия вся устроена именно по принципу «чем хуже, тем лучше», когда начальник почти обязательно глупее подчиненного, а наверху стоит самый циничный, — объяснять, думаю, не надо. В стране нет других стимулов для работы, кроме палки, страха или мздоимства, а происходит это потому, что никто не верит ни во что, даже и в десять заповедей, не говоря уж о правилах дорожного движения. В результате начальником становится либо Главный Пахан, либо Главный Кулак — между которыми, в общем, небольшая разница, потому что вечно выбирать между ворюгой и кровопийцей за тысячу лет хоть кому надоест.

Так что вербуясь — добровольно и с полным сознанием происходящего — в государственную элиту, «Наши» как бы подписываются деградировать, все время становиться хуже оппозиции, которая их постоянно к этому подталкивает (не скрывает же Лимонов, что главная задача НБП — именно провоцировать власть на выход из берегов). Христианская мораль, заставляющая быть лучше противника, в России мало кому доступна, ибо Россия — страна совсем не христианская и никогда, по сути, ею не была, по крайней мере на практике. Поэтому «Наши» подписываются на то, чтобы стать хуже Каспарова или Альбац. Что они хуже — уже видно по риторике их лекторов, которые, за исключением диакона Кураева, и в интеллектуальном смысле отличаются похвальной нищетой; достаточно час послушать Алексея Чадаева или любого его коллегу из павловского гнезда. Да чего там — посмотрите на Якеменко, откровенно любующегося собою в роли лидера пяти тысяч чистых, честных, добрых... Этот истероидный тип (Василий, не надо со мной судиться, «истероид» — не ругательство) искренне верит в свою миссию, и любой подросток, признающий

над собою юрисдикцию такого лидера, заставляет усомниться в своем душевном здоровье... но тут нас и караулит самое печальное.

Почти никто из «Наших» не разделяет якеменковского фанатизма. Как справедливо написал А. Колесниченко («Новые известия»), «„Наши“ — вовсе не оголтелые сторонники Путина, не хунвейбины будущей культурной революции и не уличные боевики, даром что охраняют их лагерь фанаты „Спартака“ из грозного отряда „Гладиатор“. Большинство „Наших“ вступают в движение так же, как раньше вступали в комсомол: потому что это выгодно. И — более того — необходимо, если хочешь сделать карьеру. А возможности для карьеры у „Наших“ — огромные, Сурков позаботился: и бесплатное высшее экономическое образование, и тренинги, и поездки, и стажировка за границей, и все, что угодно для души; это вам не маечки с пейджерками, которыми Якеменко приманивал „Идущих“. Эти — уже „Едущие“, даже, можно сказать, „Летающие“. За такое можно побыть и „Бегущими“, и „Лижущими“».

Все эти интеллигентные молодые люди из среднего класса не имеют в России ни малейшего шанса сделать карьеру, если у них нет богатых пап и роскошных мам. Вертикальная мобильность в нашем обществе стремится к нулю. «Наши» — единственный лифт. Ты присягаешь на верность Якеменко с Чадаевым — и устремляешься к сияющим вершинам, причем от тебя даже не требуется участия в ритуальном погроме. Все гораздо гуманнее. И не верят «Наши» ни во врагов России, обставших ее по периметру, ни в козни оппозиции, ни в судьбоносность национальных проектов. А верят в то, что комиссарство вручает им пропуск в новую, лучшую жизнь. И готовы они за это на многое — как готовы были комсомольцы семидесятых ритуально вызубрить, что такое демократический централизм, за преимущественное право поступить в институт или получить пристойное распределение.

И вот это — самое страшное. Потому что с фанатиком можно разговаривать по сути: он во что-то верит, у него есть нравственные святыни. Его нельзя или почти нельзя переубедить, но можно уважать. Фанатик, обжегшийся на личном опыте, способен его пересмотреть и стать героем — как, скажем, участница гитлерюгенда Софи Шолль, которая стала яркой антифашисткой и была в двадцатилетнем возрасте гильотинирована. Но вот карьерист, человек без убеждений, конформист, соглашатель, готовый поучаствовать в чем угодно за бесплатное обучение в Высшей школе экономики, — это полный бесперспективняк. Тупик. Эта публика уже провалила в России коммунизм, а потом перестройку. И все нацпроекты провалит, от

спасения города Осташкова до выхода на передовые позиции по демографии.

Надо бояться «Наших» не потому, что они верят в Путина, а потому, что они никакие не ваши. Они, как и все в России, — свои.

2006 год

Высказываясь на церемонии «Нацбеста-2007» о «Дне опричника» Владимира Сорокина, Артемий Троицкий упомянул о садомазохизме русского патриотизма как о чем-то общепризнанном. Генезис этого садо-мазо занимает меня давно и никак, кажется, как следует не описан. Нет слов: в том, чтобы слишком пылко отдаваться Родине и желать насилия с ее стороны, в самом деле есть нечто эротическое и притом болезненное — но это, конечно, не только русское явление. Штука, однако, в том, что именно в России у него есть любопытные особенности и слишком устойчивая садическая окраска. Вспоминаю газетный очерк 1979-го, кажется, года — там «Комсомолка» рассказывала о подвале, в котором старшеклассники играли в гестапо. Подчеркиваю — старшеклассники, а не какие-нибудь пионеры; «гестаповцы», насмотревшись «Семнадцати мгновений» и много еще чего, устраивали сексуальные оргии, имитации повешений, расстрелов, допросов — и все это с участием девушек, которые не только не возражали, но здорово вошли во вкус.

Все это было описано хоть и с пылким пафосом отвращения, но весьма откровенно по тем временам: чувствовалось, что и авторы относятся к происходящему с живым интересом. В финале следовал неизбежный гражданственный монолог — вот, к услугам этой молодежи были кинотеатры, библиотеки, кружок мягкой игрушки, но их неумолимо тянуло в подвал. Что же это такое?!

Кажется, все наши разговоры о путях России отчасти напоминают эту беспомощную руладу. Вот же, к нашим услугам созидание, всякие национальные проекты, здравоохранение и образование, и строительство настоящей демократии, — но всех почему-то неумолимо тянет в подвал родного подсознания, в разделение на истребляющих и истребляемых, в общенациональную оргию, которую неустанно пытаются спровоцировать то одни, то другие. То ДПНИ померещится погром в Омске, то несогласные страстно предложат себя в жертвы погрома в Москве или Петербурге. А почему? А потому, что это интереснее. Ясно же, что садомазохистские игры, не требующие интеллектуального усилия и обходящиеся минимумом специального антуража, значительно интереснее кружка мягкой игрушки.

Мы сами себе мягкая игрушка и при первой возможности сбиваемся в этот кружок — предлог может быть любым, вплоть до разведения помидоров. Можно выбросить в России самый

невинный ботанический лозунг — и население по отношению к нему немедленно поделится на западников (растлителей) и почвенников (запретителей), после чего польется отнюдь не томатный сок. Нынешняя стабильность чревата все тем же подвалом — эту изумительную особенность русского эроса и русской власти наглядно демонстрируют садомазохистские сайты Интернета.

Это искаженное, но чрезвычайно интересное пространство впервые открылось мне, когда я в 2000 году собирал материалы для «Оправдания». Там описана секта самомучителей, непрерывно подвергающих друг друга изощренному насилию. И для достоверности мне понадобилось зайти на сайт, посвященный истории пыток в России. Как ни странно, о самих пытках там было не так уж много — зато весь прозаический отдел сайта был битком набит рассказами бесчисленных анонимных авторов, чьи творения по изобретательности далеко превосходили позднего Пазолини. Почти во всех этих рассказах — частью фантастических, частью исторических — представители власти изобретательно насиловали и казнили представителей народа, по преимуществу женщин. Власть бывала разная — иногда фашистская, иногда комиссарская, но одинаково неумолимая. Вообще подробное исследование сайта «История пыток и наказаний» могло бы рассказать о здешней истории куда больше любых обобщений.

Во всех рассказах и фантазиях, наводняющих сайт, было заметно знакомство с книжной серией «Пионеры-герои», отлично памятной мне по детству. Эти сборники были истинной услугой садомазохиста: там подробно, со вкусом излагались истории из цикла «Мужчины мучили детей», причем описание подвигов несчастных пионеров занимало едва треть очерка и было выполнено, прямо скажем, без волнения, с холодным носом. Зато едва дело доходило до пыток и расправ, повешений и расстрелов, допросов и издевательств — авторы щедро демонстрировали весь наличный талант. Впрочем, ведь и в «Поднятой целине» комсомолец агитирует казаков сдавать зерно путем подробного и смачного рассказа о пытках, которым подвергли зарубежного комсомольца:

«В Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза, говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут... Так вот, вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии Советской власти. Но их поймали лютые

жандармы, одного забили до смерти, а другого начали пытаться. Выкололи ему глаза, повывергивали на голове все волосы. А потом разожгли докрасна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти...

(...) Жандармы тогда стали резать ему шашками уши, нос отрезали. „Скажешь?“ — „Нет, — говорит, — умру от вашей кровавой руки, а не скажу! Да здравствует коммунизм!“ Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь...

— Вот, будь ты проклят, какие живодеры есть! Ить это беда! — вознегодовал Аким Младший.

— ...Жгут его огнем, а он только плачет кровавыми слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает и одно твердит: „Да здравствует пролетарская революция и коммунизм!“

— И молодец, что не выдал товарищей! Так и надо! Умри честно, а друзей не моги выказать! Сказано в писании, что „за други своя живот положиша...“ — Дед Аким пристукнул кулаком и заторопил рассказчика: — Ну, ну, дальше-то что?

(Деду Акиму интересно. — Д.Б.)

— ...Пытают они его, стязают по-всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы оболбуют его водой и опять за свое. Только видят, что ничего они так от него не добьются, тогда пошли арестовали его мать и привели в свою охранку. „Смотри, — кажут ей, — как мы твоего сына будем обрабатывать! Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьем и мясо собакам выкинем!“ Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя — кинулась к своему дитю, обнимает, руки его окровавленные целует...

Побледневший Ванюшка замолк, обвел слушателей расширившимися глазами: у девочек чернели открытые рты, а на глазах закипали слезы, Акимова жена сморкалась в завеску, шепча сквозь всхлипыванья: „Каково ей... матери-то... на своего дитя... го-о-осподи!..“ Аким Младший вдруг крикнул и, ухватясь за кiset, стал торопливо вертеть сигарку; только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задергалась щека и повело в сторону рот...

— ...Сынок мой родимый! Ради меня, твоей матери, покорись им, злодеям! — говорит ему мать, но он

услыхал ее голос и отвечает: „Нет, родная мама, не выдам я товарищей, умру за свою идею, а ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть принять...“

Ванюшка вздрагивающим голосом окончил рассказ о том, как умер румынский комсомолец, замученный палачами-жандармами. На минуту стало тихо, а потом заплаканная хозяйка спросила:

— Сколько ж ему, страдальцу, было годков?

— Семнадцать, — без запинки отвечал Ванюшка и тотчас же нахлобучил свою клетчатую кепку. — Да, умер герой рабочего класса — наш дорогой товарищ, румынский комсомолец».

Немудрено, что после этой истории семья Акима немедленно сдала государству весь наличный хлеб.

То, что три лучших и наиболее популярных сетевых ресурса, посвященных садомазохизму, делаются именно в России, — само по себе факт весьма показательный: англоязычный Rusnecro, русскоязычные «История пыток» и «Салон Марка Десадова» упоминаются в любом списке «darkest sites» или «sickest sites», их форумы густо населены, а взносы поклонников не скудеют. Но куда интересней тот факт, что на любом snuff-форуме или BDSM-сайте иностранного происхождения исключительно высоко ценятся русские фотографии, а российские посетители составляют добрую половину садомазохистского интернационала. Они же поставляют на эти сайты львиную долю публикуемых там историй о допросах и пытках отважной комсомолки в 1943 году или о наказании нерадивой секретарши олигарха полвека спустя.

«Я сижу в офисе, рабочий день близится к концу. Я бросаю взгляд на кейс, что стоит у меня под столом. Мои подчиненные, наверное, до сих пор думают, что у меня там документы. Наивные. За пять лет мне удалось создать такую компанию, что самому уже ничего не приходится делать. Мне только приходят в голову разные идеи, а их воплощением занимаются совершенно другие люди. Они исполнительны и ответственны, но их примитивному мышлению не дано понять, что они только винтики в моей машине. Я зарабатываю миллион за миллионом без особого труда уже давно. Мне никогда не была интересна работа, и потому я потратил несколько лет на то, чтобы себя от нее освободить. Сфера моих интересов совершенно в другой стороне. Часы бьют шесть часов. Последний рабочий день недели

окончен. Впереди два долгих выходных — огромное поле для деятельности. В мой кабинет входит секретарша. Рената. Я никогда не назначаю секретарш сам, это делает менеджер по кадрам. Но ему достоверно известен тип девушек, которых мне нравится видеть в должности секретарши. Стройные длинные ноги, овальное лицо, серые глаза и длинные темные волосы, заплетенные в косу. На секунду я представляю, как схвачу Ренату за косу и она выгнетса, глядя на меня своими большими глазами».

Нетрудно догадаться, что и как он сейчас сделает с Ренатой: бизнесмен он, энкавэдэшник или комиссар — в данном случае совершенно не принципиально. Впрочем, как и в русской жизни двадцатых или сороковых.

Это вам не какая-нибудь давно известная связь эроса и танатоса, описанная фрейдистами, — тут танатос приобретает четко выраженные государственные, властные формы. Жертва — всегда женщина, которую либо бьют, либо насилуют, либо подвешивают на ближайшем дереве; палач — почти всегда мужчина, облеченный государственной властью. В этом смысле чрезвычайно интересны рассказы анонимного автора, специализирующегося в библиотеке «Пыток и наказаний» на описаниях школьных репрессий — удавливании нерадивых учениц и т. д. Особенно занятно, что все эти казни проходят со строжайшим соблюдением бюрократической процедуры: казнимому приходится долго дожидаться в приемной, заполнять бесчисленные формуляры, причем тетки в белых халатах непрерывно ворчат, сетуют на нерасторопность жертв и проклинают свою горькую участь. Этот элемент бюрократии, прокрадывающейся и в самые темные и тайные грезы поклонников BDSMa, наглядно иллюстрирует одну из главных особенностей советского сознания: чтобы вынести невыносимое, наши люди научились воспринимать его эротически.

Это тот соус, под которым можно съесть что угодно. В результате сидение в бесконечной очереди к врачу или жэковскому чиновнику приобретает аппетитные садомазохистские обертона. Ведь именно в России частного человека мучают жесточе и изобретательней всего — как правило, без всякой внятной цели: только здесь получение ничтожной справки способно растянуться на месяцы, и все это без малейшей государственной необходимости. Все это проникает в сознание — и причудливо преобразается в истории о том, как казнь целой семьи (рассказ «Казнь семьи Чуприных») сопровождается

десятками бессмысленных, но живописных дополнительных мучительств, и сопрягается с вполне базарным хамством казнящего персонала. Аналогичным хамством сопровождается «Казнь Оли Вьюрковой» — впрочем, перечислять эти рассказы бессмысленно, их несколько десятков, и различаются они разве что авторской стилистикой. Есть тут настоящие шедевры бюрократического реализма, а есть дешевые поделки в духе писем в «Спид-Инфо». Рассказ «Межшкольный центр» поражает не столько подробным описанием удушения двоюродной сестры на гарроте, сколько столь же детальным изложением предшествующей процедуры:

«Когда медсестра — уже другая — вывела из процедурной в девятый кабинет Галю, раздетую догола и, говоря официальным языком, подготовленную к умерщвлению, а на самом деле оглушенную нарочито бездушным обращением, мама уже поджидала ее там. Они кинулись друг другу в объятия, и Нина, вспомнив наставления обеих медсестер, уронила на пол пакет с одеждой и зарыдала в три ручья, так что несчастная женщина принялась целовать и успокаивать дочку вместо того, чтобы думать свои думы, а того пуще — расспрашивать девушку про подготовительные процедуры: как и всюду, где речь идет о жизни и смерти, работников сюда подбирали неболтливых, а сами юноши и девушки уносили эти подробности на тот свет. Об этом, между прочим, заботился и врач, занятый заполнением карточки, так что мама и дочка на самом деле не беседовали, а отвечали на множество вопросов: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; те же сведения о родителях; адрес, телефон, живет с отцом (отчимом) и матерью (мачехой), только с матерью (мачехой), только с отцом (отчимом), дедом, бабушкой, опекуном — нужно подчеркнуть; вес, рост стоя и сидя, объем шеи, плеч, груди на вдохе и на выдохе, талии, бедер, — сестра, кое-как оторвав Галю от матери, то подводила ее к весам или ростоммеру, то обтягивала тело Гали портновским сантиметром; в какой школе училась, кем направлена и за что».

Весьма эротичен сам по себе феномен русского запретительства — разумеется, не более осмысленного, чем бюрократия. Меня всегда интересовало: чем в действительности руководствуются депутаты Госдумы и иные радетели о духовности, призывая запретить то или иное шоу или

репрессировать подростковый журнал? Разумеется, это и пиар, — но пиариться можно по-разному, почему же столь предпочтителен репрессивный? Ответ прост: наибольшей популярностью в России пользуются именно те меры, из которых можно вывести репрессии. Бороться с порнографией — или с бескультурными шоу, или с либеральной идеологией — можно двумя путями: либо запрещать, либо развивать альтернативу. Но предложение развивать альтернативу выглядит так же наивно, как попытка отправить садомазохиста в кружок мягкой игрушки. Именно поэтому в переломные для Отечества минуты Государственная дума так любит рассматривать вопросы о «Симпсонах» или «Доме-2».

Возьмем рассказ популярного автора Sagittarius под названием «Аста» («Аста» — это новая модель виселицы):

«— Тебя за что вешают? — спросила она.

— Там же в направлении написано.

— Непристойное поведение? Переспала с кем-нибудь из мальчишек?

Снежана мечтательно задумалась.

— Это, наверно, так приятно...

Надя покраснела.

— Нет. Мы всего лишь целовались. А училка литературы нас заметила и все рассказала нашей классной.

— И что с вами сделали?

— Его выпороли у всех на глазах и исключили из школы. А меня вот сюда...

Девушки зашли в кабинку. Надя сразу заметила стоявшую здесь виселицу, небольшую Г-образную конструкцию, с перекладины которой свешивалась толстая веревочная петля с большим узлом, какие обычно рисуют на картинках».

Как видим, даже в этой истории не обходится без направления и последующей долгой бюрократической процедуры, а палачку Снежану чуть не вешают за проявление сочувствия к жертве. Действие этого рассказа с тем же успехом могло происходить в военкомате или продовольственном магазине. Весьма любопытен рассказ другого автора «Неделька», где московский плейбой расправляется по очереди с семьей молодыми гастарбайтершами. Современные реалии проникают в BDSM-прозу быстрее, чем в обыкновенную, — вероятно, потому, что в эротических сочинениях особенно ценится разнообразие, а жизнь не устает подбрасывать новенькое. Так, на «Десадове» недавно

появился рассказ «Арабеска» — о том, как богатый иностранец, отбитый русской девушкой у скинхедов, щедро вознаграждает ее сеансом бурной любви, опять-таки не без садо-мазо.

В изображении пыток и наказаний российское искусство достигло удивительных высот. Во всем мире популярен «инквизиторский» цикл художника Николая Бессонова, на чьих картинах обнаженные и полуобнаженные ведьмы сначала летают над средневековыми городами, а потом подвергаются «дознаниям первой степени», повешениям и сожжениям. Аниматор и художник Фрол Никитин (понятное дело, псевдоним) хорошо известен мультфильмами «Казнь партизанской семьи», «Расстрел заложников» и т. д. (анимационный цикл «Ужасы войны»). Ему же принадлежит серия замечательных рассказов — например, об убийстве молодой учительницы кулаками в 1922 году. На личном сайте Фрола Никитина можно найти душераздирающие партизанские истории, а также серию работ об ужасах Второй мировой в исполнении известного сетевого художника Бориса (Бора), тоже нашего соотечественника. Интересно, что современная тематика тоже весьма популярна — в нескольких рассказах разных авторов изображается ближайшее будущее: сетевые писатели с наслаждением предвкушают тот момент, когда новые следователи поведут на допрос олигархических дочек. Десятки рассказов с аппетитом повествуют о развлечениях российской милиции. В эту же парадигму со своим «Грузом 200» вписывается и Балабанов — понятное дело, что до СССР и 1984 года ему никакого дела нет, но полюбоваться тем, как мучают голых женщин, ему всегда интересно. Весьма натуралистическая сцена повешения лазутчицы из «Слуги государева» успела украсить собою ряд сайтов, специализирующихся на таких развлечениях.

Во всем этом, наверное, нет ничего дурного — у всякого свои фантазии, и лучше реализовывать их на бумаге или на сетевом форуме, чем в повседневной бытовой практике. Занятно другое — обилие русской тематики и русских авторов в этом жанре — это характерный изгиб национального сознания, который я назвал бы, впрочем, не причиной, а следствием нашей истории. Люди, которых слишком долго и бессмысленно мучили, привыкли обыгрывать эту тематику в эротическом ключе — что придает ей не только переносимость, но даже известную пикантность. В конце концов, рассказы пишутся не столько потенциальными палачами — у которых на такие дела не хватает душевной тонкости, — сколько потенциальными жертвами, пытающимися хоть таким соусом приправить свою незавидную участь.

Мне возразят, что BDSM-искусство широко распространено во

всем мире, что автор наиболее популярных садомазохистских комиксов Дольчетт (Dolcett) — канадец, а знаменитый изготовитель фотоманипуляций Footie Froog — скандинав (правда, сведения, которые сообщают о себе эти персонажи, вряд ли достоверны). Наконец, в Японии существует огромная и славная традиция садомазохистских мультиков манга, — так что упрекать русских в эксклюзивной любви к самомучительству, вероятно, не стоит. Согласен — мы тут не одиноки, но японцы, по крайней мере, давно сделали свою тягу к самоуничтожению объектом пристального внимания, харакири там — давно отрефлексированная составляющая самурайской культуры, а среди чиновничества и менеджмента господствует настоящий культ самоубийства (увы, совершенно неизвестный их российским коллегам: кто тут повесится после обвинения в коррупции?).

Вероятно, пора и россиянам задуматься, откуда в них эта тяга к репрессивному сексу и желание предаться запретительству на любом поле, эти поиски врага, русофоба, соблазнителя и отравителя, эта вечная убежденность в том, что их насилует весь остальной мир, и страстное желание однажды изнасиловать его так, чтобы мало не показалось. Думается, внятный психоанализ способен справиться и с этим комплексом — ибо некрофилия есть прежде всего показатель слабости. Мертвого не надо уговаривать и ублажать, и вообще с ним легче. Как и со стабилизированным обществом, в котором мы все живем.

Я предвижу некоторые комментарии к этому тексту. Наверняка многим покажется, что известный русофоб вновь пытается оскорбить русскую нацию, рассматривая творчество больных ее представителей. Авторам этих комментариев я посоветовал бы кое о чем себя спросить. Например, о том, почему они не хотят задуматься над вышеизложенным и опять торопятся расправляться с русофобами. Боюсь только, что призывать их задуматься ничуть не перспективнее, чем в который раз рекомендовать кружок мягкой игрушки.

2007 год

Русские горки

(Мифология любви в русской культуре)

В России мифология любви строилась, в общем, по европейскому варианту, но с явственным азиатским акцентом: не столько роман принца с пастушкой, сколько связь власти с народом. Секс народа и власти у нас — обычное дело, и потому Екатерина Великая с ее бесчисленными фаворитами была поистине главной героиней русского любовного мифа XVIII столетия. Думается, мифы о тайной гомоэротической связи Петра с Меншиковым или Грозного с Басмановым той же природы. «Царской ласки захотелось?!» — спрашивает Грозный Малюту Скуратова в фильме Эйзенштейна. Ой, хотелось!

Между тем XIX век резко смещает акценты. И главным отечественным любовным мифом становится история любви Востока и Запада, то есть грубого, но гениально одаренного варвара и утонченной, порочной, но культурной европейки. Возможен и обратный вариант — галантный француз влюбляется в загадочную россиянку. История любви Пушкина к Гончаровой никого особенно не интересовала, зато любовь Дантеса к ней же стала главной темой салонных пересудов. От всей мифологии русского декабризма в сознании современников уцелела история любви Анненкова и Полины Гебль: никто толком не помнил, чего они там добивались, на Сенатской-то, но что в истинного рыцаря влюбилась модистка да еще и последовала за ним на каторгу (ибо теперь сословные преграды были уничтожены), — это вызывало у всех истинный восторг.

Дикарка и миссионер, римлянка и варвар — эти древнейшие любовные сюжеты стали в России наиболее ходовыми: большинство современных читателей помнят о Тургеневе только то, что он написал «Муму» и был всю жизнь влюблен в Полину Виардо! Роман Некрасова с французенкой-актрисой Селиной Лефрен затмил его историю с Панаевой. История Сухово-Кобылина с Луизой Симон-Деманш закончилась трагически — по всей вероятности, он ее все-таки убил; любовь наша к Европе была зверской, мучительной, как роман Тютчева со второй женой, как влюбленности Марии Башкирцевой в итальянцев и французов.

Мезальянс пастушки и принца в России был обычным делом — мало кто из дворян не злоупотреблял пресловутым правом первой ночи, спасибо крепостному нраву. Обычай подсовывать молодому баричу резвую и лукавую девку — для просвещения и

разрядки — благополучно дожил до бунинских времен. Это было ситуацией столь рутинной, что никак не тянуло на любовный миф: переспать с сенной девушкой так же естественно, как поприставать к горничной. Иное дело — Европа: тут и романтика, и трагизм, и простор. Лу Андреас-Саломе — генеральская дочь, петербурженка — была возлюбленной и музой Ницше, Галя Никонова сделалась спутницей Элюара и Дали, от Ахматовой сходил с ума Модильяни, сразу несколько французских художниц сохло по Эренбургу (одной он книгу стихов посвятил) — в общем, русско-европейская (а вовсе не русско-американская, как в «Сибирском цирюльнике») любовь была главным мифом Золотого и отчасти Серебряного веков. Благополучно эта коллизия, как ни странно, выглядела только в императорском доме: Александр III без памяти любил свою Дагмару, а Николай II — свою Алису, но ничем хорошим для них и для России это не кончилось.

В веке XX-м намечился новый поворот. Как известно, на «-зо» заканчиваются три употребительных русских слова: «пузо», «железо» и «садомазо». В прошлом столетии железо и пузо встречались друг с другом с пугающей регулярностью, а садомазо лежало в основе всех любовных мифов. Тут была, конечно, пара романов в прежнем духе — любовь Высоцкого и Влади, Есенина и Дункан, то есть нашего непредсказуемого варварского гения и признанной красавицы (Дункан, американка, была классической европейкой по духу и складу). Зато наиболее распространенным любовным мифом стала история о любви экстремистки и мещанина, комиссарши и люмпена, барышни и хулигана, то есть бунтаря (бунтарки) и обывателя (обывательницы). Потом эта история была канонизирована в «Оптимистической трагедии». Любовь Маяковского и Лили Брик той же природы — не зря он снялся в «Барышне и хулигане», хотя в их случае барышня и сама была та еще хулиганка.

Любовь сознательного элемента к несознательному доминировала в отечественной мифологии, пока не стала реставрироваться империя и не возник миф о любви Военного и Актрисы (Серова и Серов, Серова и Симонов, Серова и Рокоссовский). Он — мужественный и много ездит (летает), она — женственная, немного ветреная, но верно ждет. Короче, «жди меня, и я вернусь». Главным героем любовного мифа становится сперва летчик, а потом — военный корреспондент. Представители власти в любовном мифе никак не участвуют — они выше этого и не снисходят до того, чтобы совокупляться с отдельными представителями народа. Они употребляют его весь, так сказать, кусочком.

В шестидесятые у нас на короткое время прижилась было

почти американская мифология — «любовь звезд», но не было настоящей звездной индустрии, а потому красивые романы оставались темой для разговоров очень небольшой прослойки. Любовь Никиты Михалкова и Насти Вертинской, Андрона Кончаловского и Наташи Аринбасаровой, Геннадия Шпаликова и Инны Гулая была красива, но известна в основном знатокам. Звезд не получалось. Русский любовный миф в эпоху застоя практически не существовал — даже Высоцкий и Влади не раскошегарили его; правда, на некоторое время, на самом закате советской эпохи, мелькнула история из фильма «Москва слезам не верит», ибо настало время выродившихся женственных мужчин и решительных производственников; но время впадало в маразм и к эротике не располагало. Маразм продолжался и в начале перестройки — обществу было не до любви. Своего мифа нет у нас и сейчас, потому что для мифа нужны положительные герои. Почти святые. Не Пугачева же с Филей, в самом деле! Принц и пастушка, поэт и кокотка, даже летчик и артистка вполне могут быть святыми, но вот олигарх и топ-модель... или министр и референтка... Именно поэтому сегодня нет ни одного любовного приключения, за которым наблюдала бы вся страна.

Впрочем, кое-какой святой у нас уже родился. И потому, надо полагать, следующий любовный миф будет у нас осуществляться по схеме «Забиба и король», как во всех тоталитарных сообществах (если кто не помнит, так назывался роман Саддама Хусейна). Так что в ближайшее время мы наверняка прочтем несколько любовных романов о любви кристально честного силовика к доблестной патриотке, простой, как мычание, и щекастой, как матрешка. Так что вместо любви бандита к проститутке мы скоро увидим духовную многосерийную телесагу о страсти народа и власти, тем более что в «Новостях» ни о чем другом давно не говорят.

2003 год

Политика имманентностей

Вячеслав Костиков — неглупый человек и неплохой писатель, чему никак не помешало его трехлетнее пребывание в ельцинских пресс-секретарях, — сказал мне как-то в интервью, что нормальная политическая жизнь в России была возможна ровно до тех пор, пока славянофилы с западниками могли пить чай. Вероятно, он имел в виду перепалку и переписку Самарина с Герценом, случившуюся после их встречи в Лондоне: спорили они насмерть, но обняться при встрече не побрезговали.

Чем далее, тем более я соглашаюсь с этим определением: нормальная политика возможна там, где существуют разделения более высокого порядка, нежели имманентные, изначально данные барьеры. Где славянофил может обнять западника, невзирая на идеологические разногласия, сословные и национальные границы, — поскольку оба они принадлежат к обществу порядочных и просвещенных людей. Где идеология не стопроцентно предопределена местом рождения, национальностью и другими родимыми пятнами. (В случае с Герценом и Самариным, правда, некую роль играло общее дворянство — но согласимся, что во второй половине XIX столетия оно значило уже не так много, как общее университетское прошлое.)

Славянофил XIX века не опускался до непримиримейшей — кровной — вражды. Между спорщиками не было непреодолимых — национальных — барьеров. Всякий инородец не считался априори врагом русской государственности. Всякий коренной русак не обязан был придерживаться ксенофобского, консервативного, агрессивно-православного мировоззрения. Скандинав Даль и еврей Гершензон были славянофилами, консерваторами и в высшей степени лояльными людьми; причины на это были у них разные, в том числе и национальные, — но мировоззрение они себе выбирали свободно. Имманентные признаки были далеко не решающим, а в сущности, и пренебрежимым фактором.

Сегодняшняя Россия — государство имманентностей, потому что любые вещи более высокого порядка либо дискредитированы, либо уничтожены предыдущей нашей историей. Общество восстанавливается медленней, чем уничтожается; радикальная революция происходит у нас примерно раз в сто лет, а культуре для восстановления и развития требуется примерно вдвое больше времени — особенно если учесть, что культура и наука со временем усложняются. Русская литература после

большевистского переворота возрождалась очень успешно, но достигнуть уровня Толстого и Достоевского так и не успела — оборвалась на Трифонове, Солженицыне и Набокове; русская философия дожилась до духовного ренессанса семидесятых, дала Меня, Сергея Желудкова, сборник «Из-под глыб», — но «Глыбам» до «Вех» далековато как в смысле высоты взгляда, так и в смысле умения подниматься над клановыми предрассудками. Словом, мы опять не успели восстановиться, хотя все к этому шло: в гниловатом оранжерейном воздухе совка начали распускаться фантастические цветы. Очередная революция сровняла все с землей, и сегодня у нас остались только самые простые вещи: сырьевая экономика и столь же сырьевая идеология.

Национализм сегодня оправдывают многие, в том числе и неглупые люди, а потому пришла пора со всей прямоотой заявить, что это — обычный аналог сырьевой экономики в идеологической и политической сфере; нефтяная экономика проедает то, что есть, и категорически не в состоянии произвести то, чего еще не было. Националистическая идеология паразитирует на том, что есть, и опять-таки не в состоянии ничего выстроить на этом фундаменте. В принципе, из национализма можно сделать удивительные вещи — например, разветвленную и увлекательную систему сожительства с другими народами, тактической борьбы и стратегического взаимодействия с ними; можно проникнуть в историю вопроса и проследить механизмы формирования нации; можно, наконец, сформировать нацию нового типа (одни называют ее «гражданской», другие — «политической»), то есть сформулировать наиболее подходящие для нашей истории и территории нравственные принципы и начать наконец им следовать, считая себя нацией на основании общего вероисповедания и закона, а не рождения в Москве или Оренбурге; но ничего подобного Россия делать не собирается. Она скребет по дну. Сегодняшняя националистическая идеология предельно проста: выгнать всех, кто не мы, — и проблемы устанут сами собою.

Человек вообще состоялся ровно в той степени, в какой преодолел свои имманентности: болезнь, старость, бедность (все рождаются голыми), сословные предрассудки, саму смерть. Человек интересен лишь настолько, насколько научился объезжать свое внутреннее животное. Интерес представляет только то, что поднимается над природностью, развивает или отрицает ее. Сегодняшняя Россия — идеально природная страна; и дело, конечно, не только в цикличности ее истории, что вообще характерно для архаических, близких к природе социумов, но и в абсолютизации тех признаков, какие вообще не стоит брать в

расчет в серьезном разговоре.

А какие остались?

Религия? Но ей были нанесены в России два страшных удара — петровский раскол и ленинское истребление; третьим, не менее страшным испытанием, хоть и растянутым во времени, было огосударствливание Церкви — после такой компрометации спасти ее непросто. Годы запрета и катакомбности вроде бы помогли сформировать поколение искренних неопитов — но тут грянуло очередное Верховное Насаждение, и к этому искушению Церковь в очередной раз оказалась не готова. Из церковных публицистов и мыслителей, думаю, это как следует понимает один о. Андрей Кураев, но он, сколько могу заметить, пока в меньшинстве.

Мораль? Но у разных сословий в России всегда была разная мораль, и уничтожение этих сословных барьеров, сиречь конвергенция, так никогда и не доходило до конца. Никакого общего нравственного кодекса не было даже во времена «небывалого единения» — коммунисты завели себе отдельный моральный кодекс и нарушали его почем зря, а интеллигенция считала недопустимым хоть в чем-то совпадать с властью и к официальной морали относилась с демонстративным презрением (почему блатная мораль и проникла так широко в диссидентскую среду; впрочем, на это были и исторические причины — диссидентов усердно сажали, а блатные охотно пользовались диссидентской фразеологией ради легитимизации).

Идеология? Тут, казалось бы, наметился некий прогресс — потому что большевики предложили России идею надконфессиональную и, если угодно, сверхклассовую (после уничтожения РАППа идея пролетарского происхождения как высшей доблести окончательно перестала быть актуальной). Мы строим новое общество, в котором человек труда будет хозяином всего. Очень славно, и на этом пути были достигнуты определенные результаты, — но такая идея могла прохилиять в любом обществе, кроме российского. Российское было до такой степени расколото, что утопический проект нового общества превратился в очередной предлог для самоистребления — и только Великая Отечественная война позволила этому проекту продержаться еще лет тридцать; к началу сороковых откровенное разочарование в нем было уже нескрываемо. Не думаю, что массовые репрессии были заложены уже в природе этой утопии — причина, скорей, в природе страны, в истории которой массовыми репрессиями оборачивается любая, хотя бы и самая безобидная идея; в стране, где нет единой нации, то есть общих для всех незыблемых правил, никакая идеология не обеспечит

единства и прогресса.

Культура? Но с ней-то расправились наиболее безжалостно. Да, долгое время именно любовь к русской (впоследствии советской, мультинациональной) культуре была единственным обручем, скрепляющим нашу бочку. Надо было очень постараться, чтобы одна из культурнейших стран мира — этой культурности не мешал даже идеологический гнет, с которым научились изобретательно взаимодействовать, — за двадцать лет растеряла весь свой багаж, включая школьное образование. То, что происходит сегодня с отечественной культурой, больше всего напоминает жуткую сцену из «Призрака грядущего» Артура Кестлера — где люди после ядерного взрыва передвигаются на карачках и общаются стонами. Есть, конечно, робкие попытки вспомнить слова и подняться с четверенек — но они, прямо скажем, не поощряются.

Остается лишь самая примитивная, наиболее архаичная самоидентификация — родовая. Как уничтоженная или выжитая из страны наука уже не может обеспечить никакого промышленного рывка — так и систематически уничтожаемая культура и общественная мысль не могут уже предложить населению никакой системы взглядов; в результате страна качает нефть — и внутренне вполне готова к тому, чтобы так же неэкономно распорядиться вторым своим стратегическим запасом, а именно кровью. Кровь и нефть — два главных резерва нынешней России; и прогноз получается мрачный, поскольку этот резерв действительно последний. После него начать с нуля уже не получится.

Антигрузинская истерия подогревается чрезвычайно искусно. Нельзя не заметить, как обрадовались русские националисты самого погромного толка: они были предельно искренни, поздравляя Владимира Путина с днем рождения и желая ему дальнейших успехов. В своей поздней риторике Путин практически легитимизировал ДПНИ, а это сила куда более опасная, чем «Родина», — которую выпустили из бутылки и попытались загнать обратно. С ДПНИ это уже не получится. Разумеется, Кондопога и нынешняя грузинофобия — лишь симптомы общего российского неблагополучия: по прямой подсказке властей и их новых друзей народ обращает ненависть против того противника, который ближе. Стоит ли напоминать, что от кишиневского погрома до первой русской революции прошло всего полтора года? Но пока этот прием срабатывает, и есть надежда, что сработает следующий: проведение предвыборной кампании 2008 года под лозунгом «Мы спасаем вас от погромов». Преемник Владимира Путина будет единогласно

поддержан интеллигенцией — «все-таки лучше они, чем эти» — и получит симпатии погромщиков, ибо успеет подмигнуть им: «Мы спасаем от погромов не потому, что являемся их противниками, а потому, что предпочитаем громить сами, цивилизованно. Не огорчайтесь, вам тоже достанется — разумеется, если вы будете действовать под нашей крышей».

Естественно, этот преемник не предложит никакой другой идеологии, кроме все той же имманентности. Введение праздника 4 ноября вместо 7 ноября — шаг назад все по той же «подвижной лестнице Ламарка», в сторону расчеловечивания: 7 ноября было все-таки идеологическим праздником, 4-е — уже только национальным. В России практически не осталось русских, которые не считали бы ксенофобию главным основанием для национальной идентификации; значительная часть русской интеллигенции, пряча глаза, повторяет: «Как хотите, но эти грузины... эти кавказцы... все-таки они переходят всякие границы!» Что до евреев, которые бы пытались заглушить в себе голос крови и осудить хоть одну инициативу Запада, направленную на окончательную дискредитацию их неисторической Родины, — таких, кажется, нет вообще: национальность стала предопределять идеологию со стопроцентной императивностью. Обнаруживая в ЖЖ персонаж с израильским или грузинским флажком на юзерпике, вы можете безошибочно прогнозировать его литературные вкусы, кулинарные пристрастия и отношение к благотворительности. Эта предсказуемость невыносима, как все имманентное, — и именно поэтому Россия стала так невыносимо скучна. Нет ничего зануднее паттернов — а таковы сегодня почти все, кто тут еще остался. Мерзостны авторы, злорадствующие по поводу гибели Политковской или настаивающие на немедленном отлове всех московских грузин, — но интеллигенция, в знак протеста устремляющаяся в грузинские рестораны, едва ли выглядит предпочтительнее. Впрочем, интеллигенции, не случайно так любящей кухни, не впервой совмещать прием пищи с протестом — точно так же, как и погромным идеологам не впервой сочетать проповедь любви с призывом к массовому убийству.

Долгая и неуклонная деградация российского социума подходит к концу. Россия докатилась до недр — то есть опустилась на ту последнюю глубину, за которой только раскаленная магма. Недра эти будут вычерпываться в ближайшие лет пятьдесят, и человеческого ресурса должно хватить примерно на столько же лет борьбы всех со всеми. Трудно понять, что будет здесь после. Очень может быть, что это будет просто очень большая яма, призванная живо напоминать прочему человечеству

о бесперспективности всякой имманентности.

Впрочем, не исключено, что в последние лет десять эта поредевшая биомасса будет делиться уже по половому признаку. Он, кажется, имманентней.

2006 год

Клонинг и вышвыринг

О движении «буккроссинг» принято говорить с умилением, почти с нежностью. Прочел книгу — забудь ее где-нибудь в общественном месте, в кафе, на скамейке. Подари товарищу. Основал это дело Рон Хорнбекер, в России оно теперь в большой моде и называется книговоротом. Считается, что именно такое обращение с книгами нормально: прочел — передал. Я никогда не понимал этого. Для меня хорошая книга всегда была живым существом. Как можно забыть на скамейке домашнего любимца? Щедрейший Волошин запрещал выносить книги из своей библиотеки, неохотно выпускал из рук, мог из-за книги насмерть поссориться с приятелем. Дело не в жадности. Просто это были другие книги.

Буккроссинг не случайно появился именно сегодня. В последнее время я регулярно чищу свою невеликую квартиру от книг — и замечаю поразительную вещь: почти всегда выбрасываются (или передаются желающим) книги, изданные в последние пять-шесть лет. Остаются на полках те, которые изданы в 1950–1990-х (до 1995-го) годах. Больше того: заходя в любимый Дом книги — на Тверской ли, на Новом ли Арбате, — я все чаще выхожу оттуда без покупки. А посещая расположенную напротив «Огонька», на Лесной, лавочку «Родная книга», где как раз и продаются старые советские собрания сочинений или «макулатурные» издания, я почти всегда выцепляю оттуда что-нибудь полезное, и это полезное достойно занимает место на полке, вытесняя оттуда очередное новейшее произведение.

О подобной ситуации рассказывали мне и в Штатах. Когда я изъявил желание посетить книжный, приятель-профессор отвел меня в букинистический: «Все, что надо, здесь есть, а новое покупать бессмысленно». Это не ретроградство и не ренегатство, а результат, к которому пришла культура в результате руководства менеджеров и маркетологов. В какой-то момент литературой, кинематографом и музыкой стали во всем мире заправлять так называемые эффективные руководители. В результате появились книги, которые нельзя перечитывать, фильмы, которые не хочется смотреть, и музыка, которую не слушают, а включают в машине, чтобы не заснуть за рулем.

Никакого постмодернистского кризиса культуры не произошло, точно так же, как не случилось и конца истории. Писать не стали хуже — просто из культуры сделали индустрию, хотя руководить культурой теми же методами, какими руководят промышленностью, невозможно в принципе. Промышленность

подхватывает чужие ноу-хау и начинает их тиражировать, но в культуре подобное тиражирование смерти подобно. Здесь нельзя повторять успех — надо искать другие его механизмы. Художник это понимает. Издатель — не понимает.

Издатель убежден, что художника надо высосать, выжать, как лимон, пока он не начнет повторять себя и не выродится. Так же раскручивают исполнителя, в котором хоть что-то есть. Современная культура — типичное нашествие клонов. Нашумевший роман Сергея Минаева «Duxless» — не что иное, как клон романа Владимира Спектра «Face-control», с совпадениями дословными, бросающимися в глаза. Свои клоны есть и у Оксаны Робски, и у Ильи Стогова (успевшего побыть клоном самого себя), и у Евгения Гришковца (давно перешедшего на клонирование собственных монологов).

Современная книга рассчитана на одноразовое прочтение — другого попросту не нужно. Содержание усваивается за один раз. Любой автор, предлагающий что-то новое и неоднозначное, — по определению нерыночен, ибо издатель рискует, связываясь с ним. Вот почему в нашей литературе так мало новых имен — а когда они появляются, пробившись через тройной кордон, их немедленно начинают раскручивать так, что от новизны в считанные минуты ничего не остается. Пока против подобной раскрутки устоял один Алексей Иванов, но у него сильный пермский характер; повезло и Пелевину — но он начал печататься в конце восьмидесятых, когда рыночные механизмы еще не были всевластны.

В сегодняшней культуре качественное и оригинальное произведение может появиться не благодаря, а лишь вопреки издателю и продюсеру. Продюсер берется спонсировать только то, что уже опробовано другими, — отсюда неотличимые сериалы, клон «9 роты» под названием «Прорыв» и бесчисленные клоны «Ментов» под разными титулами. Издатель требует вариаций на тему «Кода да Винчи», хотя некондиционен был уже и первый образец жанра, насквозь вторичный по отношению к американской прозе семидесятых. С современной книгой ничего, кроме буккроссинга, не сделаешь: ее хочется забыть в публичном месте еще до того, как откроешь.

Заглянем в список бестселлеров любого московского магазина — виртуального или реального: мы обнаружим там все тот же «Duxless», дюжину неотличимых пособий о том, как похудеть и управлять людьми, книги Вебера вроде «Империи ангелов» (клон всей мировой духовидческой литературы в диапазоне от Сведенборга до Даниила Андреева, плюс интонации и приемы Ричарда Баха), Акунина с насквозь пародийным и никак

не пригодным для перечитывания «ФМ-ом», Уэльбека с очередной уэльбековской вариацией на две уэльбековских вечных темы — желание трахнуть и кризис Европы...

Самоповтор сделался главной писательской стратегией, повтор тем и жанров — главным принципом издателей. Фильмы все неотличимее друг от друга: «Питер FM» столь откровенно перепевает «Прогулку», что удивляешься, право, нерасторопности Алексея Учителя: к чему подавать в суд на Первый канал, который незаконно показал «Космос», когда у тебя из-под носа внаглую тырят твою предыдущую картину? И касается это не только отечественного кинематографа: американский и европейский мейнстрим тоже перестал радовать находками. Точное слово, смешная реплика, неожиданная мысль только и прорвутся на экран в очередном «Очень страшном кино», пародирующем все подряд.

Я выбрасываю книги без сожаления, с облегчением, хотя еще два года назад выкинуть книгу у меня не поднялась бы рука — все-таки она зачем-нибудь нужна, пригодится, люди старались, в конце концов... Книга утратила всякую сакральность, превратившись в продукт, и в этом качестве уже неинтересна даже автору. Добавим к этому российскую свободу книгоиздания, за которую нельзя не держаться — как-никак последнее завоевание гласности; можно издаться за свой счет, крикнуть о том, о чем не крикнешь ни в газете, ни по телевизору... Но что-то приток гениев из Интернета заставляет себя ждать: там клонируют все ту же бумажную или толстожурнальную прозу, все те же стихи образца семидесятнического котельного модернизма, а изобретением собственных приемов и тем отнюдь не озабочены. Потому что нужен успех, а успех возможен только по чужим лекалам. Так им, авторам, кажется. Выступая в функции издателя, каждый автор, доселе недовольный издательским произволом, наступает на все чужие грабли — раскручивая раскрученное, повторяя вторичное, переваривая съеденное.

Я не утверждаю, что в советское время не издавали халтуры. Издавали, и девяносто процентов тогдашних книг — от семейных саг П. Проскурина до комсомольских методичек — давно и заслуженно отправились в макулатуру. (Правда, в Проскурине хоть дух времени отразился, его книги имеют теперь историческую ценность, а в книгах Робски и этого нет — приметы времени клишированы, почерпнуты из газет и телевизора; графоманить тоже надо уметь.) Просто наряду с этой халтурой к читателю просачивалось и нечто живое — потому что в идеологическом руководстве культурой всегда есть щели. Они насмерть законопачены только в рыночные времена — потому что

идеолога можно обмануть, а кассовый аппарат не обманешь. Он вообще думать не умеет.

Не надо обманываться человеческой, трогательной внешностью буккроссинга. Это благотворительность по принципу «На тебе, Боже, что мне негоже», или еще прозаичнее — «Лучше в вас, чем в таз». Книга, которую хочется забыть на скамейке после однократного прочтения, — плохая книга. Такие одноразовые книги формируют одноразовых людей — идеально рентабельных, удобных для зарабатывания денег, но неприемлемых в личном общении: у них нет правил, с ними не о чем говорить. Скоро их тоже будут забывать на скамейке. Своего рода флешмоб: обмен мужьями. Он мне все уже рассказал, больше ничего не знает. Возьмите кто-нибудь, муж приличный, в хорошем состоянии, нормального питания, глаза голубые. Жена тоже ничего себе. Заберите кто-нибудь, а то комнату загромождает. Не пропадать же. Готовит опять-таки. Правда, всего два блюда, но уж в них вкладывает всю душу.

Это нормальные отношения новых людей, воспитанных новой культурой. Они годятся один раз попить кофе, один раз переспать, один раз съездить в Египет или Анталию. Но жить с ними нельзя. Что мы, собственно, уже и наблюдаем.

2006 год

Представьте себе человека, у которого на чердаке стоит заветный сундук. Он старается его не открывать, чтобы не потревожить хранящиеся там драгоценности, но пребывает в твердой уверенности, что этот запас, еще от предков, в его полном распоряжении. При крайней нужде его всегда можно достать: смотрите, что у меня есть! В один прекрасный день он хочет все-таки посмотреть на свои сокровища — «Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть...» — и отпирает. И вылетает оттуда белое облако моли, а на дне лежит какой-то бурый порошок, оставшийся от шубы. И все.

Нечто подобное испытывает сейчас россиянин, желающий обратиться к великому наследию. Нет, что говорить, отчасти мы сами виноваты! Это ведь мы сами держали классику в советском сундуке, запрещали кощунственное осовременивание — и в результате жемчуг, который не носят, погас без соприкосновения с живым телом. Остался набор штампов: письмо Онегина к Татьяне, небо Аустерлица, «Не говори красиво», «Что такое обломовщина» и «Почему люди не летают». Достаточно почитать школьные и абитуриентские сочинения этого года, чтобы окончательно увериться — русская классика детям чужда, они не знают контекста, мыслят механистически, без понимания и соучастия повторяют бессмыслицу: «Настоящий нигилист не верит никому, а только лягушкам», «Почувствовав, что любит Одинцову, Базаров немедленно убежал в лес», «Князь Андрей поднял голову и в облаках увидел Наполеона», «Князь Андрей мечтал о своем кулоне, и французы отдали ему его» (напоминаю, что князь Андрей мечтал о своем Тулоне, а отняли у него ладанку), «Только после вступления французской армии в Москву Наташа Ростова ощутила себя настоящей русской женщиной», «Внимательные глаза доктора Чехова изучали больных, а умелые руки между тем делали свое дело».

Однако, если бы дело ограничивалось невеждами и лентяями, плохим преподаванием и низкими учительскими зарплатами, не стоило бы и огород городить. Проблема шире: классика не нужна детям потому, что с ней перестали советоваться и взрослые. Скажите, когда вы в последний раз открывали «Войну и мир», желая найти ответы на самые болезненные свои вопросы? Входит ли в ваш активный читательский обиход «Шинель», перечитываете ли вы «Мертвые души», читали ли вообще их второй том? Кого представляете себе при слове «Идиот» — Митрофановича или Яковлева? Все помнят, что Раскольников убил

старушку, но с какой стати он это сделал?

Пришло время сказать о самом горьком. Я ведь в самом деле ничего не знаю лучше, чем русская классика, чем наша усадебная проза, наши тургеневские девушки и толстовские юноши, проклятые вопросы и рефлексиирующие интеллигенты. Но у литературы есть свой срок употребления. В какой-то момент она становится историей. Чосер — крупный писатель, Рабле — гений, Сервантес — лучший испанский прозаик, но современные европейцы не у них ищут ответы и не их читают в поезде. Живее всех живых оказался Шекспир — процентов десять его огромного наследия, в котором есть и «Троил и Крессида», и «Тимон Афинский», и «Кориолан»... Часто ли мы видим их на афише? Самая великая литература остается в своем времени; приходят новые времена, для описания которых она уже не работает. Пьер Безухов — грандиозный тип, но такие типы нынче не появляются. А социальная проблематика «Нови», «Тысячи душ» и «Взбаламученного моря» безнадежно отошла в прошлое — по множеству причин.

Во-первых, потому, что скомпрометированы революционные идеи. Во-вторых, потому, что левые и правые, либералы и консерваторы, архаисты и новаторы в конце концов обязательно уравниваются и начинают стоять друг друга. В-третьих, убеждения в России вообще не главное, ибо от них никогда ничего не зависит. Многократно увеличился темп жизни. Ни у кого нет времени ни на долгие ухаживания, ни на многомесячные метания между Обломовым и Штольцем. Сами типажи кардинально сменились — новые обстоятельства порождают нового героя. Ушла почти вся советская проблематика — советская литература была все-таки прямой наследницей русской; появилось что-то новое, но осмыслить его мы не готовы. Грубо говоря, понятный ньютоновский мир в очередной раз сменился эйнштейновским, но эта перемена сопровождалась массовым (и, возможно, неизбежным) оглушением населения. В результате все понимают, что началось нечто новое, но осмыслить и тем более изобразить это новое решительно никто не в состоянии.

Нам предстоит долго и трудно привыкать к тому, что народолюбец не обязательно хорош, чиновник не всегда омерзителен, борец за права не всегда прав. Еще трудней будет привыкнуть к тому, что любовь — не главное содержание жизни и что вообще есть вещи поважнее жизни. Наконец, нам надо будет заново осмысливать христианство, которое в литературе XIX века трактовалось весьма поверхностно или принципиально полемично, как у Толстого. А тем, кто христианства не принимает или в Бога не верит, придется искать ему замену — то есть с нуля

созидать для себя смысл. Тут уж виноваты не мы, а темп жизни и ее новые реалии. Пора привыкать к тому, что русская классика имеет сегодня сугубо историческую ценность. По ней еще можно написать сочинение, хотя боюсь, что не нужно: я предпочел бы почитать мысли детей на вольную тему. Но обратиться к ней в поисках ответов на все вопросы — увы.

К сожалению, в современной России не наблюдается ровно никаких предпосылок к тому, чтобы русская классика чем-нибудь заменилась. Новых писателей серьезного масштаба не появляется — именно потому, что создатели эпоей подражают Толстому, а интеллигентные новеллисты ориентируются на Чехова или Набокова. Новому большому писателю просто неоткуда взяться — у него нет времени писать. Литература никого не кормит, она превратилась в часть индустрии развлечений. Сегодня писателей кормят левые заработки, и в таких условиях эпоса не напишешь. Да и бессмысленно писать эпос для людей, которые после очередного социального взрыва еще не научились толком читать. Мы сегодня так же глупы, как глупы были люди двадцатых в сравнении с пресыщенными гурманами Серебряного века. Нам предстоит долго нагуливать ум и опыт, чтобы через десять-двадцать лет научиться рассказывать о дне сегодняшнем и думать о нем вне прежних навязанных стереотипов.

А сериалы?! — воскликнете вы. А беспрецедентный успех «Идиота»? На это я напому вам о беспрецедентном провале «Дела о мертвых душах» с его попыткой как раз «творчески осмыслить» наследие Гоголя. «Идиота» смотрели не потому, что это Достоевский, а потому, что это — при всех достоинствах картины — Достоевский выхолощенный, сиропный, мелодраматический. Такой фильм приемлем, когда кино делает первые шаги после долгого паралича, но категорически не смотрится, когда критерий мало-мальски повышается. Вот почему «Мастер и Маргарита» того же Владимира Бортко далеко не имел прежнего успеха. А «Доктора Живаго» — фильм, в котором Прошкин поступился буквой романа, но сохранил его дух, — вообще посмотрели без энтузиазма: сильную, умную, точную картину зритель бойкотировал. И причина не только в том, что зритель стал жертвой деградации — во время революций это норма. Причина еще и в том, что роман принадлежит к архаической традиции, что русская классика написана на «мертвом языке». Он был прекрасен, этот язык. Но сегодняшнему человеку он непонятен.

Я не знаю, для кого пишу все это. Наверное, человеку, который беспрерывно оглядывается на свой «сундук» в надежде вытащить оттуда золотой запас, полезно знать, что там давно

труха. И надо начинать по крупице накапливать новый. А когда он накопится — не держать его в сундуке, не прятать от глаз. А носить, потому что традиция жива, когда с ней спорят, а не когда ею пугают супостатов и мучают школьников.

2007 год

Пропавшая грамота

Думая о русской орфографии, прежде всего преходит мысль о том что она усложнена. Это во многом прослабило рускую государственность. Читатель слишком много времени тратит на чтение книг и изучение правил, а так же заучивание стихов, а если-бы он посвятил это время совсем не такому бесполезному делу, то мы давно бы уже жили как люди.

Ведь все понятно, правда? Даже веселей так читать.

Реформа русской орфографии, о необходимости которой так много говорили сначала при Хрущеве, а потом в девяностые, совершилась. При этом законодательно она пока никак не оформлена. Орфография начинает постепенно упраздняться сама собою. Она размывается. Ее уже почти не видно.

Любая газета пестрит ошибками на «тся-ться», «н-нн», на слитное и раздельное написание «не» с прилагательными и наречиями. Присоединение деепричастного оборота к безличным конструкциям («Глядя на эту картину, думается, что...») давно сделалось нормой. С деепричастиями вообще творится нечто катастрофическое: в Интернете полно примеров похлеще, чем хрестоматийное «Подъезжая к сией станции и глядя на природу, у меня слетела шляпа». «Наблюдая за прыжком, у вас возникнет вопрос» — это бы ладно, это спортивные комментаторы, которых называют прапорщиками телевидения. Но ведь и Николай Николаев говаривал: «Посулив ему пятьдесят тысяч, договоренность была достигнута». Деепричастный оборот стал вырастать откуда угодно — вообразите хвост, который вдруг свисает не с коровьей задницы, а, допустим, с носа.

С пунктуацией творится что-то невообразимое: обособляются даже такие невинные наречия, как «вчера». «Тем не менее» или «вообще» — это уж обязательно. Любое обстоятельство образа действия уже рассматривается как вводное слово. Иногда обособляют для страховки даже причастный оборот, стоящий перед определяемым словом. Эта пунктуационная избыточность — черта нового времени, позднепутинского: при Ельцине запятые игнорировали вообще, свобода! Теперь их ставят везде, где надо и не надо: страхуются от гнева незримого начальства. «Выходящая по вторникам, передача имеет традиционно высокий рейтинг». Люди помнят, что препозитивный причастный оборот иногда обособляется — когда имеет значение причинности, объясняет предложение: «Многое повидавший, постранствовавший, передумавший, поэт не питал особенных иллюзий насчет

Отечества». Но здесь случай не тот — здесь стараются наставить как можно больше запятых, чтобы уж никто не подкопался. Это же касается страшной русской коллизии «н-нн»: в порядке перестраховки предпочитают во всех случаях удваивать это несчастное «н» в страдательных и даже кратких причастиях. Раненный. Кованный. Без приставки, без зависимого слова — неважно: на всякий пожарный. В нескольких сочинениях мне уже встретилось «воспитанн» и «прочитанн». И так во всем.

Орфография, ситуация с грамотностью в обществе — лучшее зеркало истинного состояния страны. Еще Достоевский предсказывал, что с упразднением ятей и еров все пойдет к черту — об этом, кстати, он говорит в романе Алданова «Истоки», появляясь там единственный раз в качестве героя. С упрощения русской орфографии началась послереволюционная культурная деградация; революции и оттепели вообще часто приносят с собой упрощения — и потому при Хрущеве мы чуть не получили написание «заец», максимально приближенное к фонетическому. Во времена закрепощений орфография соблюдается особенно строго, за ошибку в газете снимают с работы, но следят за ее соблюдением люди глубоко некультурные, репрессивного склада — поэтому усвоение законов языка носит характер поверхностный и насильственный. Сегодня у нас идет процесс смешанный: с одной стороны, закрепощение — отсюда бесконечные перестраховки. Получение любой справки, пропуска или интервью обрastaет тысячей ненужных запятых — как и официальная речь. С другой стороны, предыдущее двадцатилетие расслабухи и триумфального невежества привело к тому, что культурная преемственность утрачена. Дети продолжают изучать в школах русскую литературу, но уже не понимают, зачем это надо. Им успели внушить, что знания — не залог совершенствования личности, но способ получить диплом или откосить от армии; а для жизни будет лучше, если ты быстрее забудешь все, чему учился. Поэтому в газетах все чаще встречаются переносы вроде «вс-кинулс» или «окончани-я».

«Хлестаков заводит шаржни с женой городничего». «Из-под стола вылезла помесь дворянки с таксой, спавшая на стручках». «Коробочка разводит птиц и разных домашних утварей». «Население духовно деградируется». «Лирический герой Есенина вместе со своим автором превращается в рьяного фаната революции». «В высших кругах Петербурга царят беззаконие и беспредел» (о «Петербургских повестях» Гоголя, не подумайте плохого). «Фирс не мыслит себя вне барина». «Татьяна для окружающих как открытая дверь, в которую может войти каждый».

Бог с ними, с двусмысленностями и эротическими коннотациями. Дети путают утварей с тварями, шашни с шаржнями, понятия не имеют о том, что такое стружки и чем дворянка отличается от дворняжки. Забвение правил — отнюдь не самое страшное: страшен распад языка, в котором половина слов уже незнакома, а другая — помесь жаргонизмов с англицизмами.

Я провел как-то опрос среди студентов — попросил прочитать хоть одно стихотворение наизусть. Некоторые помнили Хармса. Девочки начинали декламировать «Письмо Татьяны» и сбивались на десятой строчке. Кое-кто пытался хитрить, читая в качестве стихотворений тексты песен БГ и «Умытурман», но я решительно пресек жульничество. Почти все помнят по пять-шесть строчек из школьной программы, но это именно обрывки, обмылки, плавающие в вязкой среде современного подросткового сознания. Та же ситуация с орфографическими правилами: все помнят, что «не» с прилагательными пишется вместе в каких-то определенных случаях, но в каких — толком не помнит уже никто. А уж классификацию союзов вспоминают только самые продвинутые, да и перечислить части речи, общим числом десять, могут далеко не все. Почему-то обязательно забывают местоимение и междометие, да вдобавок путают их.

Чтобы разобраться, зачем нужна орфография, я написал когда-то целую книгу, но одно дело — разбираться в перипетиях восемнадцатого года, а другое — сориентироваться в новых реалиях. Я до сих пор не уверен, что детям нужно учиться грамоте. Я боюсь посягать на их время и умственную энергию. Я вижу вокруг явное и катастрофическое падение грамотности, но не знаю, хорошо это или плохо. Для меня — плохо, но, может, это потому, что я привык уважать себя за грамотность, а тут вдруг уважать себя стало не за что? Тоже мне добродетель.

В поисках ответа я добрался до любимой кафедры практической стилистики русского языка на журфаке. Когда-то именно преподаватели с этой кафедры были для нас на родном факультете главной отдушиной: русскому языку они учили весело и ненавязчиво, цитаты для примеров подбирали лихие, полужапретные, а всеобщий кумир Дитмар Эльяшевич Розенталь, знавший русский язык лучше всех на свете, говорил на своих лекциях просто: «Если не знаете, как пишется — „здесь“ или „сдесь“, — пишите „тут“. Если, конечно, не додумаетесь написать „туд“».

И на любимой кафедре, где и до сих пор работают мои педагоги, мне объяснили следующее.

Пункт первый. Грамотность в обществе, если судить по

сочинениям и по уровню студенческих работ, не упала, а перераспределилась. Прежде более-менее грамотна была примерно половина населения, а то и две трети. Сегодня совершенно неграмотны процентов семьдесят, а как следует умеют писать и говорить — процентов тридцать. То есть вместо среднего уровня появилась резкая поляризация — как, впрочем, и в материальной сфере. «Средний класс» в смысле орфографическом отсутствует так же, как и в имущественном. Причем самые безграмотные дети, как свидетельствуют репетиторы, — дети высокопоставленных и просто богатых родителей: их сведения о русской реальности стремятся к нулю, поскольку большую часть времени они проводят либо за границей, либо за заборами элитных коттеджных поселков. А не зная жизни своей страны, нельзя знать и ее язык: половина понятий остается для тебя абстракцией. Стручки со стружками перепутал именно сын крупного олигарха. Он никогда не имел дела со стружками.

Пункт второй. Никакой врожденной грамотности не существует, это миф, а сама по себе грамотность формируется тремя факторами. Первый — зрительная память (человек много читает и запоминает образ слова). Второй — механическая память (рука запоминает, как слово пишется). И третий — знание правил, но это уж для сложных случаев, когда глаз и рука спорят или сомневаются. У людей быстроумных все виды памяти срабатывают механически, они не отдают себе отчета в этом и полагают, что правильно пишут с рождения. Тогда как наследуется только хорошая зрительная память (механическая — приобретается): вот почему так грамотны учительские дети... и дети разведчиков.

Так вот, вторая и главная составляющая — механическая память руки — сегодня решительно потеснена: компьютер, которым большинство детей владеет с детства, не предполагает начертания слова. Ударяя по клавишам, школьник не запомнит, как пишется слово «престижиджитатор». Только долго и тщательно выводя его рукой, вы запомните все изгибы этих «е» и «и», «т» и «д». Кроме того, компьютер сам хорошо умеет находить орфографические ошибки — в большинстве текстовых редакторов эта функция осуществляется автоматически. Пользователю необязательно задумываться — в результате об истинном уровне собеседника можно судить только по его электронным письмам. Один из моих сравнительно молодых начальников умудрялся писать довольно грамотные статьи, но, заказывая мне тексты, присылал почту с такими ляпами, что я поначалу принимал это за утонченную шутку.

Пункт третий. «Безграмотность — плата за свободу», как сформулировала однажды Евгения Николаевна Вигилянская, автор лучшего на моей памяти учебника русского языка для абитуриентов. Раньше между автором и читателем стояла сплоченная армия научных редакторов, консультантов и корректоров. Иногда эти персонажи вторгались не в свою область, корежили стиль, лезли в авторское мировоззрение. Но когда они занимались своим делом — польза от них была огромная и несомненная. Сегодняшняя редакция чаще всего не может себе позволить содержать корректора. Все мы достаточно натерпелись от дотошности службы проверки, все пикировались с корректурой — но оказаться без присмотра этой придирчивой публики оказалось еще страшней, чем внезапно лишиться патронажа советской власти.

Даже в речениях и публикациях руководителей государства периодически встречаются конструкции «предпринять меры» (тогда как их надо принимать), «озвучить предложения» (тогда как озвучивают фильм, а предложения обнародуют или излагают вслух), «обсуждали о том, что» (ну, здесь понятно). О всяких «составляет из себя», «выливается на общество» и «тех, кому зависят» я уж и не говорю: с управлением в русском языке вообще полная беда. И не только в языке, как объяснили мне все на той же кафедре. Кризис управления в равной степени коснулся языка страны и ее государственной системы: служебные части речи, как чиновники, стоят не на своих местах. Их тоже слишком много, они бюрократически избыточны: «понимать о том», «обсуждать об этом», «период, о котором вы указываете», «означает о том», «заметил о том» — это все из речи первых лиц государства. Есть и еще одна проблема: в русском языке существуют так называемые глаголы сильного управления, обязательно требующие дополнения. В речи большинства государственных людей или бизнесменов они постоянно употребляются без существительных: мы договоримся (о чем?!), проплатим (что?), разберемся (в чем?). Мы озвучим, разулим, выскажем. Что — не уточняется. Потому что все это — суэта вокруг пустоты, утрата объекта, конец материи. Власть, обслуживающая сама себя. И орфография — истинное зеркало ее компетентности и тайная проговорка о задачах: по любимому толстовскому выражению, *делать ничего*. Это, подчеркивал Толстой, гораздо хуже, чем ничего не делать.

Хорошо, скажет иной читатель. А как же — «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю»? Как же — авторская речь, которую не рекомендуется приглаживать и зализывать? Как же авторские знаки препинания

и особенности словоупотребления? Разумеется, все это есть; но, во-первых, мы не о художественных текстах сейчас говорим. А во-вторых, Пушкин, выходит, должен был не любить собственную русскую речь — идеально правильную, с минимумом галлицизмов, с безупречно точным словоупотреблением.

Орфография не то чтобы помогает нам понимать друг друга — в конце концов, безграмотный текст всегда можно понять, и даже упразднение «и десятеричного» не привело к тому, что мирь как отсутствие войны и мирь как Вселенная перепутались в русском сознании. Орфография дает нам представление об уровне собеседника, о его (и нашей общей) способности воспринимать тонкие и сложные материи.

У Кубрика в «Космической Одиссее» есть потрясающий эпизод — постепенное отключение компьютера. Огромная машина теряет рассудок, повторяется, вырождается на глазах — это отключается один блок памяти за другим. Нечто подобное происходит и с обществом, освобождающимся от условностей, поскольку только условности и имеют смысл. Сначала, как показывает практика, отмирают самые тонкие функции — правописание «не» с прилагательными и причастиями: например, слово «вовсе» — в конструкциях типа «вовсе не законченная работа» предполагает раздельное написание, но это правило игнорируется почти всеми. Это совсем не умышленная, вовсе не преднамеренная деградация — просто так получается... Следующей жертвой оказывается несчастное удвоенное «н» — оно зависит от приставки и зависимого слова. Все читанные книги и преподанные уроки не помогают. Приходит черед пунктуации — тут первым сдается двоеточие после обобщающего слова при однородных членах. Все эти однородные члены — прилагательные, существительные, причастия — начинают перечисляться без двоеточий и тире, просто через запятую. Наконец, полную деградацию обозначает путаница между «тс» и «тьс». Впрочем, о чем я? Полная деградация — это когда забывают о необходимости проверять безударную гласную и пишут что-нибудь вроде «разгарающийся пожар» — это я взял из так называемого блога, где очевидец описывает парижские события.

Дело не в том, что наша речь неправильна. Правила устанавливают люди, они же властны их помянуть — грамотность, в конце концов, не закон всемирного тяготения, она не существует объективно. Дело в том, что наша нынешняя речь не предполагает уважения к собеседнику. То есть мы не хотим, чтобы он уважал нас за грамотность. Пусть уважает за что-то другое — за деньги, например, или за умение поставить этого

собеседника на место. Знание орфографии, свободное владение цитатами, связная и богатая речь — перестали быть критериями, по которым оценивается собеседник. И это самое серьезное последствие общественных перемен последнего двадцатилетия. Дело тут, как вы понимаете, не только в нищенской зарплате учителей словесности — а в нищенском статусе словесности как таковой, вне зависимости от госсубсидий.

Впрочем, вышесказанное не универсально. Есть люди, для которых грамотность — по-прежнему нечто вроде пароля, а знание наизусть тысячи стихов — вполне достаточный аргумент, чтобы влюбиться в этого знатока. Только количество этих людей вернулось к уровню, скажем, XVIII века — когда интеллигенция только-только начинала формироваться.

Ну и нормально. Не худший был век. Может, он был еще и получше, чем времена поголовного страха и столь же поголовной грамотности.

2007 год

Расстаться, смеясь

В недавнем интервью киевскому журналисту Геннадий Хазанов сказал, что никакой сатиры сегодня быть не может — цитирую дословно: «Какая сатира, когда у нас, слава богу, пока еще закрыты не все альтернативные средства массовой информации и существует неоднопартийная система?!» Наверное, это черный юмор. Потому что во времена однопартийной системы и безальтернативных СМИ ситуацию точнее всего описывала реприза из рязановского «Гаража»: «Специалист по советской сатире? Удивительная профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет». То есть что-то было, конечно, но это «что-то» бичевало «отдельные недостатки». А настоящие сатирические сочинения вроде «Чонкина» или «Зияющих высот» печатались там, где их мало кто понимал.

Сегодня у нас в смысле сатиры бедненько, но показательная ситуация, при которой Россия, взяв себя в смех, расстается со своим прошлым. Таким прошлым являются сегодня девяностые годы, всевластие прессы, пиар, парламентаризм и отчасти гламур (который тоже, в сущности, порождение либеральной идеологии и олигархической практики). Почему-то Россия, верная марксистской формуле насчет смешливого расставания, никак не хочет усмехнуться, встречаясь со своим будущим. А ведь это было бы куда храбрее и, главное, полезнее.

Как это у нас нет сатиры?! Вон в сентябре выходит фильм «День выборов», который явно станет хитом, зуб даю. Напомню историю проекта: комический театр «Квартет И», как себя называют авторы и артисты, возник в 1993 году. Его основатели — четыре выпускника эстрадного факультета ГИТИСа: одесситы Ростислав Хаит и Леонид Барац, екатеринбуржец Александр Демидов и волгоградец Камиль Ларин. Вследствие явного кризиса российской драматургии (в особенности смешной) им пришлось сочинять пьесы самим, и первый же самостоятельно придуманный спектакль «День радио» имел на разных московских сценах шумный успех. На мой вкус, эта пьеса, пародирующая манеры и нравы отечественного эфэма, грешит некоторой натуужливостью, и настоящей удачей стал уже «День выборов» (2003). Символично, однако, что режиссер Олег Фомин («КГБ в смокинге») экранизировал эту историю лишь сейчас, а издательство «Livebook» оперативно ее тиснуло.

«День выборов» — очень хорошая пьеса. Странно, что она появилась только в 2003-м, — описанные в ней выборные технологии хорошо памятливы всем, кто наблюдал или тем более

организовывал акцию «Голосуй или проиграешь». Это история о том, как коллектив уже знакомого нам «Как бы радио» раскручивает всеми правдами и неправдами кандидата в губернаторы. В раскрутке участвуют казаки, культовые исполнители блатного шансона, чечеточники, технический гений и сильно пьющий поп. Все персонажи узнаваемы, реплики остроумны, эстрадные номера зажигательны. Любопытно лишь, что главный пафос этой пьесы — и фильма, сколько можно судить по отзывам прокатчиков, увидевших его на «Кинотавре», — сводится к полной непригодности демократии для российских условий. Я понимаю, что Барац, Хаит и Сергей Петрейков — авторы идеи обеих пьес — имели в виду не это: они просто хотели вышутить *такую* демократию, вот и все. Но другой ведь у нас не было. Впрочем, раскрутка кандидатов в Штатах — со всеми этими картинными семейными торжествами, фотографиями в армейской форме и тщательным потрошением белья секретарш — мало отличается от описанного в смысле эстетическом. В конце концов, рассказ «Как меня выбирали в губернаторы» сочинен американцем Марком Твеном, и актуальность его не померкла. Проблема в том, что рассказ Твена появился, когда американской демократии ничто не угрожало. Более того, она переживала расцвет. Мы же с нею явно прощаемся, ибо практика назначений вместо избраний как раз и должна, по идее, положить конец «грязным предвыборным технологиям». Проблема в том, что чистых предвыборных технологий не бывает. И в этом смысле фильм «День выборов» — действительно очень своевременное произведение.

В России сегодня можно смеяться практически над всем, что доживает свой век: над свободной прессой, над парламентаризмом, над электоральным безумием с участием попов и попсы... Андрей Кончаловский показал сатирическую комедию «Глянец» — о нравах светской тусовки и о недалекой неофитке, рвущейся туда. Там действует очень смешной руководитель модельного агентства — законченный фрик в исполнении Шифрина — и не менее смешной олигарх в столь же убедительной версии Домогарова. К сожалению, все эти персонажи — тоже люди вчерашнего дня; нет слов, их пошлость заслуживает торжественной порки, но это, по крайней мере, пошлость живая, не агрессивная и отлично себя сознающая. Олигархи были отвратительны не дурными манерами, а претензиями рулить, но в этом качестве, увы, они никаких сатириков не привлекают, потому что это их качество остается востребованным и по сей день, просто рулевые поменялись.

Вместо сочных и колоритных персонажей, каков герой

Домогарова, появились блеклые, стертые, с одинаковыми петербургскими биографиями; изображать их труднее, но они не менее смешны со своей государственнической риторикой и православной озабоченностью. Просто мы их — таких — ни в одном сатирическом фильме не увидим, и это понятно: теперь ведь их время, а наша сатира разделяется с днем вчерашним. Таким же вчерашним днем стал и отечественный гламур с его невыносимой вульгарностью — нет слов, все это мерзко, но все-таки не столь мерзко, как отечественное квасофильство нового разлива, тоже пригладуренное, но куда менее забавное.

Ужасен мир политтехнологов и продажных артистов, одинаково неумоимо чешущих по российской провинции, но мир политтехнологов нового образца ничем не лучше. Он даже страшнее, ибо безличнее. Но почему-то эта публика не вызывает желания над ней посмеяться — или, точнее, это желание вовремя блокируется внутренним цензором. Ведь Глеб Павловский 1999 года — всего лишь политтехнолог, а Глеб Олегович 2007 года — транслятор верховной истины. Он сам над кем хочешь посмеется — вон Максима Кононенко в программу пригласил, тоже сатирик. Но ведь в Кремле потому так и любят читать истории Кононенко, что вся сатира там давно закончилась. У Павловского теперь иронизируют в основном над Каспаровым и Касьяновым, а это уже «падающего толкни».

Вот лучшие комедиографы современного российского театра — тольяттинские братья Дурненковы. Строго говоря, они не сатирики, а абсурдисты вроде Дмитрия Горчева или Евгения Шестакова, чьи монологи и рассказы тоже сатирическими не назовешь: это скорее обэриутская традиция. Но и у Дурненковых случаются обращения к современности вроде прелестной одноактной пьесы «Красная чашка», герои которой, два полярника из рекламы, мучительно пытаются убежать от преследующего их медведя и с ужасом обнаруживают, что медведь — искусственный, как и снег, и все пространство вокруг. Это замечательный пример сражения с еще одной мельницей — телевизионная реклама служит источником шуток для КВН на протяжении последних пятнадцати лет, то есть с момента своего возникновения. Чаще у нас шутят только над милицией — тут отметились уже братья Пресняковы со своим «Изображая жертву». Правда, есть у современной сатиры еще одна беспроектная мишень, регулярно поражаемая и в сатирических вставках программы «Реальная политика». Это, как вы догадались, парламентарии.

В России нет почти ничего смешнее Государственной думы. Любят у нас еще высмеивать продажных журналистов: на этом

поле тоже поиграли все, от «Квартета И» до Сергея Минаева. Никому и в голову не приходит, что проклятые политические «журналиги» (это слово осталось, пожалуй, самым востребованным во всем культурном наследии Александра Градского) все-таки лучше сегодняшних коллег, давно утративших меру как в воспевании общественной стабильности, так и в смаковании разнообразной бытовой мерзости. В 1996 году до такого не доходило: и политика была, и «Программы максимум» еще не было. А уж цинизм политической прессы — ничто в сравнении с полным духлессом нынешних ее разоблачителей, у которых проблемы не только с совестью, но и с грамотностью.

Конечно, случаются и прорывы. Последний роман Виктора Пелевина «Empire V» по всем параметрам подходит под определение «социальная сатира», если бы не одно «но»: когда Пелевин писал «Generation „П“» или «Священную книгу оборотня», он имел дело с вещами определяющими и, простите за неологизм, времяобразующими. Но в последнем по времени романе он ополчился отнюдь не на тех, кого сегодня можно назвать «хозяевами дискурса». О вампиризме и пустотности сегодняшней русской культуры не высказался только ленивый, и это, к сожалению, удар не на магистральном, а на периферийном направлении. Демагоги всех мастей, наловчившиеся манипулировать цитатами из французских и немецких философов, без сомнения, мостили путь нынешним идеологам (и даже используются ими на вторых ролях), но главное зло не в них. Иштар Борисовна, королева вампиров, очень противна, но есть люди пострашнее Иштар Борисовны. Одного из таких персонажей Пелевин подметил первым, но его спецслужебный волк-оборотень, государственный в черной шкуре, получился даже обаятельным, и автор вместе с лисой А Хули временами любитесь им (чего не мог не заметить восторженный рецензент книги, цивилизованный патриот Владимир Бондаренко).

Это любование объектом — вообще характерная деталь современной сатиры: вот, казалось бы, бескомпромиссный «День опричника» Владимира Сорокина. Но ведь и тут не поймешь — это он высмеивает или замороженно любитесь? Сцена, когда все опричники сливаются в акте мужеложства, — явное издевательство, тут все понятно; но в прочих-то эпизодах чувствуется та же замороженность силой и цельностью, которая заставляла раннего Сорокина стилизоваться под соцреализм. Не знаю, чего там было больше — любви или ненависти. И боюсь, что все-таки любви: «День опричника» — ужасно аппетитная книга. И вместо снижения, предполагаемого сатирой, я вижу в

ней, напротив, попытку возвысить потомков Николая Платоновича до героев «Князя Серебряного». У Сорокина новая опричнина менее смешна, чем в действительности. Бывает и так.

Впрочем, дело, конечно, не в зачарованности силой и не в садомазохистских комплексах. Отсутствие сатиры в современной России может иметь еще одну, вполне прозаическую мотивацию: все и так смешно. Какой сатирик доведет до абсурда академика Рамзана Кадырова или перешутит «Дом-2»? В середине восьмидесятых говорили: жить стало интереснее, чем читать. Сегодня жить смешнее, чем смотреть или слушать. Так и выглядит встреча с будущим, сынки.

2007 год

Нужное подчеркнуть

Знаете что, давайте мы с вами договоримся. У меня была когда-то в «Огоньке» статья «Смерть интервью» — о том, что хватит уже повторять банальности и опасно оглядываться, лучше временно упразднить этот жанр, поскольку все, о чем спросят и что ответят, известно заранее. Но читатель, как выяснилось, не согласен. Он хочет слышать голос звезды и судьбоносную мысль политика, он таким образом как бы трогает своих любимцев. Это как взять автограф: предсказуемость как раз хороша. Не ждете же вы, что Плющенко подпишется Шараповой?

А поскольку звезды все яростнее косятся на прессу и говорят в интервью только то, что им разрешит продюсер (это касается и политиков, только продюсер в их случае иначе называется), — давайте мы заранее разработаем универсальные интервью по предлагаемым болванкам и будем подставлять только имена или даты. Это, во-первых, большое облегчение для звезд, особенно для блондинок: не надо больше напрягаться. А для журналистов вообще праздник — не надо больше визировать беседы, не придется просыпаться в час ночи от звонка звезды: «Вы знаете, я тут подумала над формулировкой... Пожалуйста, замените в пятнадцатой строке „волнительный“ на „потрясный“!»

Преимущество настоящей болванки в том, что она одинаково пригодна для интервью политика, политтехнолога, менеджера, звезды, дебютанта, телеведущего или банкира. Главное, чтобы стержневая мысль оставалась неизменной: «Сначала мне было очень плохо, но, поскольку я был очень хорошим, теперь мне стало заслуженно хорошо». Самое ценное, что то же самое могла бы сказать о себе и страна, если бы кто-нибудь додумался ее о чем-нибудь спросить.

ВОПРОС. Я вижу, у вас новая квартира (дом, коттедж, брак, социальный строй).

ОТВЕТ. Да, я все это сделал(а) своими руками. Мой дом (коттедж, брак, страна) — островок моего пространства во враждебном окружении. Я не люблю кричащей роскоши. Я тем более ценю свой нынешний уют (стабильность, стабфонд), что начинал(а) свою жизнь совсем в другой обстановке. У нас была комната в коммунальной квартире (подвал, чердак, инфляция). Нас ненавидели все соседи (одноклассники, соседи, страны НАТО). Я всего раз в неделю обедал(а) (мылся, закусывал). Я никогда не забываю о своем суровом детстве и всегда ему благодарен. Без этой школы жизни я никогда бы не оценил(а) свой нынешний коттедж (брак, дворец, стабфонд). Надеюсь, мой

пример вдохновит тех, у кого сегодня нет коттеджа (дворца, стабфонда). Именно для них я недавно дал(а) благотворительный концерт (спектакль, обед) в двух отделениях (блюдах, блюдах). Я неустанно молюсь за них, ибо без молитвы не начинаю и не заканчиваю ни одной работы (поездки, разборки, аферы, расправы).

ВОПРОС. Вы верите в Бога?

ОТВЕТ. Я не понимаю, как можно не верить в Бога. Мне кажется, Бог поцеловал меня уже при рождении. Вы, может быть, удивитесь, но меня совершенно не волнуют деньги. Я вообще о них не думаю. Я думаю исключительно о Боге. Многие люди любят деньги больше, чем Бога, но я — наоборот. Я люблю общаться со святыми старцами и обращаюсь к хиромантам (магам, гадалкам, астрологам, шаманам, киллерам) исключительно с их благословения. Когда я только начинал(а) свою карьеру, одна богомольная старушка сказала мне: «Далеко пойдешь, если не остановят!» Думая о ней, я всегда вспоминаю слова Лермонтова (Пушкина, Блока, Коэльо, президента): «Ты жива еще, моя старушка?» Еще я очень люблю больных. Я хочу, чтобы их было как можно больше, чтобы все они могли получить от меня деньги (молитвенную помощь, эстетическое удовольствие, нравственные ориентиры). Люблю сироток, особенно из числа стариков и детей. У меня дома постоянно живут от трех до пяти бездомных собак (бедных родственников, кошек, девушек, наложниц, заложниц, вдов, сирот, жен, мужей).

ВОПРОС. Я слышал, вы были очень несчастны в первом браке (сроке, XX веке)?

ОТВЕТ. Мы остались друзьями, но, по правде сказать, бывший муж (жена, продюсер, начальник, глава государства) не очень-то мне подходил. Приходилось готовить (стирать, работать, выбирать, голосовать, думать). Не было времени и денег подумать о новом платье (лифтинге, шопинге, серфинге, импичменте, Боге, душе). Случалось, он устраивал мне даже порку (скандал, майдан, путч). Он изменял мне с соседкой (с Америкой). Но я все простила. Это так по-христиански! Пусть он будет счастлив (здоров, толст), если сможет (выживет, доживет). О своих страданиях я рассказала в книге «Мои страдания» («Страсти по мне»). Зато нынешний мой избранник дал мне все (стабильность, коттедж, удовлетворение, стабфонд). У него огромная квартира (харизма, властная вертикаль) и очень большой автомобиль (газопровод, рейтинг). Он уважает мою творческую индивидуальность (национальную матрицу, самость, самкость, маму, религию, дочь от первого брака). Мы живем душа в душу (тютелька в тютельку, копеечка в копеечку, ноги в руки,

глазки в кучку, все в дом).

ВОПРОС. Как вам удастся поддерживать форму (рейтинг)?

ОТВЕТ. Я ни в чем себе не отказываю. Мне кажется, надо просто научиться любить то, что тебе дал Бог. Какую он тебе дал фигуру (внешность, власть) — ту и люби. Нужно только регулярно молиться (умыться, бегать, плавать, жениться, учиться, учиться и учиться).

ВОПРОС. Что вы любите читать?

ОТВЕТ. Может быть, это покажется немодным, в чем-то даже экстравагантным, но я люблю читать книги. Газеты, журналы. (Пауза.) Брошюры.

ВОПРОС. Как вы относитесь к телесериалам?

ОТВЕТ. Вы знаете, может быть, я выскажу крамольную мысль, но, по-моему — вы можете, конечно, со мной не согласиться, — я рискну предположить, что не бывает плохих фильмов (книг, реформ, властей, женщин). Бывают плохие зрители (читатели, избиратели, мало водки). Всякая работа, если она осуществляется с душой (с любовью к Родине, к матери, к Богу), приносит удовлетворение (гонорар, счастье, коттедж, стабфонд). Некоторые играют ради денег или рейтинга, а я — ради Бога. Иногда мне кажется, что сам Бог смотрит наш сериал (шоу «Звезды в сортире», ток-шоу «Бордель-2», выборы) — и тихо благословляет (смеется, аплодирует, делает нам рейтинг, плачет, уходит).

ВОПРОС. Как вообще получилось, что вы занялись этим делом (служением театру, кинематографу, телевидению, спасением Отечества)?

ОТВЕТ. Вы знаете, это получилось в достаточной степени случайно. Я никогда не думал(а), что стану звездой (магнатом, спасителем Отечества). На роль звезды (магната, спасителя Отечества) пробовался мой приятель, из того же города. Но так получилось, что когда он пришел показываться режиссеру (продюсеру, предыдущему спасителю Отечества), то выбрали почему-то меня, хотя я тихо стоял(а) в сторонке и смотрел(а) на него влюбленными глазами. Он был для меня тогда Богом. Я собирал(а) все его диски (книги, носовые платки, окурки, ценные указания). И вдруг он повернулся ко мне и сказал: «А этот (эта) что здесь делает?!» И я понял(а), что это судьба. Больше всего на свете я обязан(а) моим родителям — простым, обычным инженерам (врачам, учителям, пожарным, банкирам, олигархам, спасителям Отечества). С любви к родителям начинается любовь к Родине, с любви к Родине — любовь к Богу, а с любви к Богу — стабильность (карьера, коттедж, стабфонд)!

ВОПРОС. Способны ли вы простить измену?

ОТВЕТ. Знаете, это непростой вопрос. С одной стороны, Бог

учит нас прощать все. С другой — тот, кто изменил жене (Родине), завтра может изменить Родине (жене). И потому этот вопрос я решаю для себя так: себе я по-христиански прощаю все. Другим, как истинный патриот, — ничего! Что касается любви, то здесь очень важно выбрать своего заветного, одного-единственного. И все делать только с ним. Жить только с ним, любить только его, изменять только ему.

ВОПРОС. Чем вы будете заниматься, когда оставите сцену (шоу-бизнес, подиум, страну)?

ОТВЕТ. Вы знаете, я пока не думал(а) об этом. Мне кажется, что надо жить сегодняшним днем. Если вы верите в Бога (продюсера, спасителя Отечества), он найдет способ о вас позаботиться. Могу сказать одно: уходить далеко я не намерен(а). Я не могу оставить своего зрителя (избирателя) на произвол судьбы (враждебного окружения). Когда я выхожу на сцену (арену, подиум, трибуну), я чувствую ответную волну любви. И пока у нас будет эта любовь (газ, нефть), мы будем идти по жизни рука об руку (нога за ногу, зубы на полку, глазки в кучку).

2007 год

Бог занимает в русской жизни большое и уникальное место. Ему все можно.

Представления о Нем взаимоисключающи, конкретизировать их не полагается, ибо у нас теперь все со всеми сцепляются по любому вопросу. Согласные и несогласные имеют различные взгляды даже на таблицу умножения. Сходятся все только в том, что Бог есть, потому что иначе — бездуховно. Можно спорить о первых лицах государства, включая главное, и даже о Церкви, включая Патриарха, но против Бога слова не скажи. Немудрено, что российское искусство — кино, театр, литература — все чаще обращаются к Божественному: все остальное скомпрометировано. Бога тоже перетягивают, конечно. У одних Он похож на маршала Жукова, у других — на академика Сахарова. Но закончить текст или фильм без Бога сегодня почти не получается, потому что все остальное скомпрометировано.

Бог произносит мораль. Поскольку Самого Его изображать отваживаются немногие, памятуя о трагической биографии Булгакова (да и у евангелистов все сложилось непросто), транслятором Божественного откровения является священник. Это такое отечественное ноу-хау времен Смутного времени, постепенно кристаллизующегося в мутное, но твердое: Поп Из Машины. Иногда — буквальной, как в фильме Александра Велединского «Живой», где в машине едет батюшка, кое-как связывающий в сюжете концы с концами. Иногда машина фигуральная, невидимая. Но свет истины так или иначе исходит от попа, потому что мы дожили до времен, когда больше ее провозгласить некому. Одно время срабатывал патриотичный чеченский десантник или бывший «афганец» (лучше бы тоже уверовавший в процессе мочеания чехов или духов), но мы же говорим все-таки о приличных авторах, а не о том, что находится за гранью вкуса.

Началось это не вчера, но получалось посредственно: еще в 1982 году был написан, а в 1989-м напечатан роман Валерии Алфеевой «Джвари» — о паломничестве интеллектуалки в грузинский православный монастырь, — но все интеллектуалки, подвизавшиеся на этой ниве, говорили уж очень красиво, а со вкусом у них было еще хуже, чем со смирением. Некоторое просветление внес в русскую религиозную литературу Виктор Пелевин, у которого, несмотря на прокламированный интерес к буддизму, чрезвычайно сильны христианские мотивы, отмеченные, в частности, Ириной Роднянской, — и не зря в

финале его самого безысходного сочинения «Empire V» мораль произносит именно христианин, хотя и молдаванский гастарбайтер по совместительству.

После лунгинского «Острова» Церковь стала темой по-настоящему модной — и даже, пожалуй, не без гламурности: никакие премьер-министры, стоящие в храме Христа Спасителя со свечками, не популяризуют христианскую символику так, как большие кассовые сборы. Мамонов сделал невозможное — сыграл обаятельного и невысокомерного монаха. После этого вставлять попа в финал фильма или провозглашать его устами главную мысль романа стало хорошим тоном. Справедливости ради признаем, что это началось еще до «Острова», — в киноромане Эдуарда Володарского «Штрафбат» появился отец Михаил, священник-доброволец в абсолютно картонном исполнении Дмитрия Назарова; относительно этого персонажа Борис Кагарлицкий здраво заметил, что получился чистый политрук с Библией вместо партбилета. Как ни старался Николай Досталь, но вдохнуть жизнь в этот персонаж не мог никак. Володарский не остановился на достигнутом — и ввел попа (вы не поверите, опять отца Михаила — положительно, нет в России других священников!) в свой новый сериальный сценарий, на сей раз о Чапаеве.

Это вообще творение пронзительное — хочется цитировать страницами. Допустить невозможно, что эта же рука написала «Оглянись» или «Проверку на дорогах». Язык, которым признаются в любви или клянутся в социальной ненависти герои романа, оперативно тиснутого «Амфорой», достоин лубков о Ваньке Каине. У всякого времени свой Чапаев, и нынешний очень религиозен: в первой главе берется в одиночку укрепить крест на сельском храме, во второй исповедуется батюшке отцу Михаилу, каясь за убитых на империалистической войне. Батюшка расставляет точки над і в духе суверенной демократии: «На войне убивал — Родину и веру православную защищая. Господь простит такие грехи, ежели молиться усердно будешь». Чапаев интересуется у батюшки и насчет революции, и батюшка дает не менее актуальный ответ: мир устроен несправедливо, но примыкать к смутьянам не следует. Добавьте сюда страшное количество эротических эпизодов и очень отрицательного Троцкого — и с легкостью поймете, что тема покаянной молитвы для создателей будущей картины в самом деле очень актуальна.

Не обходится без попа и Павел Воцанов, все никак не обретающий душевного равновесия после недолгой службы в качестве пресс-секретаря первого президента России. Чувствуется, что на заре русской демократии честный журналист рассмотрел

в Кремле такого, что и пятнадцать лет спустя вздрагивает от воспоминаний. В его новом романе «Фантомная боль. Последний сон хозяина», вышедшем в издательстве «Новая газета», именно священник оказывается единственной силой, готовой противостоять алкогольно-коррупционному беспределу. Правда, есть еще Советник — угадайте, кто в нем угадывается; это человек очень хороший, случайно забредший в вертеп. Именно батюшка, оказавшийся за одним столом с всесильным и вечно пьяным Хозяином, отказывается пить до дна, когда тот произносит свой фирменный тост «За Россию». Вероятно, батюшка не хочет пить за такую Россию. Это едва ли не единственный случай духовного сопротивления на весь воцановский роман, чрезвычайно своевременный в смысле главной мишени.

В новом романе плодового Бориса Евсеева «Площадь революции» церковный староста озвучивает главную версию относительно происхождения романских злодеев: «Милиция наша подмосковная пьет да деньги взяточные считает... (Удивительно, почему церковные люди во всей современной российской прозе изыскаются так, словно живут при Иване Грозном и читают при этом только Даля с Личутиным?! — Д.Б.) Никакие они не военные! Токмо маскируются. Они вообще — бог знает кто! Я думаю вот как: это сработанные души у нас тут завелись. Не мертвые это люди и не живые. Это, скажу я тебе, люди, которые позволили нечисти себя сманить и оседлать. И жизни земной, и того света лишены». Отсюда видно, что церковный староста читывал не только Даля, но и Кафку — «Охотника Гракха», в частности. Далее он принимается цитировать местного батюшку отца Никодима: «Корни террора — не в нации и не в борьбе за трудности освобождения. Корни террора таинственно глубоки. В столкновении времен и эпох эти корни просматриваются, и даже в Ветхом Завете. „Око за око, зуб за зуб!“» Далее, цитируя Никодима, церковный староста — вместо «Сатана» почему-то говорящий «Сатан» — переходит на вполне цивилизованный язык современной популярной брошюры, распространяемой движением вроде «Наших». «А нынешний террор половой? Секс — оно звучит гордо, смело. А на самом деле — часто террор мужского полу противу женского происходит». И то сказать, почасту тако бывает. Страмота одна, тьфу. А то ишо бывает, что писателю лень изображать, вот он и высказывает мысли напрямки от лица духовного. И ему невнапряг, и читателю легче, вестимо.

Подлинный рекорд по этой части, однако, ставят две только что вышедшие фантастические саги: одну (изданную «Яузой»)

сочинила Юлия Вознесенская, и конца ей не видно. Подзаголовок «Роман-миссия» говорит сам за себя. Первая часть — «Путь Кассандры», вторая — «Паломничество Ланселота», третья, думаю, будет называться «Подвиг Карлсона», потому что Вознесенская, кажется, задалась целью включить в свое повествование всех мифологических героев мировой классики вплоть до бравого солдата Швейка; получился, конечно, чистый Пепперштейн, но с невыносимым трагическим надрывом. Антихрист в романе ведет долгие философские беседы со своими адептами, все время рассказывая о том, какой он гнусный. Имеется также клонирование. На фоне всей этой толкиенистики, оккультины и мелкой крошки из рыцарей Круглого стола Библия и непрерывные упоминания Креста выглядят некоторой экзотикой, но коль скоро Юлия Вознесенская мыслит свой роман-миссию как венец духовного опыта человечества, хочется надеяться, что в следующих томах не будут обойдены буддисты, тотемисты и адвентисты седьмого дня.

Однако романый цикл Вознесенской — перл сложности и оригинальности на фоне нового романа прозаика, драматурга и телеинтервьюера Андрея Максимова «Сны о Лилит», которым только что выстрелила «Олма». Сквозной персонаж Максимова, комиссар Гард, на сей раз заброшен в будущее, где пытается разобраться в теологических вопросах. Его направляет в духовном поиске отец Петр, изрекающий, например, такие максимы: «Священник — слуга Господа. Главное его служение: помочь людям лучше понять Бога. Все основные религии говорили, по сути, об одном... Вера и знания лежат в разных областях. Бог непознаваем, но ощущаем». И еще — о том, что дьявола нет, его придумывали, чтобы было на кого списывать «свои неblaгие поступки».

Все это, конечно, довольно печально — тем более что в сочинениях почвенников и охранителей священники призывают к мести и гневу, в либеральной прозе учат любви и толерантности, а в приключенческой пересказывают отдельные серии «Суперкниги», дабы читатель не напрягался. Автор этих строк отлично понимает, что сегодня в самом деле трудно придумать неskomпрометиrowанный персонаж для трансляции собственных мыслей — и сам несколько раз прибегал для такой трансляции к монахам, священникам и богоискателям. Поиск веры сегодня — наиболее почтенное занятие, ибо знание, кажется, доказало свою безнадежную ограниченность. Мораль и сама любовь сделались понятиями столь размытыми, что каждый вдвует в них произвольное содержание, в большинстве случаев отделяясь общими словами.

Но ведь литература — не более чем зеркало реальности. Стало быть, и в нынешней нашей жизни роль Церкви сводится к такой же трансляции общих мест, потому что любая конкретика губительна?

Тогда все грустно.

Но, может быть, человек просто понял наконец, что не все на свете от него зависит, — и вместо поиска бесчисленных ответов пора положиться на бесконечное милосердие Божие?

Тогда все нормально.

2007 год

Мертвые слова, или Ад вручную (Поэтика русской попсы как зеркало эпохи)

К текстам попсовых песен не принято прислушиваться, а жаль. Попса откровеннее большого искусства: авторская личность в ней не затмевает реальности. Настоящее транслируется как оно есть.

Это верно, что топ-исполнители и топлес-исполнительницы всех времен поют примерно об одном и том же — по истощающей формулировке Валерия Попова, «без тебя бя-бя-бя». Но поют они об этом во всякое время по-своему. Советская попса заботилась о качестве текстов, в сочинении которых отметились — и для заработка, и для литературного эксперимента — серьезные люди, включая ведущих шестидесятников. Раннеперестроечная эстрада многому училась у рока, эксплуатируя социальность и перенимая протестность: так возник феномен Талькова. Окончательный раскол общества хронологически совпал с появлением суперхита *«Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани»*. Что и было исполнено.

Новое время — условно называемое «эпохой нулевых» и точно соответствующее термину — началось с двух явлений, которые на разных уровнях российской популярной музыки обозначили полную уже безъязыкость, вымывание смыслов, дошедшее до апогея. Мы действительно живем во времена слов-сигналов, за которыми давно нет никакого конкретного содержания. Что они значат — никто толком не помнит, но тот, кто эти слова употребляет, определенным образом себя позиционирует.

Одновременно мы наблюдаем небывалый еще кризис авторской песни (которой почти нет) и полное отсутствие рока: тут должен наличествовать хотя бы призрачный смысл, а его нигде взять. О чем петь в мире гипнотического транса, в который мы все погружены с головой, в мире скомпрометированных утопий, упраздненных ценностей и уравнивавшихся крайностей? Этот вакуум господствует и в песне, где преобладают теперь существительные. Они давно не вступают друг с другом ни в какие связи: это именно сигналы, туманно намекающие на суть. Как у Ромы Зверя: *«До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно»*. Что сказать хотел? Ничего не хотел. Он вышел из подворотни не для того, чтобы разговаривать.

Возьмем Билана: *«Одинокий город спит, отдыхает, за усталый*

вид отвечает» — это, как и «тема», слово-маркер, привет из вымершего было социального слоя, где перетирают темы и отвечают за базары. Страшен мир, где даже город отвечает за вид. Однако здесь возможны хоть какие-то догадки о сути происходящего — в «женских» текстах нет уже ничего похожего на смысл, ибо любовь до такой степени вышибла из головы лирической героини последние извилины, что остались только междометия. В этом, увы, героини тоже повторяют путь Родины.

Началось это с Кати Лель с ее призывом *«Места я не нахожу себе. Стопудово — я, наверное, страдаю по тебе, я просто никакая. Что-то дернуло меня сказать: „Не пошел бы ты на буковок на несколько опять?“ От кайфа улетаю»*. С какой стати она улетает от кайфа, послав на «буковок на несколько» того, по кому, наверное, «стопудово страдает»? Это тот самый случай полной утраты собственного «я», когда все эмоции равноправны: можно сожрать, убить, искушать любимого — именно потому, что «от кайфа улетаешь».

При этом героиня обречена выражаться строго в формате — ведь формат и стал ключевым словом нашей эпохи: она не может сказать «хватит лезть» или «хорош помогаться» — ей остается только загадочная формула «Край приставать, доставать так по-простому» — немудрено, что сама она признается: «Коды ко мне подобрать не так-то просто». Но это не потому, что она сложна, а именно потому, что слишком проста — и у нее никогда не поймешь, нравится ей происходящее или нет. Она от кайфа улетает, тут не до анализа.

Впрочем, эллипсис («опускание» слов и смысловых звеньев в предложении) — обычное дело в сегодняшней речи, все меньше отличающейся от SMS. Вспомним песню Ираклия Пирцхалава «Вова-чума»: *«Обходи стороной. Как о стену порой. Гениальный отстой. Но бывает другой. Ты ему просто спой»*. По контексту это несложно перевести: некоего Вову-чуму лучше обходить стороной, поскольку об этого крутого перца можно удариться, как об стену, — но абсолютно отстойный чувак бывает и другим, стоит спеть ему. Здесь ради попадания в формат отброшено большинство смыслообразующих конструкций, но ведь и все мы ради формата делаем с собой примерно то же, сокращаясь до набора бессмысленных звуков.

Одно из открытий прошлого года — группа «Город 312», чьи тексты отражают другую крайность: внешне все чрезвычайно гладко, как в любом официальном документе или публичной речи современного образца. Пугает полный вакуум внутри, особенно заметный на фоне приличных рифм и тщательно соблюденных размеров: *«Совсем не обязательно ждать помощи*

спасательной, два шага по касательной наверх» — окончательно запутывает дело: почему они могут подышать воздухом только наверху? На подводной лодке, что ли, происходит действие? Но какой на подлодке светофор?! Между тем слово-сигнал есть и здесь: «Вне зоны доступа». Это словосочетание мы слышим по десять раз на дню — оно-то и становится крючком, цепляющим слушательское внимание.

По этому рецепту изготавливается сегодня все — стихи, песни, патриотические слоганы, политические программы и выпуски новостей. От реальности берется один сигнал — дальше можно накручивать что угодно. Столь же вероятен был бы вариант: *«Просто сорвалась и опять скучаешь ты // За границами зоны действия»*. Технические термины удобны еще и тем, что у каждого слова в них — любопытные коннотации, особенно у «зон», «границ» и «доступности».

Современная попса звучит так трагично еще и потому, что отражает последнюю степень распада сознания — и в этом смысле мало чем отличается, скажем, от коллажной прозы Михаила Шишкина, составленной из отрывков чужих текстов, или от политических заявлений Дмитрия Рогозина, изготовленных по той же рецептуре в лучших постмодернистских традициях. Тексты попсы набиты хаотично слепленными обломками чужих цитат, трупам слов, которые когда-то и для кого-то значили многое, если не все, — но сегодня их сгребают в кучу, как мертвые листья.

Идеальный пример — тексты Сергея Зверева: *«Ради тебя провожать поезда навсегда. От любви пусть растают снега. И звезды с неба падают ради тебя. Боль. Ты ни при чем. Просто обрывки разбитой мечты»*, — человеку даже не приходит в голову, что от разбитой мечты остались бы осколки, а обрывки остаются от разорванного. Все это неважно — ни одно слово уже ничего не значит. С помощью эллипсиса можно было бы придать этой конструкции более многозначительный вид — например: *«Ради тебя. Поезда. Осколки. Слезы. Ждать»*. Но это сильно напоминало бы положенный на музыку словарь — чего нам, кажется, ждать недолго.

Мы живем в аду, ибо ад и есть бессмыслица. Но не кто иной, как Дима Билан, открыл нам глаза на эту ситуацию: *«Ад мы сделали вручную, только сами для себя»*.

Все понимают, только сказать не могут.

2007 год

Возвращение советской литературы

Она начала возвращаться уже в прошлом году, но окончательно и триумфально заявится — в этом. Началось, понятное дело, с высоких образцов — Окуджавы и Трифонова, Булгакова и Платонова, Аксенова и Рыбакова. Между прочим, это все она, то есть русская литература советского периода; время уравнило печатную продукцию с непечатной — запрещенные авторы утратили ореол непризнанности и тайны, оказавшись в школьной программе. В этом году наверняка вернутся и другие выдающиеся советские авторы — мне уже приходилось писать о новой вспышке интереса к Стругацким; реанимирован Юлиан Семенов, чья биография работы дочери стала одним из бестселлеров года; в серии «У камина» переиздана дилогия Фриды Вигдоровой о трудах и днях советской интеллигенции... Превосходно продается «Избранное» Чингиза Айтматова — новый роман плюс три старых повести.

А знаете, кто возглавляет список «мужских» бестселлеров «Озона»? Я сначала глазам не поверил — Владимир Санин! Да-да, тот самый, 1928–1989, автор остросюжетных повестей об освоении Антарктиды. Хорошо помню, как в семидесятые журнал «Знамя» с его новой повестью затирался в библиотеках до дыр, а высоколобые критики морщили свои высокие лбы. Они морщились, а вот «АСТ» издает, и как расходуется! Подождите, вернется и Олег Куваев с «Территорией» — тема золотодобычи не устареет, и Валерий Поволяев с таежной романтикой, и покойный Михаил Чулаки с буднями психиатров...

Подозреваю, что очередные переиздания Анатолия Иванова, Петра Проскурина, Георгия Мокеича Маркова и других бесчисленных соцреалистов, ваявших многотомные, многотонные саги об установлении советской власти в Сибири, будут расходиться, как пироги. Тут ведь что интересно? У всякой литературы, плохой ли, хорошей, бывает два пика продаж. Первый — когда она свежая и с ней ничего еще непонятно: берут, чтобы распробовать. А второй — когда она уже дряхлая, то есть окончательно превратилась в памятник эпохи. Тогда даже трамвайный билет древнейших времен получает некоторую ценность.

Советская литература перестала быть актуальной, но возвращается как памятник. В конце советского периода на многие ее образцы нельзя было смотреть без отвращения, но ведь и литература Серебряного века — какие-нибудь «Крылья» Кузмина — вызвала омерзение у современников. А наше

поколение читало взахлеб, наслаждаясь пряной экзотикой. Потому что ценность этой литературы была уже не столько эстетическая, сколько музейная. Возвращение советской литературы связано с тем, что от Советского Союза действительно ничего больше не осталось. Этого-то и не учли ее могильщики. Больше того, к закату клонится вся русская цивилизация, в которой слово играло великую роль, а из-за принципов стрелялись.

Мы вступили в другой, сугубо материальный, сырьевой период, в котором великие абстракции уже почти ничего не значат. И какой-нибудь Семен Бабаевский из заурядного лакировщика действительности вырастает в титаническую каменную бабу, в тмутараканское идолище. Какие художественные достоинства у каменной бабу? Ровно никаких. А историческая ценность — побольше, чем у Венеры Милосской: от греков много чего осталось и помимо Венеры, а от Тмутаракани — только идолище.

Это первая причина. Посмотрите, как расходятся сегодня собрания сочинений И. Бабеля («Время»), П. Романова («Эксмо») и Б. Пильняка («Терра»), как улетела «Игра в любовь» Льва Гумилевского, которую современники (1926) провозгласили махровой пошлятиной! Погодите, в этом году доживем до новой волны интереса к Всеволоду Иванову, к Леониду Леонову (биографию которого для ЖЗЛ пишет сверхактуальный нацбол Захар Прилепин), к Катаеву, Симонову, да и к Панферову — он читается легче, чем зрелый Сорокин. Жить в хрущобе трудно, но посещать ее как дом-музей — милое дело.

Есть, впрочем, и другая причина: дело в том, что надо снимать сериалы. Литературная основа сериала должна быть крепкая, внятная, со страстями. Сегодня так писать почти не умеют, да и эпоха, честно говоря, еще не оформилась. Ведь для сериала что главное? Эта плесень не на всякой культуре взойдет. Надо, чтобы эпоха была уже достаточно мертвой. 2005 год ознаменовался бурным освоением Сталина и его эпохи; в 2006-м это продолжилось, но стали ностальгировать уже по Брежневу... Советское только теперь становится объектом бесстрастного эстетического анализа: нас уже не интересует, хорошо было или плохо. Оценивать ведь надо исходя из того, как *может* быть. Кое-что они там в своих тридцатых-пятидесятых умели. Роман Петра Павленко «Счастье», может быть, не выдерживает никакого сравнения с прозой того же Леонова, но в нем, по крайней мере, есть начало, конец и середина. Николай Шпанов был отъявленный штатофоб и европоненавистник, но о строительстве сюжета и выдумывании героя имел какое-никакое представление.

Весь советский мейнстрим — от худших образцов вроде производственных романов Н. Зиновьева до лучших вроде прозы А. Крона и И. Грековой — был подчинен единым формальным законам: это проза внятная. Вся она контактировала с реальностью — и реальность в ней осталась. Даже ходульнейшие фильмы вроде «Нашего дома» сохранили живые черты эпохи. Это же касается и литературы — по точному выражению Нонны Мордюковой, профессионализм нужен только для того, чтобы сплести крепкую сюжетную сеть. Чем она крепче, тем больше живой жизни в ней барахтается. И потому сегодня даже производственные романы пятидесятых читаются восхитительно: «Битва в пути» вполне может быть заново экранизирована в ближайшее время — уже в сериальном формате — и с большим успехом. Первым эту тенденцию, как почти всегда, уловил человек с истинно звериной интуицией — Станислав Говорухин, чей фильм «Не хлебом единым» вернул читателю старую книгу Дудинцева. Вся ее проблематика давно и многократно устарела, а вот герои живы, и жизнь их увлекательна.

Есть, впрочем, третья, и самая грустная причина нашего неизбежного возвращения к советской литературе или ее возвращения к нам. Мы не так богаты, как кажется. Не Англия, чай, и даже не Испания. Весь наш литературный запас — XIX век и начало XX-го (Фонвизин — и тот тяжеловат для нынешнего читателя). Из этой коробочки высосаны уже все соки: еще Набоков говорил, что золотых страниц в русской классике наберется на томик средней толщины. Не такие мы магнаты, чтобы разбрасываться романами вроде этих: «Города и годы», «Необыкновенное лето», «Балтийское небо», «Время, вперед», «День второй», «Похождения факира», «У», «Скандалист», «Средний проспект», «Последний из удэге», «Капитальный ремонт», «Открытие мира», «Чернозем», «Районные будни», «Товарищи по оружию», «Расплата», «Ночь после выпуска», и даже «Жатва», и даже «Клятва»... Тут намеренно перемешаны почвеннические и западнические, хорошие и средние, знаменитые и забытые книги: их объединяет общая принадлежность к материку советской литературы; литература эта длилась без малого век, и отказываться от нее просто потому, что кончилась эпоха, мы никак не вправе.

Мы и так слишком многое забыли, а ведь эта литература сохраняет не только историческую, но и эстетическую ценность. Я могу любить или не любить взгляды и стилистику Федина, Фадеева, раннего Бондарева, могу соглашаться или не соглашаться с Тендряковым или Овечкиным, но отказаться от них не могу. Настало время осмысливать эту прозу, так же как

советское литературоведение осмысливало в тридцатые-сороковые навеки, казалось бы, ушедшую Россию Раскольников и Огудаловой, Ростовых и Кручининой, Базарова и Рахметова... Больше нам читать особо нечего — ни могильщики советской литературы, ни новые детективщицы, ни даже юные реалистки вроде Денежкиной так и не создали ничего сопоставимого.

И потому я уверенно предсказываю многотысячные тиражи советских писателей второго и третьего ряда, сериалы по «Буре» и «Падению Парижа», по «Тишине» или «Живым и мертвым», по прозе Георгиевской и Бруштейн... Я предрекаю даже возвращение такой откровенной халтуры, как «Белая береза» или «Иду к вам, люди». Стала же «Тля» при переиздании мегабестселлером, затмившим всю современную словесность! А почему? А потому, что душа вложена. Даром что эта душа имеет цвет и запах совершенно недвусмысленный.

...Есть и еще одна, тоже важная причина. Но ее я приберегаю под конец, потому что сам не очень хочу в это верить.

Мне кажется, что Россия после всех пертурбаций, после всех прошедших по ее лицу цивилизаций, религиозных реформаций и социальных революций возвращается более или менее в одно и то же состояние. В состояние уютного туповатого полусна, в котором и написана вся литература от поздних двадцатых до сорокового, от поздних шестидесятых до ранних восьмидесятых.

По-моему, сейчас она опять в него впала.

Самое время для снов о «Тишине», «Судьбе» и «Счастье».

2007 год

Проект РФ

Международная система галактической безопасности.

Отдел 5, подраздел 6, сектор 7.

Совершенно секретно. Подумано в одном экземпляре.

Мысленный рапорт агента 008.

Шеф! Настоящим довожу до вашего сведения, что на подотчетной мне планете № 09567435 открыт поразительно эффективный способ утилизации так называемой «бумаги». Несколько ведущих издательств крупной и отсталой страны разработали компьютерную матрицу, позволяющую при замене нескольких существительных производить в неограниченных количествах фантастические романы всех жанров, известных человечеству. Эти жанры суть следующие: фэнтези, альтернативная история и космические боевики. Я вычленил матрицу на основании вдумчивого системного анализа серии «Звездные лабиринты» издательства «АСТ», а также серий «Русская фантастика», «Боевая магия» и «Абсолютное оружие» издательства «Эксмо».

Должен заметить (как-никак земная литература — главная моя специализация), что матричный способ письма открыт далеко не в 2006 году. Первым об этой практике рассказал Аркадий Аверченко, герой которого научился варьировать одну и ту же любовную сцену в любых интерьерах, от боярского терема до потолка, на котором совокупляются мухи. Матрица вошла в историю благодаря выражению «и все заверте...» Но все это меркнет рядом с матрицей современной российской фантастики (далее РФ), ибо проект РФ не имеет себе равных как по масштабу, так и по бесстыдству. Примерно половина всего российского книжного рынка — именно фантастика и фэнтези; стартовый тираж книги составляет не менее семи-восьми тысяч экземпляров (прочие тиражи колеблются от одной до трех тысяч).

Описываемая матрица является современной модификацией проекта «Прилагательное против существительного», описанного в прошлом рапорте (книжные серии «Слепой против хищника», «Глухой против зверя», «Тупой против ветра», «Отмороженный против всех»). Правда, если в стандартном русском боевике (далее РБ) отрицательный персонаж после удара главного героя

отлетает на пять метров, то в фантастике — на все пятнадцать, а иногда и на парсек (если удар наносится типа бластером).

Отличительной особенностью матрицы является наличие почти обязательного (опускаемого лишь в крайне редких случаях) патетического вступления. Оно неизменно во всех обстоятельствах, от космического боевика типа «Небесный спецназ» («Небесный ОМОН», «Небесная ГИБДД») до многотомной фэнтезийной саги «Моча дракона» («Моча» может рассматриваться и как физиологическая жидкость, и как деепричастие). «Тьма... Бесконечная тьма и хаос... Время... Пространство... Время течет туда, откуда никто не возвращается, и вытекает оттуда, куда никому не хочется. Космические круги... Космические октаэдры... Космические плюсквамперфектумы... Но в бесконечной тьме тлеет искра одинокого разума. Две силы — Свет и Тьма — внимательно следят за ней. Но две ли их на самом деле? Начало — в конце... Конец — в начале... Никому не дано знать, что скрывается в недрах... Но рыцари (стражники, дозорные, инспекторы, магистры, небесные майоры, издатели, писатели) не спят никогда».

Рассмотрим применение матрицы в отдельных случаях.

НЕФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК РБ

«Майор спецназа Сухов вспомнил все, чему его учили в суперэлитном подразделении „Резервуар“. Не зря у него была кличка Конец. Он выхватил пистолет и направил его на Косяка.

— Сука! — прошипел Косяк, нагнулся и неуловимым движением выхватил из-за голенища нож с наборной рукояткой.

— Сам такое слово, — небрежно парировал Сухов, встал в боевую стойку, как учил его полковник Абыбабаев, резко выбросил вперед ногу и выстрелил. Косяк отлетел на два метра, перевернулся через голову и приземлился на все четыре лапы.

— Мент поганый! — прохрипел он, вынимая нунчак.

Такого оскорбления майор Сухов не простил бы никому. Он не простил бы его отцу, матери, сестре, брату, золовке, деверю (следует перечень родни, необходимой для строкажа), но прощать такое Косяку он был уж вовсе не склонен. Майор Сухов не зря проходил закалку под Кандагаром и под Белым домом. У майора Сухова была всего одна медаль, но это была элитная медаль „За сдачу всего“, которой удостоивались только лучшие офицеры спецназа. (Итого десять строк.)

Майор Сухов вспомнил, что в кармане у него лежит заветная

ладанка, подаренная духовником отряда „Резервуар“, бывшим спецназовцем, отцом Посысаем. Он крепко сжал ладанку одной рукой, другой схватил Косяка за горло, а третьей выстрелил в третий раз. Косяк упал, изрыгая проклятия, и умер совсем. Сухов достал индивидуальный пакет и бросился к Тане:

— Ты жива?

Девушка широко распахнула глаза и показала ссадину на плече.

— Ничего, — сказал Сухов. — До свадьбы заживет».

КОСМИЧЕСКИЙ БОЕВИК

(Его действие происходит, как правило, в отдаленной галактике вроде нашей с вами)

«Майор космического спецназа Сухов вспомнил все, чему его учили в суперэлитной космической школе Звездных Убивцев. Не зря у него была кличка Звездец. Он выхватил фумигатор и навел его на склизкую тварь.

— Великий хаос! — прошипел Магистр-Координатор, нагнулся и неуловимым движением выхватил из-за трансмиттера декодер.

— Гармония и порядок! — небрежно ответил Сухов, принял боевую стойку, как учил его сталкер Колкер, выбросил вперед отражатель, поправил антенну блоггера, включил третью степень защиты и плюнул отработанным космическим плевром третьей степени.

— Клянусь Создателем Миров! — просипел Магистр-Координатор, отлетел на световой год и приземлился на все четыре гусеницы. — Ты заплатишь за это, Черепаха Космических Трасс!

Таких слов майор спецназа Сухов не прощал никому и никогда. Он не простил бы их склизкой твари из созвездия Лебедя, Рака, Щуки (следует перечень созвездий, известных автору), но прощать их склизкой твари из созвездия Бурой Свиньи он не мог по определению. Не зря он проходил боевую обкатку на кольцах Сатурна и яйцах Плутона. (Что такое яйца Плутона, знать необязательно. Важно, чтобы звучало.) Его левую грудь украшала медаль „За полный атас“, которой достаивались только космолетчики, налетавшие больше пяти томов в серии „Темная бесконечность“.

— Великое Кольцо Разума! — воскликнул он, сжал в кармане

скафандра Талисман Могутности и пронзил Магистра взглядом такой силы, что тот немедленно растекся зеленой дымящейся лужей на пять страниц. Майор бросился к Эе. (Чем больше гласных будет в имени девушки, тем лучше.)

Эя широко распахнула трансмиттер, поправила эмулятор и приоткрыла сфинктер.

— Ты не ранена? — прошептал он, расстегивая на ней скафандр.

Эя загадочно усмехнулась и показала ему распухшее щупальце.

— Ерунда, — усмехнулся майор. — До Конца Миров заживет».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

«Майор особого отряда времяпроходцев Сухов забыл все, что было написано в учебниках истории. Он действовал в пространстве альтернативной истории, в которой Рим не пал, Рейх победил и разорился, южане сделали северян, а Ленин первым отправил в космос Титова. Не зря у него была кличка Фоменко.

— Юнона и Горгона! — прохрипел Нерон, прячась за спину Куратора-Прокуратора.

— Господь наш Велес, — небрежно ответил Сухов, доставая арбалет, поправляя копье, прицеливаясь из „Макарова“ и стреляя из фотонного отражателя.

— Хальт! — воскликнул Нерон, и Сухов с ужасом узнал в нем рейхсфюрера СС Гопнера, которого он успешно завалил еще два тома назад. — Хенде хох!

Таких слов майор Сухов не прощал никому. Он не простил бы их Петру Первому, Николаю Кровавому, Ивану Великому, Андрею Белому (следует перечень исторических персонажей, известных автору), но майору СС, скрывающемуся под протекторатом Рима, он не склонен был прощать ни в коем случае. Не зря его нос украшало кольцо „За несдачу экзамена“: майор не сдавал никого, а историю подавно. Он сжал в кармане талисманную пешку — подарок альтернативщика Каспарова, и метнул лазер в глаз рейхсфюреру-Лженерону, и тот, перекувырнувшись в воздухе, перелетел в Турецкую Византию из следующего тома.

— Ты не ранена? — склонился майор над Юей, поправляя ее тунику и помогая заправить ее в форменные сапоги.

Юя расстегнула ремень, сбросила тунику, и майор остолбенел. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в

альтернативной истории действует альтернативная анатомия, и вместо того, что он ожидал увидеть, аппетитно розовели две круглые ягодицы с ямочками.

— Ничего, — прошептала Юя, — до Морковкина Заговенья привыкнешь...»

ФЭНТЕЗИ

«Майор элитной гвардии Квадрига Первого Сухой вспомнил все, чему его учили в кругранте адваргов под руководством пропана Бутана. Не зря у него была кличка Rrrrrr и почетная розамунда „За разбудовку Батакуды“.

— Тхунж и Троппапоп! — прохрипел Уквадр, выпуская трокадры и втягивая укрудры.

— Пропп и Пупп, — небрежно ответил Сухой, выставляя аркадры, прикрываясь драгоманом и помахивая фуфуюем.

— Проклятие Тритатухи! — просипел бибабон, откатываясь на пять кварталов назад и приземляясь на все четыре бубуки.

— В титатоху себе засунь, — пожал бульбайцами майор, сжал правой катапулькой Великий Коренной зуб Огненного Дракожора и трататохнул из баклажахи.

— Матерь Долбобобов! — жужукнул усканос и отрубительно жерканулся на камнях торгового Тлилля.

— Ты не ранена? — воскликнул Сухов, наклоняясь над девушкой, помогая ей расчихлить уклады, рассолить забодалы и потумкать кротоны.

Бя широко распахнула ардрог, раздвинула брабары, и на сгибе сукорок стыдливо показалась припухшая манящая клепсидра.

— Ничего, — барабуркнул Сухов. — До Араукарии забарабулькает».

Теперь, шеф, вы и сами при желании могли бы писать в неограниченном количестве боевики, фэнтези и даже альтернативную историю.

Вычленив матрицу и подробно исследовав вопрос, я не понял только одного, шеф. На фига это надо? Почему они непременно хотят утилизировать столько бумаги?!

Так что с главным заданием я не справился и умоляю вас отозвать меня, шеф. Я не могу больше смотреть на уничтожение такого количества лесов, а главное — не могу все это читать. Заберите меня назад, на нашу гостеприимную Клепсидру, где

барабулькает в зарослях аргванта кухлая, лекатучая Макулатура.

2006 год

Возбужденные до беспредела (Русская эротика—2007)

С русской эротикой происходит что-то ужасное. Может быть, ее прежнее отсутствие даже лучше нынешнего присутствия.

Было о чем мечтать. Эронику удавалось прозревать в самых неожиданных местах — в производственной прозе, например. До сих пор помню какой-то невыносимый производственный роман, в котором девушка держала некое приспособление, а юноша в него вставлял. Он вставлял другое, стержнеобразное приспособление. В конце концов у них все получилось. Это было описано с пылом, жаром и в конце концов увенчалось венцом. И, честное слово, это было симпатичнее сегодняшних описаний, совершенно производственных по своей сути.

Вот уже который год я пытаюсь понять, почему русская эротика немыслима, невозможна, почему единичные удачные образцы, вроде, скажем, аксеновского «Острова Крым», оказались неповторимы. Можно вспомнить, конечно, Набокова с его знаменитым «Я должен ступать осторожно», где вся глава о гибельном очаровании нимфеток описана без единого собственно эротического образа — сплошные тонко подобранные эвфемизмы. Можно, наконец, лишний раз перечитать Бунина с его толстовским бесстыдством и собственно бунинским, незаемным ужасом перед бесследным и поминутным исчезновением всего на свете, «поглощением себя в ничто». Но кроме-то? В любом мало-мальски приличном (и даже неприличном) американском романе найдется любовный эпизод, который можно перечитывать без стыда, но у нас?!

Все эти тексты условно разбиваются на три группы: 1) *мейнстрим*, то есть производственная, дамская и иная общедоступная литература, в которой эротика выступает ненавязчивым гарниром; 2) *артхаус*, то есть эстетские романы, рассчитанные не на чтение, а на премирование; и 3) *собственно эротическая проза*, имеющая целью либо возбуждение читателя, либо позиционирование автора в качестве сексуального монстра. Исследуем же, по-сократовски говоря.

столику за канаве с икрой.

„Да она без лифчика!“ — вновь возбудился он.

Даниил не успел даже опешить, как она схватила его руку и с силой каменотеса прижала ее к обнаженной груди.

— У тебя такие ладони... тогда что сказать о другом.

Могучий организм Демидова весь напрягся. Он буквально сгреб в охапку молодую женщину и, толкнув ногой боковую дверь, внес ее в спальню и опустил на кровать. Засияло обнаженное тело, поскольку под платьем у Лидочки не было ничего! То, что увидел Демидов, превзошло все его сексуальные ожидания».

Сами понимаете, крупный уральский промышленник Демидов не может удовлетворяться телесной близостью с Лидочкой. Ему нужна еще и духовная — с Катенькой. Найдите десять отличий.

«Приподнявшись на цыпочках, она медленно стала стягивать с себя ночную рубашку. Катенька сама не понимала до конца, зачем и почему она это делает. Сначала из-под ажурного подола выглянули ее колени. Даниилу немедленно захотелось их чмокнуть. Каждую! Движения молодой женщины стали более торопливыми, выдавая в ней зреющее желание. Потом медленно из-под рубашки выплыла точеная шея... И вот уже вновь появилось розовое от возбуждения лицо со слегка раскосыми улыбающимися глазами.

Он, как мальчишка, выпрыгнул из постели и сгреб женщину в охапку с такой неистовой силой, что сразу же возненавидел себя за неловкость и грубость. А вдруг раздавлю?!

(...) По звукам, доносившимся из ванной, он понял, что его возлюбленная приводит себя в порядок».

Цитируемый футурологический бестселлер «Укрепрайон Рублевка» принадлежит перу профессионального журналиста Краснянского и не менее профессионального олигарха Смоленского. Но поскольку большинство нынешних поставщиков читки писателями не родились, а подвизались до того либо в журналистике, либо в шоу-бизнесе, приведенный образец вполне типичен. Эта стилистика являет собою помесь пододеяльно прочитанных новелл Серебряного века («точеная шея», «точные колени», «точеный нос») с подростковыми же представлениями о лихости, ухарстве и удали. Герой обязательно сгребает в охапку,

раздавливает, вбивает, вминает, вдальбливает, пронзает, пригвождает, подчас ломает кровать. Молодая женщина не успевает приводить себя в порядок.

По этим эротическим эпизодам несложно представить, как описываемые олигархи пронзали, подминали и сгребали в охапку обанкроченные ими же сибирские предприятия. Таков стереотип их финансово-эротического поведения в романах Ю. Латыниной или сагах А. Бушкова. Разумеется, к эротике и сексу все это не имеет никакого отношения. Куда органичнее смотрелся бы эпизод, в котором какой-нибудь Краснооктябрьский никелевый комбинат постепенно проступал из тумана всеми своими соблазнительными изгибами и формами, после чего молодой медвежковатый владелец обрушивался бы на него всей своей тяжестью и хватал госсобственность в охапку с такой неистовой силой, что уволенный пролетариат брызнул во все стороны. Описания секса в производственном мейнстриме больше всего напоминают рейдерское слияние с последующим поглощением.

И ведь нельзя сказать, чтобы владелец не любил свой комбинат. Он его любит, но после такой любви от комбината мало что остается. Катеньки, это и вас касается.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

«И как он, Максим, стал раздеваться в полутьме, чтобы остаться перед ней обнаженным, и как она смотрела на его наготу, на его меч, которым он будет ее казнить, казнить, казнить, и луна была желтой, и это была огромная желтая луна...»

(Андрей Бычков, «Гулливер и его любовь»).

«Не дав мне опомниться, она срывает с себя рубашку и накрывает поцелуем мой жалобный вздох. Нашупав ладонями грудь, на мгновение я вижу глаза, в которых чуть ли не с отвращением распознаю свирепую злобу желая. Она распаляет его, простирая проворное тело вдоль моей распятой безволею души, и рвет ее, словно старый пергамент, в клочки, терзая меня нестерпимой мукой звериного, слишком звериного наслаждения. Мы погружаемся в бешенство — двое дюжих животных в охоте за первой добычей мира, даровавшей ему направление, — в безумство и великолепие греха. Я в ярости. Меня обуревают желание загнать ее насмерть, как

строптивую, позабывшую кнут кобылицу. Наваждение мстить, увечить, кромсать. Я глубже вонзаю охотничий рог в ее ненасытную рану...»

Алану Черчесову, автору второго приведенного отрывка, никто в детстве не объяснил, что охотничий рог — это такая вещь для звукоизвлечения. Вонзать охотничий рог в рану не станет и самый садический охотник, если только он не носорог. Впрочем, авторский текст в этом романе изобилует еще и не такими перлами, и не в перлах дело: важна тенденция. Прямо по Михаилу Успенскому: «Эрос-то на гусельках, танатос-то в бубны...» Все эти люди давно не любят друг друга — и собственно, никогда не любили; актуализируется и акцентируется исключительно «поединок роковой», «угрюмый, тусклый огонь желанья». Конечно, в интеллектуалах не так развит инстинкт доминирования, как в олигархах: доминилка, так сказать, не выросла. Они ограничиваются изощренным мучительством, расковыриванием ран, кусьбой. Они не любят друг друга — они ведь интеллектуалы. Интеллектуал обязан любить себя, Дерриду, иногда еще немного Андрея Немзера.

«КОНЧАЮ СТРАШНО ПЕРЕЧЕСТЬ»

Есть у нас и собственно эротическая проза, такая, в которой герои почти ничего другого не делают и уж точно ни о чем не думают. Так что когда лет пятьдесят спустя будущие историки будут рассказывать о политическом терроре и тотальной несвободе — им не худо бы иметь в виду, что именно в эпоху Второго Срока и Большой Стабилизации рынок наводнился вполне легальной полупорнухой. Вышла, во-первых, повесть Романа Парисова «Стулик» («Современная Lolита» — написано на обложке), во-вторых, «Fuck, ты» Марии Свешниковой, в-третьих, «Raw порно» Татьяны Недзвецкой, и все это выстрелило синхронной струей в конце 2006 — начале 2007 года.

«Вожделение есть повсюду — в девушке, слизывающей майонез с французского хот-дога, в мужчине, который холодно и жестоко курит сигарету в спортивном кабрио, в той паре, которая, не стесняясь, просовывает руки сквозь гульфик, расположившись на одной из лавок Никитского бульвара», — замечает Свешникова, не снисходя до объяснений, с какой радости пара в четыре руки полезла в гульфик на одной из лавок; этот ряд несложно продолжить, ведь вожделение действительно есть во всем: в

людях, входящих в троллейбус и выходящих из него, в солнце, которое встает, и в снеге, который ложится, в новом здании петербургского «Газпром-сити», которое пронзает облака, в министре, сладострастно склонившемся перед президентом в ожидании отеческого разноса... Россия — удивительно неприличная страна, если смотреть на нее под определенным углом зрения, но зато и дико возбуждающая. Все хотят друг друга казнить.

В сочинении Недзвецкой это садомазо достигает апогея, вырывается из гульфика, шевелит всеми щупальцами:

«Вдруг Саша отвешивает мне пощечину, я испуганно смотрю на него — его красивое лицо приняло садистское выражение.

— Так ты кончаешь, сука! — орет он и, не останавливаясь, хлещет меня по щекам. Моя голова, как у куклы, мотается из стороны в сторону. Каждый удар его все сильнее, он явно теряет контроль над собой, и каждый его толчок все сильнее и сильнее, боль и наслаждение заливают меня, я чувствую, как изо рта тонкой теплой струей течет кровь. Я целую его губы — питаюсь его несвежим дыханием».

В нормальной литературе тонкие эвфемистические описания производственных процессов заставляют думать о сексе — в российской разнузданные описания оргий заставляют думать о производстве, нижней палате парламента или цензурном уставе. И это весьма не случайно. В российской прозе, как и в российской жизни, никто никого не любит, а потому и написать об этом так, чтобы читатель чего-нибудь захотел, невозможно по определению. В стране, где каждый стремится исключительно к доминированию, мечтать о любви и соответствующей литературе бессмысленно. Тут будут только лизать, пронзать и казнить.

И все это будет в самом деле очень неприлично.

Но и только.

2007 год

Способен ли хоть один отечественный беллетрист выдать нагора настоящий культовый роман и каким он должен быть, если переносить его на русскую почву? «Код да Винчи» — не просто Умберто Эко, брошенный в массы, или Перес-Реверте, лишившийся остроумия. В конце концов, романы о сектах сочинялись давно, их просветительская роль даже позитивна. Откуда бы еще массовому читателю узнать тайны Ватикана или расположение залов Лувра? Тут Браун никакого велосипеда не изобрел.

Иное дело, что у него было два предшественника, об одном из которых он, вероятно, понятия не имеет, зато уж второй ему известен наверняка, потому что ободрал он его, как липку. Первый — Еремей Парнов, автор «Ларца Марии Медичи», в котором уже в 1972 году были все брауновские и многие эковские фишки: таинственный стишок, содержащий указания на клад; шифры; секта тамплиеров и ее сокровища. «Ларец Марии Медичи», переведи его кто-то на английский и раскрути, стал бы мегахитом.

Всякому автору, сочиняющему роман о поиске таинственного сокровища, приходится решать мучительный вопрос: что такое найдут герои в конце? Трудно придумать нечто грандиозное, и сокровище в большинстве случаев оказывается недостижимым либо несуществующим. Парнов поступил изысканно — утопил его вместе с целым островом, пошедшим на дно в результате землетрясения.

Что касается второго предшественника — это мой любимый американский беллетрист Ирвин Уоллес, написавший фиговую гору романов, лучший из которых «Слово» (тоже, по странному совпадению, 1972). Его у нас издали, высокомерно отругали и забыли, а роман-то классом повыше, чем у Брауна, не говоря уж о том, что это настоящий христианский роман, с глубокой и остроумной мыслью. Речь там идет как раз о фальсификации Евангелия и об отважном атеисте, который с помощью дюжины ученых и одной красотишки эту фальсификацию разоблачает. Но чем дальше он углубляется в козни и хитросплетения врагов, проявляя при этом все высшие христианские добродетели, тем ближе оказывается к Богу. Так что и конце, все вроде бы разоблачив, он как раз уверовал.

Важно, однако, разобраться в другом: возможен ли сегодня конспирологический роман с культуртрегерским подтекстом на материале русской, а не европейской культуры? Отчего же нет,

возможен, и мы вам сейчас предложим схему такого романа. Он будет гарантированно иметь сногшибательный успех, но помнить надо вот что. Во-первых, культового художника-мыслителя того же класса, что Леонардо, в русской истории нет. Во-вторых, роль живописи в нашей культуре играет скорей уж литература, потому что она у нас — самое сильное и массовое из искусств. В-третьих, чтобы быть настоящим бестселлером, современный русский роман должен хоть немножко затрагивать политику — ибо эта сфера нашей жизни сегодня закрыта и темна, а значит, вызывает интерес по определению. В-четвертых, тайный орден в России уже есть, он называется «орден меченосцев», или просто ЧК (именно так его замыслил Дзержинский).

Ну и наконец — легенда о Христе, который якобы женился на Магдалине, в России большого успеха иметь не может. Хотя бы потому, что подавляющее большинство современных россиян Библии толком не читали и в нюансах не разбираются. В основе романа должна лежать другая мифологема — самая устойчивая, самая близкая национальному сознанию. Она заключается в том, что где-то далеко есть другая, правильная Россия. Некоторые помещают ее в Шамбалу, другие — в сибирскую тайгу, третьи — на дно среднерусского озера. И все, чего нам не хватает, находится именно там.

В Третьяковской галерее найден убитым ее смотритель Сомов, тихий старик, никому не сделавший зла, — разве что состоявший в КПСС и служивший в КГБ, но после выхода на пенсию приобщившийся к искусству. Старик замер в нестандартной позе: последним усилием он вытянул руку резко вверх. Рука указывает прямо на картину Васнецова «Три богатыря», под которой старик и лежит в окоченении.

На место убийства поспешно выезжает эксперт из РГГУ Старцев (примерно так, если принять lang как «старину», можно перевести фамилию «Лэнгдон»). Он обращает внимание на то, что смотритель — человек фантастической воли и отличной тренированности — не просто так принял перед смертью столь вызывающую позу и сумел в ней остаться. Ясно, что он указывает на «Трех богатырей». Старцев обращает внимание на неестественное положение левой ноги убитого. Она выгнута таинственным кренделем и указывает ровнехонько на картину Репина «Бурлаки на Волге». Дальнейшее изучение трупа приводит Старцева к совершенно уже сенсационным открытиям: в кармане у смотрителя записная книжка, а в ней — всего одна запись: «! Акчунв теанз есв».

В первый момент Старцев думает, что запись, наверное,

сделана на испанском — ведь восклицательный знак стоит в начале фразы! Но поразмыслив, он не обнаруживает в конце фразы второго восклицательного знака и понимает, что таинственную строчку надо просто прочесть задом наперед! «Все знает внучка!», — читает он. Какая внучка? Чья внучка? Может быть, внучка Васнецова? (Отрабатывая эту версию, он теряет три дня, но внучка Васнецова, живущая в Вятке, не знает ничего; подробно излагается история Васнецова, Вятки, внучки.) Может, внучка Репина? Но внучка Репина, оставив книгу мемуаров, давно умерла.

Из книги мемуаров Старцев вместе с читателем узнает множество увлекательных подробностей жизни великого живописца, но ничего, что проливало бы свет на убийство. Внезапно его осеняет. Вероятно, старик имел в виду собственную внучку! (Читатель давно уже догадался.) Поиски внучки старика ни к чему не приводят: она таинственно исчезла, оставив записку: «Пошла за хлебом». Старцев долго вертит в руках загадочный листок. Что бы это значило?! Внезапно его осеняет ключ к шифру: девушка сначала написала фразу задом наперед, а потом переписала обратно. После двойной дешифровки в руках у Старцева вполне внятное послание: «Пошла за хлебом». Старцев бежит в ближайшую булочную, но там уже никого. Пока он мучился с дешифровкой, магазины уже закрылись.

Тем временем в действие романа плавно вплетается историческая линия. Автор подробно излагает историю о невидимом граде Китеже, в котором было сосредоточено все лучшее, что только имелось в Древней Руси. Там были истинные праведники, самые красивые церкви и несметные богатства, нажитые праведным трудом. Но, как Содом в свое время мог быть спасен одним праведником, — Китеж был погублен одним грешником, который указал татарам путь к заветному городу. Тогда, по молитвам его жителей, земля расступилась и спрятала город. На месте города теперь озеро Светлояр, но некоторым праведникам все же удается попасть в правильное место. Для этого надо умиловить трех стражей озера, но как выйти с ними на контакт, знают только хранители, преследуемые мрачной сатанистской организацией «ЧК», что значит «Черный Крест».

Вернемся, однако, к Старцеву. Изумленный таинственным исчезновением внучки, он устанавливает наблюдение за ее квартирой. Девушка все не появляется, и Старцев в свободное время начинает изучать картины «Три богатыря» и «Бурлаки на Волге». Что у них общего? Волга? (Следует подробный рассказ о рельефе Поволжья.) Но какое отношение к Волге имеют «Три

богатыря»? Это же Киевская Русь! (Пять страниц о Киевской Руси можно перекачать из детской энциклопедии.) Может, Васнецов и Репин — одно и то же лицо? На это указывает явное сходство фамилий (в одном изговоров северного подпензья репу называют васнецом, а васнец, в свою очередь, — репой; что такое васнец, автор должен придумать самостоятельно). Однако этот ложный ход отбрасывается: он ничего не дает Старцеву. В отчаянии он пристально и безнадежно рассматривает картину — и тут в глазах его загорается огонек разума: он заметил! А заметил он, что среди бурлаков легко разглядеть трех богатырей, которые далеко на заднем плане тащат баржу.

Ну и что, думает Старцев, ну и подумаешь, одни и те же натурщики... Но через некоторое время, начав систематически изучать творчество Репина, он обнаруживает, что эти же три лица присутствуют на всех групповых портретах нашего да Винчи: на «Государственном совете», на «Крестном ходе в Курской губернии» — и даже на прославленном полотне «Иван Грозный и сын его Иван», где у Ивана Васильевича эксперт обнаруживает надбровные дуги Ильи Муромца, у Ивана Ивановича — щеки Алеши Поповича, а в углу в виде подписи мелко подрисована ухмыляющаяся рожа, явно напоминающая Добрыню Никитича. Кто эти трое, Старцев понятия не имеет, но внезапно получает электронное письмо с требованием немедленной встречи. Его приглашают в странное, опасное место в такой час, когда простым смертным лучше туда не попадать, особенно на машине. Старший смотритель Третьяковской галереи будет ждать его в час пик на площади Пушкина.

Старцев приходит на площадь и честно торчит там, как идиот, до девяти вечера. Никто к нему так и не пришел. Старцев озадачен. Только тут он обращает внимание на то, что рядом кого-то убили. Вокруг толпится милиция, Старцева просят отойти. Он вглядывается в лицо убитого. Так ведь это же старший смотритель Третьяковской галереи, унесший свою тайну в могилу! Рука его судорожно указывает на что-то. Старцев прослеживает направление. Это памятник Пушкину!

Историческое отступление № 2 посвящено постепенному исчезновению из России всего хорошего. Из страны последовательно исчезли библиотека Ивана Грозного, сокровища Колчака, Янтарная комната, свобода, равенство, братство, порядочные люди, золото партии и копченая колбаса. Автор делает сенсационный вывод, на котором и держится вся философская концепция будущего бестселлера: в природе ничто не исчезает бесследно. И если у нас всего этого нету, то где-то это есть! Может быть, в Америке? (Излагается история открытия

Америки.) Но эта концепция невыдерживает критики: там нет порядочных людей, а значит, все остальное тоже где-то еще. Ненавязчиво автор подводит нас к мысли о том, что все продолжало улетучиваться в город Китеж и где-то там поджидает праведного мужа, которого допустят туда стражи духа.

Старцев тем временем задумывается: Пушкин... Пушкин... (беглое изложение биографии Пушкина можно почерпнуть в открытых источниках). Может быть, Пушкин был женщиной? Старцев сам не знает, почему ему вдруг пришла такая мысль. Вообще-то на это указывает многое: страдая варикозом, поэт смотрела на свои ноги и восклицала: «Ах, ножки, ножки, где вы, где вы!» Потом — у Пушкина было четверо детей, а мужчины, как известно, рожать не могут... В черновиках «Онегина» можно найти упоминания о себе в прошедшем времени, третьем лице, единственном числе, женском роде — но все эти ошибки старательно зачеркнуты. (Можно вписать главу про Пушкинский дом, секс с хорошенькой смотрительницей пушкинских рукописей, версию о том, что Пушкин тайно влюблен в Онегина...)

Вдруг Старцева осеняет: ну и женщина, ну и ладно, и что это мне дает? Наверное, он на ложном пути... Наверное, Пушкин выбран просто как символ русской литературы. Надо перечитать русскую литературу! Названия классических произведений явно должны складываться в таинственную историю, таящую в себе загадку. Старцев комбинирует так и сяк: «Отцы и дети, война и мир, преступление и наказание, в лесах и на горах... Обломов, обрыв, обыкновенная история... Братья Карамазовы, три сестры, мать... Что делать, кто виноват?» Старцев ищет в советском периоде, комбинирует разные названия: «Гвардия и Маргарита... Хорошо в штанах...» Нет, нет. Может, имелся в виду не Пушкин, а просто — памятник? Ну конечно, памятник! Старик хотел сказать, что все дело в памятнике... и Старцев спешит к директору Третьяковской галереи.

«О, молодой человек, вы не знаете, о чем вы просите! — шепчет директор, бледнея, и рисует на бумажке черный крест. — Однако приходите завтра, и я вам все расскажу». Угадайте, что происходит с директором назавтра. Ну и не угадали. Он арестован как сообщник Ходорковского и никому уже ничего не расскажет. «Черный крест» работает тонко, на фиг нам столько мертвяков.

В последнем историческом экскурсе рассказывается о безуспешных попытках экскурсантов, ученых и просто местных поселян обнаружить град Китеж и все, что в нем таится. До сих пор попасть туда удавалось лишь очень немногим, потому что

войти в контакт со стражами Китежа крайне сложно. В следующей части романа Старцев долго думает, при чем тут памятник. Наконец его осеняет (российских детективов всегда осеняет — с логикой у них проблемы): каких памятников в России больше всего? Разумеется, Ленину! И если проследить историю всех памятников с самого первого (установленного в августе 1924 года в сибирском селе Шабановское, следует история памятника), можно точно восстановить направления, по которым надо двигаться по берегу озера! Первый Ленин указывает на юго-восток, второй — на северо-запад, ну и так далее (чтобы проследить хронологию всех памятников, часть которых снесена, Старцев тратит год, думать забыв про внуку; следует пассаж о том, как нехорошо сносить памятники, ведь это часть нашей жизни!).

Под конец, собрав море ненужных сведений, он полностью восстанавливает зашифрованный в Лениных маршрут (даты установки памятников указывают на количество шагов — сообщает Старцеву ульяновский краевед, которого наутро находят до смерти объевшимся грибами) и выезжает к озеру Светлояр, но по дороге на вокзал видит у пивного ларька трех мужчин, поразительно похожих на стражей озера. Все трое оживленно обсуждают судьбы России. Старцев пристаёт к ним с вопросами, получает бутылкой по голове и умирает.

Автор предпринимает самостоятельное расследование и едет к Светлояру с бумагами, оставшимися от Старцева. На этом рукопись обрывается, потому что сам автор внезапно скончался от умственного напряжения — шутка ли, отмахать тысячу страниц такого интеллектуального накала! — а в конце рукописи, как мрачный символ, начертан черный крест. То есть добрались.

К счастью, у автора остался литературный агент, который раскроет в «Коде Репина—2» тайну исчезновения внуки, гибели Старцева и автора. Без сиквела не стоит и браться. А потом, в «Коде Репина—3», можно и агента убрать... Проект лет на двадцать, не меньше. Так что к моменту, когда дело доползет до развязки, все может либо появиться (включая деньги, золото партии и порядочных людей), либо исчезнуть окончательно. В обоих случаях развязка никого уже не будет волновать, так что смело беритесь за дело и принимайте лавры русского Дэна Брауна.

2006 год

Псих-фактор

В начале времен, когда весной 1985 года стал свет отделяться от тьмы, левые от правых, а партия от государства, — запели трубы, грянули барабаны, и вошел историк — главная фигура общественного сознания той поры, и на цепи вел журналиста с блокнотом.

И говорили к нему: научи нас! ибо ты знаешь, как было, а мы — только как нам все ввали. И ого-го, сказал он, как я вам расскажу; и рассказал. Вышло, что ничего не было, а что было — было иначе, и слава незаслуженна, и гордость растоптана, и стала альтернативная история везде, куда ни оборотись.

И был путч, и была инфляция; этап первый.

Но зазвенели бабки, послышалась пальба, и стал рынок, и вошел экономист, главная фигура нового этапа. Говорили к нему: прореки, где хранить доллары! и зачем нужно евро, когда уже есть доллары? и что делать, чтобы не тебя отымели, как лоха, но ты. И ух-ух-ух, сказал он, как я вам расскажу; и многие послушались экономиста, и вложили, и не выложили, и некоторые не выжили.

И был дефолт, и был коллапс; этап второй.

Но забряцал Доренко, замекекал Киселев, и вошел политтехнолог, главная фигура следующего этапа. И говорили к нему: прореки, за кого голосовать? и что есть операция «Преемник», и не пора ли уже валить отсюда? На что говорил: всегда пора, но посмотрите, как будет интересно. Уй-уй-уй, говорил он, как я вам сейчас объясню, что нет никакой реальности, а только один сплошной пиар, и я покажу вам, как его делают, и сделаю вам его, и выберете, как скажу, а потом и смотреть на мир станете моими глазами. И моргал ими, и многие верили.

И был белый пиар, а потом черный пиар, и на оранжевой заре закончился этап третий.

И тогда к согражданам, разуверившимся во всем, — потому что ни историк, ни экономист, ни политтехнолог не принесли им счастья, — вышел психолог и сказал: бя-бя-бя, агу-агу, уси-пуси. И ни о чем не спрашивали его, ибо поняли, что вот оно лекарство. И стало счастье. Так что, если четвертый этап новейшей русской истории и закончится, этого никто уже не заметит.

Во всех российских изданиях к концу года подводят итоги: кто был человеком-2005? Называют Бондарчука, Собянина, даже Путина. Всем, однако, невдомек, что самый стремительный взлет

года — Андрей Курпатов, главный персонаж российского массового сознания, вытеснивший из него не только Сердючку, но даже и Пугачеву.

Этот молодо выглядящий доктор с прической типа «черный одуванчик», с добрыми карими глазами и мальчишеской улыбкой стал самым издаваемым российским автором этого года. У него больше двадцати книг по популярной психологии, изданных совокупным миллионным тиражом. Сдайся, Лукьяненко, замри и ляг, а что сделать Владимиру Леви — я даже не знаю. У Курпатова романтическая биография: он закончил в Питере военно-медицинскую академию. Тяжело заболел, был демобилизован, но не сдался. Все как положено в житиях. Курпатов специализировался в области так называемой адаптационной психологии — изучал способы снятия психологического напряжения в экстремальных ситуациях и закрытых сообществах, и делал это успешно, но после тяжелого гриппа, осложнения которого привели даже к частичному параличу, был, естественно, комиссован вчистую. Заново учась ходить, как сообщают его сайты, Курпатов писал свою первую психотерапевтическую книгу — «Счастлив по собственному желанию». Впоследствии он открыл собственную клинику, а широкую славу принесла ему едва ли не самая рейтинговая программа канала «Домашний». Она называется «Все решим с доктором Курпатовым». И решает.

Трудно представить себе предубеждение более сильное, нежели то, с которым я начал читать труды Андрея Курпатова, которые под разными названиями выходят ежемесячно (хотя основных книг насчитывается четырнадцать — это те, в которых совпадает не более половины текста). Выяснилось, однако, что Курпатов — вполне приличный популяризатор, способный успокоить лучше всякого персена. На экране, пожалуй, он выглядит несколько скованно и улыбается как-то беспомощно, а в книге виден взрослый человек, умело и доступно объясняющий, что такое кардионевроз.

Раньше во всех наших бедах виновата была государственная ложь на всех уровнях, потом — отсутствие рынка, попозже — неготовность населения к столь масштабным сдвигам... и наконец — вегето-сосудистая дистония. С этим коварным, многоглавым врагом Курпатов сражается не на жизнь, а на смерть. Диагноз ВСД в советское время ставили даже чаще, чем ОРЗ, есть он и у вашего покорного слуги, а так как советская и постсоветская жизнь сделали все, чтобы мы с вами выросли людьми тревожно-мнительного склада, симптомы ВСД вроде страхов, панических приступов, сердцебиений и сезонных

депрессий есть решительно у каждого.

Борьбу с гидрой Курпатов начинает с того, что объявляет ее несуществующей: диагноз ставился некорректно, включал в себя что попало, и никакой дистонии в строгом смысле нет. Есть несовпадение наших желаний с нашими возможностями, вследствие чего кардионевроз и развивается. Человеку становится страшно выходить на улицу и спускаться в метро. Он подозревает у себя все болезни, кроме реально имеющихся. Ему кажется, что мир к нему враждебен, а сам он обречен. Курпатов доказывает: не враждебен, не обречен, все нормально! Подозрения напрасны! Прогноз благоприятен, течение ровное, излечение возможно. Если не хватает воздуха — не бойтесь, организм сам себя спасет. Если кажется, что все в организме разладилось, — это просто мозг ничем не занят и поедает сам себя. Переключитесь, и все наладится. А принимать от депрессии лучше всего растительный Негрустин.

Честно говоря, меня мало заботят доходы доктора Андрея Курпатова, хотя доходы эти нешуточные: в связи с бешено возросшим количеством жалоб и обращений он оказывает теперь помощь заочно, получив от пациента анкету с ответами на следующие вопросы:

«Как Ваше общее самочувствие? Бывают ли вегетативные расстройства (сердцебиения, нехватка воздуха, головные боли, жар, ознобы, дрожь в теле, учащенное мочеиспускание, ложные позывы, колебания давления, температура и т. д.). Есть ли хронические заболевания? Попадали ли в больницу, и если да, то вследствие чего и когда? Укажите, какое у Вас преимущественно настроение. Часто ли бывает апатия, тоска, подавленность, тревога, раздражение, перепады настроения? Бывают ли немотивированные подъемы настроения и активности? Как долго они длятся? Какой у Вас сон (засыпание, пробуждения ночью, пробуждения под утро, характер снов, повторяющиеся сны)? Часто ли тянет спать днем? Бывает ли чувство разбитости из-за плохого сна? Какой у Вас аппетит (ослабление, усиление, изменение вкуса)? Бывают ли периоды переедания, сильного голода, потери аппетита, потери или прибавки веса? Изменились ли вкусовые пристрастия? Употребляете ли спиртные напитки?»

Любой, кто мало-мальски знаком с симптомами стойкого невроза (или упомянутой ВСД), обнаружит тут знакомые показатели. Не найти их у себя практически невозможно. Вы

оплачиваете анкетирование (шестьсот рублей), а за две тысячи рублей Андрей Курпатов позвонит вам лично, на стационарный телефон. Нужно ли жалеть такую сумму на восстановление здоровья и работоспособности? Кто из нас не в курсе, что такое паника, ипохондрия или приступы немотивированной ревности?

Повторяю, против Курпатова я ничего не имею и книгу его прочел с живейшим интересом. Меня не личность врача интересует, а симптом. А симптом этот сводится к тому, что все прежние властители дум обучали нашего человека изменять мир вокруг себя. Неважно, удачно или неудачно: оказалось, неудачно, поскольку мир этот неизменен по определению. Никаких усилий Павловского, Белковского, Ясина и Афанасьева не хватит, чего уж нам-то братья. Сегодня же человека учат адаптироваться к миру, изменяя свои представления о нем. Мыслить позитивно. И считать, что прогноз у нас позитивный, а течение нормальное.

Главным бестселлером этого года в интернет-магазинах стала книга Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». То есть это опять-таки не книга, а проект, и о Зеланде известно не больше, чем о Максе Фрае. Рассылать свою книгу он начал по Интернету, фрагментами, то есть, грубо говоря, спамом. Сама многотомная сага об управлении реальностью в точности соответствует уровню сегодняшнего читателя, который тоже, как и в случае с Курпатовым, чувствует несоответствие между окружающим миром и своими представлениями о добре и зле. Ему кажется, что мир устроен несправедливо, что он мог бы жить лучше, питаться сытнее и ездить за границу чаще, не говоря уж про любовь. Но виноваты тут исключительно наши вредные представления — таких умных слов, как «вегето-сосудистая дистония», целевая аудитория Зеланда не знает. Он, правда, любит пугнуть эту аудиторию умственными словами, типа того, что весь видимый мир — *дуальное* зеркало. Дурак дуальному рад. Некий Смотритель поведал Зеланду всю правду, и вот он ее постепенно выкладывает, внушая нам, что мир — пространство вариантов, а стало быть, наше прошлое не единственно. Могло быть и так, и так. (Ну, это-то мы помним: лет пять назад в стране еще хоть что-то выбирали...).

Иными словами, Зеланд учит любить то, что есть: в частности, свое прошлое. Люди, практикующие трансерфинг (то есть снование по реальности туда-сюда в поисках вариантов), уверяют, что окружающие уже на вторую неделю практики начинают относиться к ним гораздо лучше. Это мне, пожалуй, понятно. Я тоже хорошо отношусь к людям, которые не претендуют на мой кусок, а учатся быть довольны тем, что досталось. Вы скажете — бред. Да, бред, и написано как

типичный бред — чуть получше цикла книг о лесной ведунье Анастасии, чуть похуже Кастанеды, из которого Зеланд тырит охотно и щедро. Но если внушить себе, что ты управляешь реальностью, — очень скоро эта мысль начнет тебя тешить, и будет тешить до тех пор, пока реальность довольно жестко не докажет, что она управляет тобой. Ты только почувствуешь, как она берет тебя за... — и сразу разберешься, кто тут управляющий. Однако до этого момента, судя по стабилизации, еще ого-го сколько, а Зеланд издал уже пятнадцать неотличимых друг от друга книг и останавливаться не собирается. На сайте «Трансерфинга» утверждается, что его практикуют уже два миллиона людей во всем мире — куда Курпатову!

Наконец, было бы грешно не упомянуть Еникееву — психолога для тех, кому Курпатов недоступен (он все-таки пишет для средней интеллигенции), а трансерфинг кажется мутью. Каждый психолог окучивает свой участок общественного огорода, и Дия Еникеева обслуживает примерно ту же аудиторию, которая смотрит «Аншлаг». Величайшей несправедливостью было бы думать, что этим людям не нужен психолог. Я рискнул бы даже предположить, что им нужен психиатр, но сами они думают иначе. Пока они смотрят «Аншлаг» — им хорошо. Но с иглы периодически приходится слезать, поскольку круглосуточного «Аншлага» пока не придумали. Тогда начинается ломка, возникает дискомфорт, а если еще, не дай бог, на улицу выйти... Здесь пошатнувшегося пациента подхватывает Еникеева. Кандидат медицинских и доктор психологических наук.

Я очень люблю Дию Еникееву. Личное знакомство с ней показало мне, что она обаятельная женщина, отлично понимающая цену своей славе. У нее книг выходит больше, чем у Курпатова и Зеланда вместе взятых: на данный момент их пятьдесят шесть. Правда, строго говоря, это не книги. Это сборники анекдотов и афоризмов, достойных «Желтого экспресс-мегаполиса», названных, однако, пособиями по психологии. Психологический эффект они в самом деле оказывают: Еникеева — человек с чувством юмора и умеет выбирать смешное из той прессы, которую разносят в электричках. Там же продаются и ее пособия — и против кардионевроза они помогают не хуже, чем советы Курпатова. Потому что главный их пафос сводится к тому же: у вас все хорошо и правильно, а если нет контакта с женой или сыном — то вот вам на эту тему анекдот. Равным образом Еникеева излечивает сексологические проблемы. В ее изложении сексология — это прежде всего смешно. Да ведь так оно и есть на самом деле. Не сомневаюсь, что в оригинале Дия Дэрдовна — действительно ученый, вдобавок сопредседатель Российской

ассоциации сексологов, о которой многие сексологи, впрочем, ничего не слышали. Но ведь не в науке счастье. Курпатов тоже изучал поведение замкнутых сообществ в экстремальных ситуациях — и понял, что у нас как раз такое сообщество и как раз такая ситуация. Вот и оказался востребован.

Добавьте сюда тот факт, что нынешняя власть принципиально закрыта. Сергей Собянин, например, очень гордится тем, что о нем ничего толком не известно, а если вдуматься — знать особо и нечего. Биографии стали на диво стандартны: учился, познакомился, пригодился. В этих условиях на выручку общественному мнению приходит психолог, высасывающий из тщательно обученного пальца психологические портреты. И психологу хорошо, и портретируемому спокойнее: ведь это все домыслы, а не факты. Кто-то — как Леонид Кроль — пишет эти портреты на весьма высоком уровне и умудряется докопаться до тайных пружин; кто-то (имя им легион) отделяется анализом любви к собакам или родителям. Но все это абсолютно безопасно, ибо мы не имеем права знать только о реальном положении дел. А домысливать вправе сколько угодно.

Психолог сегодня — самый частый гость на журнальных страницах, в женском или мужском ток-шоу, в радиозфире. К психологу обращаются со всеми проблемами, считая его спасителем от депрессии и любой физической хвори. Три рецепта выживания в наше время сформулированы тремя его главными героями: 1) спихивание всех своих проблем на дистонию, 2) самоубеждение в том, что реальность тебя слушается и 3) анекдот, если не помогли первые два варианта. К сожалению, все три героя нисколько не задумываются о том, что если две трети страны испытывают беспричинную тревогу и отчаяние — дело никак не в дистонии и не в проблемах с потенцией. Дело в жизни, которая всем вдруг опротивела и никак не желает меняться.

Но вот спросите меня: психотерапия по методу Ленина лучше?

Не убежден.

2006 год

Русская политика есть пьеса. Она разыгрывается в разных декорациях, но без больших композиционных изменений, — случаются разве что стилистические. В четные века — жесточе, в нечетные, когда память еще свежа, — помягче. Вместо тоталитаризма абсолютизм, и вся разница.

Русский мир есть большой зрительный зал, в котором эту пьесу смотрят. Регулярно проводятся кастинги на вакантные роли, чаще на второстепенные, реже на главные. Список действующих лиц известен: в первом действии — революционер-реформатор, во втором — контрреформатор (иногда это одно и то же лицо, которому предоставили шанс показать актерские возможности, сыграв сначала одно, а потом прямо противоположное). В первом действии — поэты-сентименталисты и романтики, во втором — одинокий поэт-государственник. В третьем — дружный хор оттепельных талантов. В четвертом — недружный хор распутных диссидентов. Во втором действии обязателен соратник-отступник, министр или олигарх, низвергнутый в ходе оледенения и высланный, по удачному выражению Владимира Жириновского, «либо в Читу, либо в Лондон». Бывает персонаж, замаливающий грехи юности: когда-то он общался не с теми людьми, но теперь решил стать святее Папы Римского и всех друзей сдал, да и вообще превратился в цербера. Почти у всех русских охранителей было революционное или, по крайней мере, негосударственническое прошлое.

Это не очень интересная, довольно кровавая и не самая оптимистическая пьеса. Она говорит о человеческой природе достаточно горькие вещи, доказывая, что без христианства ничего хорошего не построишь. Она доказывает, что люди, лишённые нравственного стержня, с поразительной легкостью предают себя и друг друга. Правда, у нее есть ряд преимуществ: первое действие играется в стилистике романтической, второе — в ампишной, третье — в барочной, четвертое — в стиле грубого, грязного реализма. Приключения жанра всегда заняты.

В этой пьесе давно расписаны все реплики: всегда знаешь, когда заговорят о «врагах», а когда — о «конвергенции». В ней есть одинокие монологи на авансцене и шумные массовые сцены, в которые вовлекается весь зал. Случается, что страдает не только массовка, но и значительная — до трети — часть зрителей. К

сожалению, или к счастью, зрители плохо обучаемы и никак не могут запомнить, что в первую очередь во время массовых сцен страдают те, кто сидит ближе к сцене, в первых рядах. Это не мешает всем ломиться в партер. Никуда не двигается только галерка — она сидит себе там и подсвистывает, зная, что занятие это сравнительно безопасное. Иногда, в первом или третьем действии, она умудряется свалить в цирк или мюзик-холл (во втором, консервативном, театр оцеплен).

Большая часть зрителей не рвется участвовать в кастингах и не очень внимательно смотрит пьесу. Она знает, что в первом действии артисты будут распродавать часть сценического антуража, и можно быстро прихватить комод или портьеру, но во втором артисты чаще всего отбирают реквизит, так что и суетиться не обязательно. Отбирать будут так же грубо и решительно, как раздавали. В первом действии обычно говорят: «Берите, сколько сможете взять». Во втором — «Отдайте все, что сможете отдать». Согласитесь, это совсем другое дело. В третьем — извиняются перед пострадавшими, а в четвертом — публика сама тырит все, что плохо лежит, потому что на сцене царит маразм, и стащить реквизит нетрудно. Но он уже такой ветхий, что суетиться опять-таки незачем.

Именно неучастие зрителей в ходе пьесы приводит к тому, что театр, как на Бродвее, показывает ее раз за разом без особенных изменений. Актеры быстро устают, им самим уже не хочется репрессировать или отбирать. Но в ремарках написано: «отбирает», «репрессирует». Приходится соответствовать, хотя и спустя рукава. Пьеса играется в последнее время так халтурно, что никто из исполнителей уже не верит ни одному собственному слову. В антрактах артисты подмигивают залу, в паузах перехикиваются с ним. Но в зал никто из них не спускается: тот, кто побывал под софитами, никогда не вернется в темноту по доброй воле. Некоторых ссылают обратно в первые ряды (или даже на галерку), но обычно артист, уходя со сцены, исчезает в кулисах навсегда, и тьма смыкается за ним. Впрочем, публику из первых рядов это не останавливает: она по-прежнему рвется на роль Вождя Молодежи или Главного Теоретика.

Конечно, если бы публика приняла участие в представлении, она могла бы проголосовать за другую пьесу. Например, за «Вестсайдскую историю», «Французскую любовь», «Варшавскую мелодию»... Но она смотрит «Русскую трагикомедию», потому что ни выбирать, ни голосовать не любит. Большая часть зрителей, если честно, вообще давно уже занимается своими делами, не обращая на пьесу особого внимания. Шуршит бумажками, обменивается биноклями, дерется, пересмеивается, курит. На

сцене тоже не особенно заботятся о зрителе и не снисходят до того, чтобы обеспечивать обратную связь. Иногда — в эпизоде «Голосование» — небрежно считают небрежно поднятые руки в первых рядах, а потом так же небрежно пишут на специальной доске все, что захотят. На галерке посвистят и перестанут.

Такая трактовка русского политического, да и общественного, и литературного, и всякого иного процесса снимает любые вопросы о том, почему одни и те же люди в 1917-м или 1991 году дружно требуют свободы, а пятнадцать лет спустя так же дружно лобызают ярмо. Почему они с такой легкостью аплодируют людям, говорящим взаимоисключающие вещи. Почему они немедленно забывают низвергнутых кумиров. А заодно — почему наибольшей популярностью у публики пользуются самые бездарные и наглые фигляры.

Дело в том, что всерьез относиться к актеру нельзя, и сам он к себе так не относится. Когда в Алжире зритель застрелил артиста, игравшего злодея, и был за это казнен, их похоронили рядом, поставив памятник: «Лучшему актеру и лучшему зрителю». В России тоже есть такие зрители, но их мало. Большая часть зрителей отлично понимает, что в гримерке артиста ждут сосиски и кефир, или не кефир, и когда представление прервется на ночь, он все это съест и выпьет, а зрители перекусят в буфете и уснут прямо на стульях, чтобы завтра смотреть пьесу с начала. У наиболее громогласных артистов есть поклонники и даже фанаты, но и самый яростный фанат отлично понимает, что артист не разделяет чувств своего героя; что у героя-любовника жена и трое детей, а у правдолюбца и семьянина пять малолетних содержанок. Убивают, правда, по-настоящему. Но судя по тому, что поток желающих из первых рядов не иссякает, некоторым это нравится.

Зритель не гонится за правдоподобием. Правдоподобия ему хватает в зрительном зале. Зритель любит, когда громко, шумно и пафосно. Когда в первом действии артист яростно дерет глотку за свободу, а во втором поступает ровно наоборот, никто не упрекает его в лживости, потому что это от него и требуется. Ему, так сказать, за это платят. Иногда кто-то с галерки кричит «Не верю!», но он просто не понимает природы театральной условности. Верить — не надо. Надо смотреть.

Вопрос о том, почему зрителю не хочется посмотреть другую пьесу, неуместен. Ему не хочется смотреть никакую. Но раз уж он родился в театре — в гулком помещении, где есть плохой буфет, холодный темный зал и небольшая освещенная площадка, — он хочет, чтобы актеры бегали по сцене и его не трогали. Он занят, потому и не вмешивается в пьесу. Вопрос только в том, чем он

занят. Кто ответит на этот вопрос — поймет главную и единственную загадку русской истории, но ответа нет, и вряд ли появится.

II

А между тем это вопрос не праздный; может быть, единственный.

Любой, кто бывал на приеме у местного врача, знает, что этого врача, как правило, больные только раздражают. Они отвлекают его от чего-то главного, заветного, понятного ему одному. Все эти люди — по большей части старые, уродливые, сырые, со своими зловониями, жалобами и прочими глупостями — заслоняют ему прекрасную перспективу, лишают возможности всецело предаться тому единственному, для чего он родился. Он проклинает работу, выбранную только для заработка, и хочет как можно скорее вернуться к заветному. Между тем, как только вы его оставите в покое, он не будет заниматься ничем, во всяком случае, ничем очевидным. Вероятно, это будет исключительно тонкий процесс, сродни творческому, природы которого он и сам вам не объяснит; но это «что-то» он будет делать со всей страстью, отчетливо понимая, что это и есть его настоящее дело. Внешне это будет выражаться в том, что он будет лежать на диване перед телевизором и читать газету; но это-то и должно навести вас на мысль, что газета и телевизор существуют только для маскировки. Нельзя же одновременно смотреть и читать, особенно если читать и смотреть абсолютно нечего! Человек, лежащий с газетой перед телевизором, занят чем-то исключительно важным и тайным, но нам, с нашими убогими органами восприятия, этого не понять. Мы можем это постичь только по аналогии, потому что мы сами такие же. Самый точный анекдот об этом — про пьяницу, который лежит в луже и на просьбу маленького сына: «Папа, сделай мне свисток!» — бурчит: «Да, сейчас брошу все и пойду делать тебе свисток...» Между прочим, все правильно. Человек в луже делает что-то бесконечно более важное, чем свисток, но что это — ответить не сможет: в земном языке нет слов для этого.

Эту превосходную черту русского чиновничества подметил еще Достоевский в «Дневнике писателя»: чиновник общается с вами так, как будто вы бог вещь от чего его оторвали, помешали решать мировые судьбы, хотя на самом деле в ваше отсутствие он так и сидел бы неподвижно, «сосредоточив взгляд свой странный

в какой-то непонятной точке» (А. Добрынин). Точно так же смотрит на вас любой, от кого зависит в данный момент ваша судьба: железнодорожный кассир, топ-менеджер, непосредственный начальник; даже милиция бьет вас по почкам словно нехотя, особенно раздражаясь от того, что, вот, приходится бить вас по почкам, а можно было бы... Что можно было бы?! Этого не скажет вам никто, в том числе вы сами, хотя постоянно отрываетесь от работы под любым предлогом: либо раскладываете компьютерный пасьянс, либо звоните другу, которого сто лет не видели и еще бы сто лет не видеть, либо просто таращитесь в никуда. Но именно в этих паузах и заключен смысл вашей работы: «Больше всего делаешь, когда ничего не делаешь», — сформулировала Ахматова, самый русский из русских поэтов столетия.

Недеяние — важный жизненный принцип русского человека, хотя это, конечно, не самое точное слово. Недеяние предполагает праздность, а русский человек в моменты кажущегося безделья как раз что-то упорно и сосредоточенно делает, но это «что-то» не может быть описано грубыми материалистическими терминами. Думаю, это разновидность особенно тонкой связи с миром, которую и сам связывающийся не всегда осознает. В любом случае всякое человеческое действие так или иначе разрушает прекрасный, данный нам в пользование, совершенный и гармоничный Божий мир. Вероятно, главная функция русских на Земле как раз и заключается в сохранении ее гомеостазиса, status quo, в незыблемости каких-то коренных установлений. Прочий мир куда-то движется — и это движение почти наверняка приведет к концу; русский мир застыл в своем театре — и это единственное, что удерживает Вселенную от краха. Роль балласта на мировом корабле кому-то покажется унижительной, хотя, на мой взгляд, ничего унижительного в ней нет, но такой читатель может предложить другой термин. Важно одно: для русского человека лучше ничего не делать (и заниматься в это время тонким самоусовершенствованием), нежели делать и тем предавать свою бессмертную душу.

Причины этого суть многи: во-первых, любой результат трудов, в силу устройства нашего театра, в любой момент может быть безвозмездно отчужден. Такое отчуждение случается раз в сто лет, а иногда и чаще. Кулак и батрак уравниваются, купец и грузчик меняются местами, бывший ничем ненадолго становится всем, а потом возвращается в ничто уже окончательно — словом, и так и сяк лучше выходит не суетиться. Во-вторых, русская конъюнктура меняется так, что все, считающееся сегодня хорошим, завтра автоматически окажется плохим: в результате

сегодня вы передовик и ударник, а завтра сатрап и идиот. В-третьих, Россия очень зависима от привходящих обстоятельств: только что ваш труд имел смысл, но вот пришло новое сообщение или распоряжение — и все, что вы делали, надо остановить и забыть. Дело в том, что всякая работа здесь тоже ситуативно обусловлена: нельзя просто делать что-то хорошее, так не бывает. В России нет вещей объективно хороших и объективно плохих: даже вера в Бога может быть вменена вам в преступление, что уж говорить об отношении к конкретному человеку! Раз в сто лет, на протяжении пьесы, обязательно окажешься прав: прав будет и тот, кто ворует, и тот, кто массово репрессирует, и даже тот, кто сидит на галерке, посвистывая (грубо говоря, он прав всегда). Поэтому если вы, допустим, строгаєте палку, то с точки зрения одних людей вы коллаборационист, а с точки зрения других — корыстолюбец, ничем не брезгующий ради личного обогащения. Очень трудно найти в зале зрителя, с чьей точки зрения вы просто строгаєте палку. Еще труднее найти человека, заинтересованного в том, чтобы палка была выстругана. Все, что в России должно быть сделано, делается само, не благодаря, а вопреки усилиям. Все, что не должно быть сделано, несмотря на любые усилия, сгниет и сгинет, как следы героически проложенной железной дороги за год исчезают в траве.

Большинство действий, которые навязаны местным чиновникам, бюджетникам и простым работягам, совершенно бессмысленны: их можно было произвести с куда меньшим напряжением, но в России все совершенно сознательно устроено так, чтобы результат труда был минимален, а затраты максимальны. Человек, работающий много, обречен всю жизнь оправдываться; человек, двадцать лет снимающий одну картину, пишущий одну книгу или не делающий ровно ничего под предлогом напряженных духовных исканий, становится культовым героем. Если бы Норштейн снял столько, сколько Миядзаки, его считали бы продавшимся масскульту. Если человек умеет чуть больше, чем требует профессия, его дружно осудят за неформат. В сущности, вся российская система устроена так, чтобы жители страны работали как можно меньше. В этом смысле лозунг эффективности, навязываемый нам в последнее время, неорганичен, но понимать его надо специфически: ведь сторонники эффективности первыми стремятся нейтрализовать тех, кто имеет талант к какому-либо делу. Тех же, кто умеет имитировать деятельность, поднимать вихрь и создавать суету, менеджеры используют весьма активно, ибо нуждаются в дымовой завесе для консервации существующего порядка вещей. Любая революция в первую очередь уничтожает тех самых

трудящихся, во имя которых делается. Это повторяется с таким постоянством, что требует изучения — если, конечно, мы хотим получать от своей истории эйфорию, а не депрессию.

III

Возникает естественный вопрос: чем должен зарабатывать правильный русский человек?

Ответ: Россия в этом смысле действительно Божья, потому что правильный русский человек должен доверять Богу. А Бог содержит же птиц небесных, которые не сеют и не пашут: не лучше ли мы птиц небесных? Автор этих строк многожды замечал: чем больше он над чем-нибудь трудится, тем меньше за это получает, а то, что не стоило ему вовсе никаких усилий, напротив, приносит деньги, вполне достаточные для поддержания жизни.

На одной творческой встрече мне задали вопрос: «А что вы делаете, когда вам категорически не хочется писать?» Я начал было делиться нехитрыми рецептами — типа сочиняю всякий бред, пока инстинкт чисто механически не заставит пальцы напечатать что-нибудь внятное, — но вдруг неожиданно для себя честно признался: «Вообще-то, когда очень не хочется, я ничего и не делаю». Этот ответ вызвал бурные аплодисменты — все присутствующие, видимо, поступают так же, ибо человек способен воспринять лишь то, что и сам давно практикует, не отдавая себе в этом отчет. Есть гениальная формула Григория Сковороды: «Благодарение Богу, создавшему все нужное нетрудным, а трудное ненужным». Поскольку в России — в силу климатических и политических условий — трудно почти все, то, стало быть, почти ничто и не нужно. А нужно то, чем русский человек готов заниматься всегда и с радостью: размножение, изменение сознания (при помощи алкоголя, а не разрушительных наркотиков), сочинение бесполезных текстов, дружеское общение, медитация. Это и есть русское дело, плюс то таинственное, что все мы делаем, когда им заняты. Перефразируя Стругацких, я полагаю, что в эти минуты мы думаем мир; что весь остальной мир, собственно, и является плодом воображения русского человека, его тихой и меланхолической задумчивости, от которой нас лишь отвлекает суетливая повседневность.

Прав человек, которому не хочется идти на выборы или митинги. Прав и тот, кому хочется идти на митинг, ибо этот митинг отвлекает его от ненужного труда (но первый более прав,

ибо воздерживается и от труда, и от митинга). Прав человек, лежащий на печи: от его лежания на печи для человечества больше пользы, чем от несчастного живого механизма, завинчивающего болты на конвейере. С этого конвейера сойдет машина, которая изгадит мир выхлопами, кого-нибудь задавит или кого-нибудь доставит не туда. «Не туда» — потому что любое место, кроме лежанки, является ложным адресом: нигде больше не будет хорошо. Нельзя называть это русской ленью: русский человек ни в коем случае не ленив. Он страшно трудолюбив, ибо нет ничего трудней сосредоточенности. Но результат его труда неочевиден и тонок, и потому Запад, стремительно летящий в свою бездну, тщетно завидует нашей медлительности. Он движется очень быстро, но к пропасти; мы движемся по кругу, но этот круг переживет всех.

И не нужно отвлекать зрителей от тех странных перешептываний, задумчивого шелеста или просто неподвижной медитации, на которых они сосредоточены на всем протяжении спектаклей. Там, на сцене, гремят витии, идет журнальная война, а в глубине зрительного зала вековая тишина, нарушаемая лишь смешками на галерке. Эти смешки тоже зачем-то нужны: все лучше, чем перестраивать театр.

Перестроить его нельзя. Он рухнет.

Это же относится к мирозданию в целом.

2007 год

Из всей русской прозы семидесятых Трифонов остается самым непрочитанным и потому притягательным автором: даже великие Шукшин и Казаков на его фоне одномерны. Боюсь, не только читателю (в силу причин объективно-цензурных), но и самому себе он многое недоговаривал — был шанс договориться до вещей вовсе уж неприемлемых, ни для его круга, ни для собственного душевного здоровья. Трифонову очень нужен был критик, который бы ему объяснил его самого, — но в семидесятые критика была гораздо хуже литературы (отчасти потому, что лучшие силы были вытеснены в литературоведение). Думаю, один Аннинский мог бы тут разобраться — но как раз о Трифонове он написал немного.

Поражает в его прозе прежде всего несоответствие между «матерьялом и стилем», по формуле Шкловского, или, точнее, между материалом и уровнем. О таких мелких вещах нельзя писать великую прозу — а у Трифонова она была истинно великой, во всяком случае, начиная с «Обмена» (1969). Даже такие мудрецы, как Твардовский, поначалу не поняли замысла, достаточно очевидного для любого вдумчивого читателя: Трифонов сам в «Записках соседа» с некоторым изумлением цитирует совет главного редактора «Нового мира» — *«Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском — претензии на что-то большее... Вот вы подумайте, не лучше ли убрать»*.

Слава Богу, Трифонов «был убежден в том, что убирать нельзя». Во всех «Городских повестях» история присутствует напрямую, по контрасту с ней и становится ясна душная ничтожность мира, каким он стал. Трифонов ненавидел, когда его называли мастером «бытовой прозы», резко говорил в интервью, что бытовой бывает сифилис, и городская его проза, несомненно, не о быте, а скорее об отсутствии бытия. На эту формулу он, вероятно, тоже обиделся бы, одна цитата из его интервью прямо отвечает на это предположение:

«Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением: они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть. Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую, а они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды. Между прочим, критики такого рода есть не

только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься: вот уж поистине умение видеть *то, чего нет!*»

Но здесь описан совершенно правильный способ читать трифоновскую прозу, и в его обычной зашифрованной манере ключ указан недвусмысленно. Страшная густота, плотность, точность трифоновского «бытовизма» особенно наглядна на фоне его вечной тоски по живой истории, по осмысленному бытию — и потому в «Обмене» присутствует поселок красных партизан, и мать героя, старая коммунистка, выступает олицетворением совести. Это ведь она сказала — «Ты уже обменялся». А Ребров из «Долгого прощания» занимается нечаевцем Прыжовым и Клеточниковым, агентом народовольцев в Третьем отделении, и вообще историей народовольчества, о котором Трифонов напишет в 1973 году совсем небытовое «Нетерпение». А в «Старике», романе, получившемся из двух отдельно задуманных повестей, тема борьбы за место в дачном кооперативе проходит на фоне гражданской войны, мироновского восстания на Дону; а Сережа из «Другой жизни» занимается все той же историей провокаций, историей Охранного отделения (о которой Юрий Давыдов в это же самое время писал «Глухую пору листопада», ставя диагноз не столько той, сколько своей собственной эпохе). История и придает коротким трифоновским повестям их знаменитый объем.

Поэтика Трифонова — по преимуществу поэтика умолчаний. Его тоска — тоска по действию. Ужас «Предварительных итогов» — вероятно, самой беспросветной повести цикла — в том, что даже уход героя из семьи не состоялся, даже иллюзия поступка невозможна, все вернулось на круги своя. А ведь мир уже выродился — в нем не осталось места ни состраданию, ни любви, ни элементарному такту. Весь Трифонов — о внеисторическом существовании; и тут возникает вопрос — он что же, предпочитал коммунаров?

Получается так.

Но ведь в это же время многие их предпочитали, большая часть шестидесятников, коммунарских детей. И Окуджава пел «На той единственной Гражданской...» Напрямую оправдывать комиссаров было как бы не комильфо, потому что все помнили, чем кончилось комиссарство, и считали террор тридцатых прямым следствием революции, да и гражданская война была, прямо скажем, не бескровной. Но идея свободы витала, и Давыдов писал о народовольцах, Икрамов — о декабристах (его детский роман «Пехотный капитан» был настольной книгой для

нескольких поколений), а Мотыль о тех же декабристах снимал «Звезду пленительного счастья», а Окуджава писал «Глоток свободы» и «Кавалергарда век недолог»... Никому не было дела до того, что из освободительного движения в России получается новое, усиленное тиранство: оно в России получается из всего. Вячеслав Пьецух в «Роммате» показал это очень убедительно и декабристскую романтику как бы развенчал — но вот именно «как бы». Потому что ценность декабризма не в «Русской правде» и не в утопических идеях государственного переустройства, и не в том, что Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Ценность его — в самоотверженной, самоубийственной готовности взять и переломить историю; а поскольку результат всегда более или менее одинаков — приходится ценить вот эту декабристскую готовность прати против рожна, то вещество идеализма и нонконформизма, которое при этом выделяется. Трифонов готов был оправдывать комиссаров — во имя отца, которого обожал, во имя поколения, к которому принадлежал. Это было поколение, воспитанное и в комиссарских идеалах, описанное в «Доме на набережной» с откровенной, несвойственной ему прежде нежностью. Антон Овчинников (списанный с Льва Федотова) — это и есть идеальный гражданин будущего, этот сочинитель романов, любитель оперы, инициатор непрерывных испытаний на храбрость и прочность. Это поколение — 1924–1925 годов рождения — было выбито почти поголовно. Но уцелевшие создали великую науку и не менее великую литературу.

Я позволю себе здесь небольшое отступление, но это как раз метод Трифонова — отступить вдруг в сторону, подложить фон. Недавно значительная часть российского Интернета бурно откликнулась на смерть новгородского национал-социалиста — он сам себя так называл, никакого ярлыка я ему не клею. Он погиб от внутреннего кровоизлияния (неясной этиологии) — и многие сочувственно цитировали его стихи, а попутно рассказывали о том, как сильно на них повлияли его фэнтезийные циклы. Все эти стихи, а равно и циклы, чрезвычайно предсказуемы и с точки зрения эстетики безнадежны: ледяные цветы, Валгалла, ненависть к будням, к быту и обывательщине, ко всему вообще, в чем есть корни «быть», «бывать»... Само собой, проклятия в адрес «черных», тут же и сказка о далекой планете, о беглом рабе, который, подобно Волкодаву, долго томился на каторге, но предпочел свободную гибель рабской жизни... Об этой категории мифов довольно много написано в «ЖД», вся эта ориентация на Север часто описывалась и представляет интерес главным образом для тех, у кого проблемы со вкусом (все это

никак не отменяет моего уважительного интереса к автору самой «Ориентации», но это все-таки другой уровень). Что больше всего поражает — так это участие покойного автора во вполне серьезной дуэли с другим сочинителем, причем ради нее он специально приехал в другой город. Проигравший должен был отказаться от литературного творчества. Вот ведь люди, серьезно относятся к литературному творчеству! Не на жизнь, а на смерть! Особенно странны были — на фоне всех этих смертоцентричных призывов — отзывы о новгородском медике как о человеке добром и мягком, немного наивном.

Все это я вполне допускаю. Не только потому, что он скорее теоретик национал-социализма, нежели его практик (практики прозы не пишут), и даже не потому, что национал-социализм мне в какой-то степени близок. Не близок, и омерзителен, и само употребление этого слова в качестве личной идентификации должно бы караться по закону. Но у этого человека была возможность эволюции, и мне было бы о чем с ним спорить. А периодически встречающиеся на моем пути мальчики из «Молодой гвардии» или «Наших», которые в открытую признают, что никаких идеалов у них нет, а есть только жажда встроиться в вертикаль, — исключают всякую возможность для диалога, потому что это существа из другого мира, и вот их-то я по-настоящему боюсь. Страшно сказать, но они и есть герои Трифонова в их новой модификации: люди, для которых идейная составляющая жизни не существует в принципе. Это живые трупы, андроиды, инопланетяне — назовите как хотите; но между отвратительным мне человеком и непонятым мне инопланетянином есть принципиальная разница. Человек имеет понятия о добре и зле, верхе и низе; он сформировался в отвратительное время, и его ответом на торжество блатных ценностей стала апология Космического Холода; это мне противно, но я могу это понять. А человек, рассказывающий о том, как он за деньги устраивает в стране политическую жизнь, — инопланетянин. Он за те же деньги будет и меня уничтожать, а потом на полном серьезе объяснит, что это была такая игра, свои же люди.

На эту же тему я недавно заспорил с близким другом и коллегой — речь шла все о том же пресловутом русском нацизме. Я заметил, что одно официальное молодежное движение — фашизм без идеологии, но это только делает его страшней. Друг мне снисходительно пояснил, что от госмолодежи нет никакого вреда, потому что они только орут лозунги и пьют пиво — а скинхед может и убить. И вот здесь я возражу: госмолодежь как раз, если прикажут и заплатят, может убить. Понятия совести у

нее нет в принципе. А идейный нацист может стать столь же идейным антинацистом, и наоборот; его эволюция не окончательна; им движут не только животные стимулы, и совесть для него — не пустой звук. Короче, человек, вдохновляющийся надличными критериями, как раз двадцать раз помедлит, прежде чем убить: для него существуют табу. А циник-прагматик, конечно, не будет мочить без особой необходимости — но если такая необходимость возникнет, надеяться на его сострадание бесполезно. У него в мозгах нет винтика, отвечающего за сострадание. Прагматизм, навязываемый нам сегодня в качестве государственной идеологии, как раз и есть отказ от любых ценностей, кроме материальных. И для него принципиально важно внушить, что любая идейность рано или поздно ведет к трупам, кровавым рекам и гекатомбам. Так вот: идейность к ним может вести, а может и не вести. Но прагматизм приводит стопроцентно — потому что милосердие, великодушие, способность поступать против собственной выгоды в его парадигму не вписываются принципиально. Лучше сколь угодно дурной человек, чем нелюдь, самое присутствие которого заставляет меня, как собаку, скулить, щериться и в конце концов вцепляться ему в горло.

Трифонов задолго до девяностых-нулевых обозначил их стержневой конфликт, хотя и предсказуемый, но для России все же принципиально новый. Поэтому я и говорю о том, что советское — при всех его минусах и плюсах — было естественным продолжением русского, а вот постсоветское пришло откуда-то из другого пространства, это явление совсем иной, небывалой еще природы. В России побеждали те или иные идеи, но никогда еще не было так, чтобы само наличие идей объявлялось опасным и катастрофическим; никогда не было эпохи, когда конформист, карьерист, ловчила представлялся менее опасным, чем борец, потому что борец, видите ли, крови жаждет, а ворюга все-таки милей, чем кровопийца. Весь Трифонов — о том, как убивает, мучает, корежит людей отсутствие идеи, как они убивают и унижают друг друга, побуждаемые к этому не сверхидеей, не внеположной ценностью, а банальной и уютной жаждой покоя и сытости.

В «Доме на набережной» он не случайно свел антагонистов — Глебова и Ганчука. Глебов, он же Батон, — вообще-то добрый, свойский малый, абсолютный конформист, Молчалин, девушки таких любят. Вот Соня Ганчук и полюбила его, что ж такого, естественное дело. А ее отец профессор Ганчук — тот еще фрукт, в литературоведении шашкой махал, сколько покореженных судеб на его совести. Но вот приходит момент ниспровергать

Ганчука — за «отдельные ошибки». А Глебов — жених Сони, и от него-то естественно было бы ждать, что он вступится за старого профессора. Но ничего подобного — Глебов ведь конформист, идей у него нет по определению. Где ему вступаться за Ганчука, который вдобавок сам в свое время никого не щадил! И Соня гибнет, пусть и несколько лет спустя, — потому что это он надломил ее и довел до безумия, он, Глебов, не-боец, тихий Батон. И на чьей стороне тут симпатии Трифонова — совершенно очевидно: лучше быть борцом, коммунаром, героем или антигероем, но существом с порывами и со своей правдой. Для него, как для Ганчука, возможна эволюция, в нем есть место для жизни духа. И потому «Отблеск костра» — повесть о поколении отцов — хоть и рассказывает об ошибках и самоуничтожении этого поколения, но и оправдывает его. А «Нетерпение» — с твердым пониманием всех грехов и пороков народовольчества — недвусмысленно противопоставляет людей идеи людям быта, и противопоставление — особенно если вспомнить контекст, в каком «Нетерпение» появилось, — выходит отнюдь не в пользу семидесятников XX века.

Наиболее принципиальным высказыванием Трифонова о русской революции должно было стать «Исчезновение» — роман с названием, почти синонимичным «отсутствию», тому самому отсутствию просвета, надежды, чуда, о каком и вся его городская проза. «Другая жизнь» — это подлинно другая жизнь, наставшая в стране, лишенной ориентиров. Она наступила скоро. «Исчезновение» — книга не только об исчезновении отца и многих других отцов из «Дома на набережной». Это книга об исчезновении смысла, о постепенном размывании его. В каком-то плане это книга о соотношении советского и русского, о главном вопросе, который больше всего занимал позднего Трифонова: советское — это зигзаг в сторону, злокачественная опухоль истории? Или это великий шанс, которым страна не воспользовалась? И выходило у него — что великий шанс; что люди изломали и предали себя, но революция выковала великое поколение, и следующее ее поколение тоже было великим, а быт сожрал, а проклятое воровство догнало, а человеческое отомстило. Ведь почему Арсений Иустинович Флоринский сживает со свету старых большевиков? Потому что один из этих старых большевиков, член реввоенсовета Баюков, отказался спасти от расстрела его двоюродного брата Сашку Бедемеллера, повинного в вымогательстве и грабеже населения. «Мы можем простить любого, но не чекиста». Вот этим людям, железным, и мстит Арсений Флоринский, превративший свою квартиру в музей, гордящийся красавицей-женой, прислугой и подносом с

закусками, «нагруженным, как подвода».

Трифонов тосковал по сверхчеловеческому, по великому. Он таким запомнил отца. Он такими видел друзей по «Дому на набережной» — поколение людей, постоянно себя закаляющих и готовящихся к великому. И душу его непрерывно оскорбляли другие люди, которые выросли вместо них. И вовсе не был случаен в его биографии прямой, примитивный, жестокий герой «Студентов» Вадим Белов — от которого любого современного читателя стошнит. Белов как раз — типичный коммунар, лобовой, нерассуждающий. Но это и есть положительный герой раннего Трифонова, правильный человек его поколения. Мы потом узнаем беловскую принципиальность в неудобном Реброве, а в Сергее Троицком из «Другой жизни» она смягчена, припрятана — в том и исток его внутреннего конфликта, и причина ранней гибели. Герой «Времени и места» будет уже заражен тем, что он впоследствии назовет «Синдромом Антипова» — страхом перед жизнью. Этот страх потому в него и вселяется, что все уже растлено, заржавлено, подточено энтропией — жизнь вырождается на глазах. Поневоле начинаешь искать правды в героях народовольчества.

Трифонов писал в самом деле слишком сильно, емко, глубоко, — чтобы разменивать такой пластический дар на описания кухонных посиделок, сомнительных сделок, многоходовых обменов или доморощенной мистики вроде спиритического сеанса, на котором вызванный Герцен безграмотно признается: «Мое прибежище река». Сам стиль его прозы, в особенности поздней, до перенасыщения укомплектованной намеками, отсылками, цитатами, само богатство подтекстов, заставляющее читателя привлекать для интерпретации текста чуть ли не весь массив русской истории и литературы, — вызывают к более адекватному, более серьезному материалу. Мысль, которой был одержим Трифонов, была слишком масштабна и дерзка, чтобы признаться в ней даже самому себе, — и тем не менее с его страниц она считывается недвусмысленно: величие — не соблазн, а долг. Стремиться надо к сверхчеловеческому, несбыточному и недостижимому. Тот, кто дает внушить себе, будто любая идея ведет к крови, а любой идеализм чреват садизмом, — попросту расписывается в трусости и лени. Проза Трифонова трагична именно потому, что всякий подобный порыв обречен — но это не значит, что он отменен.

Сегодня вроде бы опять начали читать, вспоминать, экранизировать Трифонова — сделали даже сериал по «Дому на набережной», бесконечно далекий, конечно, от духа и даже канвы этого текста, хотя самое ценное в нем — его фактуру, плотность,

гущину — телевидение вообще передать не в силах: это сумел только театр на Таганке, и то не стопроцентно. Трифонову подражают чисто внешне: пытаются имитировать его длинную, насыщенную, разверстанную на целую страницу повествовательную фразу, — но там, где у Трифонова насыщенность, лавина вещей, фактов, реалий, у его эпигонов жиж, эмоциональный перехлест и самоподзавод. Трифонов учит зоркости к жизни — но это зоркость истинной ненависти: реальность надо ненавидеть, только это заставляет провидеть в ней зарницы иной, высшей действительности. И потому совершенно прав Лев Мочалов, назвавший прозу Трифонова «советским символизмом» — символизма ведь не бывает без идеалов. И недоговоренности возникают не потому, что на писателя давит цензура, а потому, что сама реальность — недоговоренность, недомолвка. Она вот-вот отчетливо отрапортует о существовании иного пласта, изнанки вещей, — но всякий раз сбивается. Нужен Трифонов, чтобы это считать, и воспитанный читатель семидесятых, чтобы его понять.

Вот вам и ответ, почему сегодня нет бытового реализма той степени точности, какую мы помним по Трифонову. Потому что идеал скомпрометирован, мы отвыкли его видеть и привыкли думать, что за него вечно надо расплачиваться большой кровью. Меж тем большая кровь уже льется, жизнь истекает бессмысленно и беспощадно, и некому ее остановить, потому что незачем.

«Поэтому никому ничего не надо», как заканчивается первый абзац «Времени и места».

2007 год

Вещь в русской литературе — да и в истории, ибо это связано, — проходит через три диалектические стадии: утверждение — отрицание — реванш. Мстит она страшно, постепенно вытесняя все остальное.

Это примерно как с отвергнутой в молодости любовью, которая потом властно напоминает о себе, заставляя все порушить к чертям: в юности ты еще мог ей сопротивляться, но в зрелости силы не те. Я знал много семей, разрушенных такими возвращениями. Классическая история: по молодости лет был безумный роман, герой почувствовал в героине серьезную разрушительную силу и вовремя смылся, потом затосковал по небывалым физическим ощущениям, надежный брак надоел, — он начинает искать былую возлюбленную, находит ее, как правило, в полном ауте, поскольку при ее стратегии ничего другого ей не остается, она рушит все вокруг и в конце концов себя. Поднимает ее из праха. Воссоединяется. Тут-то она сжирает его и все, что у него есть. В литературе, насколько я знаю, эта ситуация описана считанные разы, потому что слишком болезненна; нечто подобное можно найти в «Бремени страстей» у Моэма, в истории с Милдред.

Так вот, с вещью примерно так же. Когда социум молод и силен, вещь ему не угрожает, она нормальный атрибут сильного и состоявшегося человека. Победители Наполеона, философы в эполетах, будущие декабристы — сплошь денди; Чаадаев — щеголь, Грибоедов — законодатель мод, первый русский байронит Онегин украшает уединенный кабинет всем, «чем для прихоти обильной» и т. д. Вещь в это время — не госпожа, Боже упаси, но любимая и полноправная служанка, из тех слуг, что служат собеседниками. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»; больше того — кто не думает о красе ногтей, вряд ли может быть действительно дельным человеком. Следить за собой, за модой, за трендом и брендом — нормально: духовная, интеллектуальная мощь поколения все еще такова, что вещь не может взять верха над личностью. Она для него, а не наоборот. Естественно и вольготно пользоваться хорошим костюмом, хорошей лошадью, хорошенькой содержанкой — норма для имперского человека времен цветущей империи. Для разнообразия он может устроить, как Рылеев, «русский завтрак» с водкой и квашеной капустой, — но это тоже мода, экзотика, эlegantность, если угодно. В «Звезде пленительного счастья», точно написанной Осетинским и поставленной Мотылем, видна

эта легкость отношения к роскоши, это упоение ею — и презрение к ней; сейчас носят перстни, надо будет — наденут кандалы. И кандалы будут брендом.

Прости меня, Господи, но это пошлое слово обозначает именно модную вещь. Кто скажет, что кандалы в русской истории XIX века не были модной вещью? Их носили лучшие люди, реальные законодатели мод.

Дальше происходит разное по форме, но неотличимое по сути: империя перерастает себя и падает под собственной тяжестью. Она претендует уже не только на лояльность, но на тотальную власть; ей нужны уже не завоеватели и покорители, а охранители и стабилизаторы. У них по определению нет тех добродетелей, какие требуются от конкистадоров, им не положен ум — положено чутье. На коротких исторических отрезках иногда получается так, что это, увы, одни и те же люди: начинали как элита, бонвиваны, красавцы, конкистадоры — кончили как тайная полиция. Таков был удел некоторой части военного поколения 1812 года, удел тех, кто не входил в тайные общества и вынужден был судить своих, тех, с кем вместе когда-то в парижском походе... Нагляднее всего это дано у Стругацких, где Странник, Экселенц, Сикорски начинает как героический прогрессор, а заканчивает как железный старец из КОМКОНа-2; с Каммерером почти та же история, но тут подоспело Большое Откровение, и КОМКОН-2 потерял смысл. (Доживем ли мы до такого откровения, когда прототип данной организации действительно окажется не нужен? Сколько народу должно будет для этого улететь непонятно куда?)

Охранитель — всегда аскет. И это не потому, что по охранительской своей природе он пренебрегает роскошью и предпочитает скудость, а потому, что вещь ему — опасна. Он сознает свою узость и простоту, а потому вполне может и не устоять перед этим соблазном. Аскеты вообще легко соблазняются: тот же Моэм написал об этом великолепный «Дождь», да и мало ли мы знаем охранителей, стоиков, моралистов, купившихся вдруг на взятку, цацку, бабу? Сплошь и рядом бывают у нас такие падения; Аракчеева не зря называли «б...ди грошевой солдатом», потому что грозный охранитель был подкаблучником у собственной содержанки Настасьи. Задача же его была, как формулировал Греч, «истребить в офицерах и нижних чинах дух свободы и уважения к самим себе».

Период охранительства — всегда эпоха интеллектуальной деградации; в Риме было то же, хоть и по несколько иному сценарию. Дух экспансии и целеустремленности сменяется духом бессмысленного, самоубийственного тиранства — а это совсем

иное дело. Тиран погрязает в роскоши, но при нем обязательно есть аскет-идеолог, и подданным вменяется в обязанность полунитета. В солдатах истребляется инициатива и насаждается муштра. Ветеранам Цезаря предложено забыть, что они ветераны. И уж совсем беда, если во главе государства оказывается монарх-монах, более всего озабоченный сохранением завоеванного, чистотою нравов, соблюдением процедур. Тогда начинается викторианская Англия, какой мы знаем ее из Диккенса, и затянуться эта история может на полвека.

Аскеза — если она не доведена до абсурда, юродства, святости — всегда есть признак некоторой тупости, признания в собственной неспособности противостоять соблазну. Убрать его с глаз, чтобы не дразнил. Когда интеллектуальная элита истреблена, аскеза становится модой, брендом отупевшей страны; тут самая характерная история, конечно, с Онегиным и Печориным. Между ними пропасть — и прежде всего потому, что аристократизм уже не в моде. Мода теперь — на простоту, и торопящийся за модой Грушницкий, чтобы нравиться девушкам, надевает толстую шинель прапорщика. Для Онегина быть dandy — дань тренду; в случае Печорина дендизм, безукоризненные манеры, холодность, культ приличия — уже вызов. Герой эпохи — пехотный капитан. Печорин именно лишний, аристократические его ценности вышли из моды; ему действительно одинаково к лицу мундир, фрак, рваная бурка — он, что называется, не снисходит. Но в увядающей империи торжествует плебс. Аристократ подозрителен, интеллектуал опасен: одних ссылают на Кавказ или в Вятку, другие уезжают, а некоторые, как Герцен, уезжают после Вятки.

Дальше все это дело трещит по швам, потому что у охранителей элементарно не хватает ума предложить новые цели и стимулы, реформировать махину, придумать ей смысл, — они умеют только рывкать, и в конце концов это надоедает. Вдобавок у разночинцев нарастает своя аристократия — уже не родовая, не прирожденная, а, так сказать, приобретенная. Вспомним элиту русского Серебряного века — все они либо купеческие дети, как Брюсов, либо отпрыски провинциальных юристов, как Гиппиус, либо вовсе вышли из полунитического мещанства, как Сологуб. Но именно с их именами связано новое утверждение вещи и новый культ роскоши — уже в эпоху упадка, когда вещь сама по себе становится идеологической силой. Кстати, в Англии это еще нагляднее — ведь Уайльд, при всем его аристократизме, снобизме и прочих прекрасных крайностях, сын обычного дублинского врача, хоть и не бедствовавшего.

Тут вещь берет реванш решительный и скорый, потому что

противопоставить ей, по сути, уже нечего: с идеей напруги. Триумф вещи — не мещанский, конечно, не советская жажда приобретать, хапать, выстаивать в очередях — нет, это все случится на новом этапе деградации; пока еще вещь выступает символом духовного поиска, повой культуры, аксессуаром нового быта, если угодно... Когда Зиновьева-Аннибал или Гиппиус обставляют салоны, когда Сологуб с Чеботаревской заводят стильную обстановку — это еще не самоцель, но уже и не просто жест. Серебряный век немислим без роскоши, без полиграфических шедевров вроде «Золотого руна» и без поголовного увлечения Бердслеем. Акмеизм оформляет все это окончательно: роскошь становится символом духовного и физического здоровья. «Найду ли слог, чтоб описать прогулку, шабли во льду, поджаренную булку...» Дендизм возвращается — уже как вырождение; никаких ценностей за ним нет... кроме, пожалуй, одной. Людям эпохи упадка, как и людям эпохи расцвета, присуще великолепное безразличие к жизни, готовность к смерти, легкое отношение к ней. И это единственная их доблесть. Почему так происходит? Да потому, что на рассвете жизнь так ничтожна в сравнении с Идеей, со сверхцелью, сияющей на горизонте, — что только и остается повторять: ах, как славно мы умрем! А на закате она тем более ничтожна — без этой Идеи, без намека на нее; умирать легко, потому что жить незачем. Но между культом героической смерти раннего Рима и культом бессмысленной саморастраты Рима позднего — бездна: раньше она раскидывалась на тысячелетие, теперь уместается в столетие.

Очень интересно наблюдать повтор всей этой эволюции в миниатюре на советском примере. Сначала триумфальные победители упиваются победой — выражающейся прежде всего в том, что они отвоевали комфорт. Теперь все наше! Длится это года до двадцать третьего, когда Маяковский — самый чуткий — начинает понимать: вещь становится опасна, она делается самоцелью, пролетариат обуржуазился, партийное начальство обвешало комнаты канарейками, караул! Начинается проповедь аскезы и цензуры, голых стен и синих блуз; стоит лирическому герою Ивана Молчанова помечтать о женщине в жакетке — «И стягивает грудь тугую жакет изысканный у ней», — Маяк раздражается убийственным: «Знаю я, в жакетках таких на Петровке бабья банда! Эти польские жакетки к нам привозят контрабандой!» Человек запрещает, отменяет вещь — потому что не может перед ней устоять; потому что чувствует слабость и ограниченность собственной доктрины, которая вдобавок выдыхается. Пафос борьбы с бытом — от отчаяния, от трезвого понимания, что быт оказался сильнее даже такой универсальной

утопии, как коммунистическая. Вещь взяла бы свое даже раньше, если бы не война. Война продлила сталинщину на восемь лет. Но оттепель была неизбежна — перетянутые гайки и пояса перестали выдерживать нагрузку. И реванш вещи оказался так страшен именно потому, что оттягивался из последних сил: вещь победила, сожрала империю и воцарилась на ее руинах.

Я это время хорошо помню, хоть и был мал. «Вещизм» — словечко из семидесятых, но заклеить явление — не значит победить. Как и в Серебряном веке, и в британской империи, и в Риме — вещь явилась не просто так, но во всеоружии, с теоретическим обоснованием. Времена, когда розовские мальчики с дедовскими шашками набрасывались на полированные столы, — миновали очень быстро: розовские мальчики выросли, поумнели и стали одеваться, как Аксенов. Собственно, с именем Аксенова и связан реванш вещи — упоение ее контрреволюционностью, антисовковостью, свободой. Вещь дает свободу, исключает тебя из стройных рядов обладателей страшных советских пальто: одеваясь в потрепанный, винтажный, как сказали бы нынче, импортный кожаный плащ — ты дышишь сырым воздухом Европы, ее дубовых роц и каменных каналов. Тогда казалось, честное слово, что грядет именно свобода, а не энтропия; что культ хорошей одежды, приличного парфюма и нормальных, не требующих поминутного ремонта машин — это именно протест оскорбленного человеческого достоинства. Разумеется, это не был культ роскоши. Какая роскошь, все довольно потертое! Но это был культ марки. Фарцовщик ретроспективно стал выглядеть провозвестником вольности; борьба с режимом выражалась в ношении узких брюк и длинных патл, — и один Битов в «Пушкинском доме» внятно написал о том, как все это было смешно, Господи, и жалко. Для остальных шейный платок долго еще оставался вызовом, а ботинки на толстой подошве — бунтом. Вещь явилась хитро, замаскированно, как протест и демарш, — а когда она победила под этими знаменами, было поздно.

Ничего другого не осталось.

В Советском Союзе было мало идеализма, но он был, оставался, гнезвился в обрывках пионерской романтики и лохмотьях социальной политики. Бунт вещей доел его; новый герой был зафиксирован Вампиловым в «Утиной охоте» — это официант, доставала, хозяин жизни. У нового хозяина была частная утопия — жить по-человечески, как он это называл. Под этими знаменами случилась новая революция, и наблюдать всю эту историю на новом круге уже совсем смешно.

Сначала — героический пафос борьбы «за нормальную

жизнь», игра в новую аристократию, стремительное обзаведение атрибутикой свободного человека — свободный человек ведь немислим без личного замка в долине Луары! Потом — попытка новой аскезы с появлением даже нового Торквемады, тоже, конечно, довольно пародийного: в современной православной церкви, среди иерархов, близких к власти, немало проповедников аскетического образа жизни. Элита нулевых, противопоставляя себя героям девяностых, предпочитала не переезжать из хрущоб и широко позиционировала эти хрущобы в прессе. Олигархия потянулась в Лондон. Дошло до того, что кутежи в Куршевеле стали восприниматься как социальный протест — более того, ретроспективно эта мерзейшая элита стала казаться еще вполне приемлемой. Все-таки интересные люди, кутили, придумывали что-то... Жизнь, одним словом! Не то что эти! Кокаин ненадолго сделался олицетворением великолепного авантюризма, а кутежи с девочками все-таки лучше чекистской серости: Михаил Прохоров едва не стал кумиром либералов. Новые идеологи, напротив, обрушились именно на вещизм, богатство, роскошь — вот в каких выражениях один из них обратился к оппозиции: *«Путин не для вас, высоколобых и ширококарманных, а также тугокошельковых, прямую линию проводил. Он не с вами, пикейные жилеты, общался — он с народом разговаривал. С тем самым народом, который вы знаете только по мелькающим мимо вашего несущегося „мерседеса“ силуэтам. С тем самым народом, который ненавидит вас за мигалки и спецтранспорт. С тем самым народом, который живет за гранью и на грани бедности. Слушайте, вы, в „бентли“ и в хоромах на Рублевке. Вы, с виллами и яхтами. Вы, с государственными авто, шоферами и спецбуфетами. Путин говорил не с вами и не для вас. Вы, зажавшиеся твари, хотели бы, чтобы Путин вам соломки подстелил, сказал, где прикуп, и ключи дал от квартиры, где деньги лежат?»*

Это Павел Данилин, чья роль в истекшей избирательной кампании сводилась, кажется, к тому, чтобы до полусмерти запугать электорат и заставить его с радостным облегчением принять сравнительно мягкого преемника (хотя кто у них там мягкий, а кто жесткий — сам черт не разберет). Важно, однако, то, что символом оппозиционности (для одних) и свободы (для других) опять стала вещь: яхта, мигалка, «мерседес».

Не сказать, чтобы сегодняшняя российская власть насаждала культ новой аскезы. Всем же видна истинная мера ее, так сказать, аскетичности. Но уж, по крайней мере, ее идеологи очень стараются на аракеевском поприще: они воюют с богатством и ненавидят вещи. Тоталитарная секта под названием «Наши» распространила наклейку: *«Десятая заповедь — не завидуй. Не в*

„бентлях“ счастье!» Видимо, это надо наклеивать на лобовое стекло «Жигулей» — или на раму велосипеда. А может, на багажник «бентли»? Типа я хоть и в «бентлях», но свой?

Конечно, весь этот новый патриотизм в сопровождении нового империализма — попытка с вовсе уж негодными средствами. И никакой культ бедности сегодня не прохиляет — по той простой причине, что участие во всех этих акциях в поддержку бедных и независтливых приходится в большинстве случаев оплачивать вполне материальными подарками или преференциями. Но ведь и такая квазиидеология чревата новым реваншем вещи, тем более ужасным, чем дольше его будут оттягивать. Эта ее новая месть может ввергнуть Россию в совершенную уже дезориентацию, потому что в стране, где не осталось ни одной неskomпрометированной ценности (включая национализм, с которым сегодня заигрывают), — воцарится наглый и ничем не ограниченный культ бабла с последующим взаимоистреблением на почве бесконечного передела. Аскеза — или ее имитация — опасна именно тем, что интеллектуалам при ней неудобно. Вещь побеждает в обществе, лишенном мозга. И это здорово облегчает ее победу.

Что делать, чтобы этого не произошло? Не отпихивать от власти интеллектуалов, не внушать им аракчеевского отказа от личного достоинства; не бояться элиты, которая так элегантно пользуется красивыми и дорогими вещами именно потому, что к ним равнодушна. Не уничтожать эту элиту, не пытаться выращивать собственную — по признаку сервильности. Не бороться с вещью, которая служит, — чтобы не получить вещь, которая хозяйничает. Не вводить цензуру — чтобы тебя не смел беспредел. Не заковывать город в гранит — чтобы тебя не смыло наводнением: ведь еще в «Медном всаднике» содержатся все нужные предупреждения. Но и «Медного всадника» разрешили печатать только после смерти автора, когда николаевский гранит уже окончательно отвердел и новое наводнение было неотвратимо.

Но поскольку на макроуровне любые советы бессмысленны, стоит, пожалуй, дать один на обывательском. Если вы замечаете, что ваши дети слишком привязаны к своим невинным гаджетам или тряпкам, — в этом нет ничего страшного, пройдет, как корь. А вот если в один прекрасный день они выбросили все гаджеты и оделись в лохмотья — это уже серьезный повод поговорить с ними откровенно.

Небедные люди

При внимательном рассмотрении русской литературы выясняется неожиданная вещь. Мы вечно приписываем ей повышенную сентиментальность, сострадательность, гипертрофированную милость к падшим, ненависть к богатству и уважение к нищете, — но в действительности в мире нет ни одной литературы, в которой именно бедность так прочно отождествлялась бы с некоторой душевной неполноценностью. Русские писатели не любят бедных. Бедность выглядит в большинстве классических сочинений скорее отягчающим обстоятельством. Наша проза — да и поэзия — заморожена богатством, испытывает к нему живейший интерес, искренне верит, что богатые — «не такие люди, как мы», даром что сказал это американец Скотт Фитцджеральд, устами малоприятного персонажа. Больше того: русский литератор обязательно верит, что богатство и знатность не случайны, что там, за ними, кроется нечто исключительное. И когда под этой золотой оболочкой оказывается обычная пошлость либо, того хуже, преступление, — автор не может скрыть разочарования.

Я понимаю, что это заявление ломает концепцию русской классики, сложившуюся в умах, — но ведь очень многие современные читатели искренне убеждены, что Лиза из «Пиковой дамы» действительно утопилась в Лебяжьей канавке, что Пушкин был декабристом, что Пьеру Безухову было за сорок (как и Бондарчуку в момент работы над картиной), — словом, штампы далеко не всегда совпадают с реальностью, и пора уже разобраться с отношением русской словесности к бедности и богатству. Есть еще одно клише, особенно злобедное, — будто именно русская литература виновата в Октябрьской революции, будто это она всю жизнь внушала читателю ненависть к эксплуататорам и богачам... К эксплуататорам, может быть, да; к богачам — никогда. Более того: идеалом для русского писателя всегда был нравственный богач, человек с деньгами и принципами, и именно эта категория людей больше всего жертвовала на русскую революцию: не зря Горький называл Савву Морозова одним из умнейших и чистейших людей, встретившихся ему за долгую жизнь. Русская литература вовсе не готовила русскую революцию. Хоть эту вину пора с нее снять: сколько бы она ни уверяла, что «так жить нельзя», — о возможностях реванша маленьких людей и об их страшном перерождении в диктаторов предупреждала она же.

Русская литература не могла презирать богатство уже

потому, что почти никогда его не знала; не могла поэтизировать бедность, поскольку большая часть пишущих людей не вылезала из нее. Литература прилично кормила англичан, французов, немцев, даже и американцев, где с Эдгара По началось продуктивное и регулярное сотрудничество литератора с газетой; первый наш профессиональный писатель Пушкин оставил сто двадцать тысяч рублей долга (хотя сам его оценивал примерно в пятьдесят тысяч). Достоевский из долгов не выбирался, Чехова, пользуясь его снисходительностью, грабили все издатели, а уж разночинная и пролетарская литература до Горького не вылезала из самой буквальной нищеты; достаточно сказать, что главной революцией «Знания» было вовсе не массовое обращение его участников к социальному реализму, а повышение гонорара в тридцать-сорок раз против прежней грабительской нормы. В сравнении с доходами популярного европейского литератора барыш русского писателя выглядит смехотворным; если б не сугубо русский институт «толстого литературного журнала» (где, кстати, подкармливались по тургеневской протекции и его друзья-французы с новыми романами), тиражи ни за что не прокормили бы отечественного беллетриста. Стартовый тираж сборника новелл Мопассана — пять-семь тысяч, суммарный тираж к 1891 году — полмиллиона экземпляров, и если он не находил своей книги в станционном киоске — устраивал распространителю скандал; в России до «Посредника» массовых тиражей у серьезной литературы вообще не было, в большом провинциальном городе сотня постоянных подписчиков толстых журналов считалась хорошей цифрой, и ограничиться литературными занятиями мог только тот, у кого и без литературы имелся регулярный доход. Кроме Льва Толстого с его десятинами, у нас, почитай, не было состоятельных литераторов, — а певец пролетариата Горький, едва выбившись из нищеты, зажил, как магнат, отношение же к босячеству сменил на противоположное.

Такое объяснение, впрочем, было бы недостаточно, слишком прозаично: наш писатель тем и знаменит, что умеет подниматься над личным опытом. Дворянин — он уважает разночинца; патриот и вдобавок офицер — умеет пожалеть неприятеля. Русская литература не любит жалкости, она по преимуществу страдает сильным. Вообще наша проза — ницшеанка до Ницше, за редчайшими исключениями; слабый герой ей не то чтобы неинтересен, но подозрителен, часто смешон, иногда откровенно противен. Если французский и английский романтизм (не говоря уж об американском, вполне живом и поныне) пышно цвел на всем протяжении XIX столетия — в России он закончился на

юношеских поэмах Лермонтова. У нас очень быстро возобладал точный, объективный, а то и грубый реализм, без какой-либо идеализации, без милосердного приукрашивания бытовых ужасов; наша поэзия коснулась таких язв, от которых Гюго, Суинберн и Уитмен отвернулись бы в панике; у англичан жестоким реалистом считался добрый сказочник Диккенс — который на фоне Достоевского, Успенского или Решетникова выглядит чистым Андерсеном. Мопассана называли грязным, циничным и безжалостным — но реальность, с которой он имел дело, была не в пример цивилизнее; те, кто называл его циником, а Моэма натуралистом, — просто не читали вересаевских «Записок врача» или ранних рассказов Андреева. Русский реализм воспитан такой реальностью, в которой слабые элементарно не выживают. Оба значения слова «бедные» — «безденежный» и «несчастный» — у нас одинаково наделены резко негативной модальностью; «Бедные люди» Достоевского — на самом деле «Жалкие люди». И не зря великий реалист Достоевский начался не с них, а с рассказов вроде «Скверного анекдота», где приплюснутый мир бедности изображается без малейшей дворянской идеализации — с ненавистью и насмешкой.

Квинтэссенция такого отношения к бедности и бедным явлена у Островского в «Бесприданнице». Великая литературная (о театральной сейчас речи нет) ценность пьес Островского — именно в наглядности: он обнажил, довел до абсурда, вдолбил не только партеру, но и райку все главные постулаты русской литературы, вытащил ее в театр, в балаган, рассказал с пояснениями, «с чудными картинками и большими буквами». «Бесприданница» — именно история о равной отвратительности бедности и богатства, о том, что красавице и умнице в этом мире физически некуда деться. Кнуров и Вожеватов, конечно, не ангелы (хотя зритель физически чувствует смачность, наслаждение, с которым автор выписывает их речевые портреты: «Хорошо тому, Василий Данилович, у кого денег-то много»). Но ими хоть можно любоваться как явлениями законченными, яркими, стилистически цельными: ведь только богатый и может позволить себе стиль. Крылатой стала формула Владимира Хотиненко: «На жизнь хватает, на образ жизни — нет». А богатые — как раз люди с образом жизни, сущий пир для художника. Не то Карандышев: сочувствовать ему, пожалуй, можно, но как-то вчуже, пока он не откроет рта. «Мы, то есть образованные люди, а не бурлаки...» Он и в бунте жалок — да вдобавок пьян: «Я смешной человек... Да разве людей казнят за то, что они смешны?» Не забывайте, сверх того, что именно Карандышев убил Ларису. Лариса-то, положим, усилиями бесчисленных премьерш в

диапазоне от Комиссаржевской до Алисовой реабилитирована в глазах зрителя, хотя на самом деле она сама слишком любит богатство, слишком мало страдает смешным людям и слишком вольно ведет себя с хозяевами жизни; простите меня, но нечто шлюховатое чувствуется чуть не в каждой ее реплике, особенно в разговоре с Паратовым в третьем действии: «Вы моя повелительница!» — «Вы мой повелитель!» Но русский зритель — вместе с автором — всю ей сочувствует; русская литература сама отчасти похожа на эту бесприданницу — и бедностью, и вольностью, и любовью к эффектным и сильным персонажам. Сам Толстой в набросках предисловия к «Войне и миру» писал, что жизнь бедняков неинтересна, а потому он пишет о графах и князьях. Русская литература готова подчиняться сильному (и подчас, увы, опьяняется им слишком беззаветно, как показал XX век); но зависеть от жалкого и сострадать смешному она не будет никогда, как не будет Лариса собственностью Карандышева. Может быть, тут все дело как раз в том, что русская литература — великая, а великое с моралью находится в отношениях сложных. У великого, скажем так, своя мораль. Как ни парадоксально, а единственный человек, жалевший малых сих, был бретер и грубиян Лермонтов — душа у него, как выясняется, была чистая и сентиментальная; это, впрочем, и по стихам видно. Единственный бедняк с чувством собственного достоинства на всю русскую литературу — чиновник Красинский из «Княгини Лиговской». Вдобавок он, в отличие от Печорина, наделен ангельской внешностью, Но и это счастливое исключение продиктовано, скорей всего, тем, что лично Лермонтов с чиновничеством не общался — не зря подробности биографии и занятий Красинского ему пришлось выдумывать вместе с друзьями, а его идиллический быт и тихая старушка-мать словно сошли со страниц французского романа.

Бедность в «Скупом рыцаре» — причина зверства, несостоявшегося отцеубийства, дуэли с собственным отцом: «Ужасный век, ужасные сердца!» Бедность в «Станционном смотрителе», в котором Гершензон первым обнаружил едкую пародию на сентиментальные нравоучительные повести, — позор, от которого надо скорее избавиться, а кто не избавился, как Самсон Вырин, тот глуп и счастья своего не понимает, потому что его беглая дочь прекрасно себя чувствует с мужем. Бедность Акакия Акакиевича оборачивается зверством, когда оный Акакиевич после смерти начинает сдирать с чиновников шинели; примерно в это же время безумный, бредовый бунт «маленького человека» становится одной из главных тем «Медного всадника» — но и этот жалкий бунт кончается бегством от статуи и

«похоронами ради Бога». Бедные люди Достоевского — в лучшем случае Мармеладовы (прямо скажем, не самый обаятельный герой), в худшем же Раскольниковы. Не зря на первой странице романа о нем сказано — «Он был задавлен бедностью», и теория его происходит оттуда же, она — того же корня, в сочетании с мучительной детской жалостью ко всему живому, к нищему, к лошадке... Русская литература очень не любила жалеть, она часто подчеркивала, до чего доводит жалость: сострадал-сострадал, плакал-плакал, да вот и убил. Нет на свете менее сентиментальной словесности, чем наша. А почему? А потому, что в силу своего величия она все чувства переживает с огромной, убийственной силой. И вслед за первой реакцией — ах, какие бедные, ах, как жаль! — неизбежно наступает вторая: да что ж вы, сволочи, всю душу из меня повымотали?! За что это мне вас так жалеть?! Поубивать вас к чертовой матери, чтоб не так жалко было! Интересно, что этот сюжет встречается в русской литературе целых два раза: сначала — у самого, казалось бы, сентиментального нашего поэта Некрасова, описавшего убийство из жалости с истинно питерской желчной, сардонической иронией. Речь идет о войне двенадцатого года: *«Поймали мы одну семью, отца да мать с тремя щенками. Тотчас ухлопали мусью: не из фузеи — кулаками! Жена давай вопить, стонать, рвет волоса — глядим да тужим! Жаль стало: топорщиком хватить — и протянулась рядом с мужем! Глядь: дети! Нет на них лица: ломают руки, воют, скачут, лепечут — не поймешь словца, и в голос, бедненькие, плачут. Слеза прошибла нас, ей-ей! Как быть? Мы долго тосковали, пришибли бедных поскорей, да вместе всех и закопали...»* Это рассказ крестьянина-партизана (1846), редко, увы, включаемый в некрасовские сборники, но очень наглядный. Наглядней — только Тэффи: в знаменитом рассказе «Проворство рук» толпа чуть не убила заезжего фокусника за то, что ей очень уж жалко его стало. *«Ведь подлец народ пошел! Он с тебя деньги сдерет, он у тебя и душу выворотит. Я тоже деньги платил некрадены. Ну, мы ж те покажем. ЖЖива!»*

А точнее всех, как всегда, оказался Толстой. Он лучше других понимал ту страшную для многих суть христианства, которая сформулирована в Евангелии от Матфея: *«Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет»*. Правда, трактуется эта притча у Толстого в не совсем евангельском духе (и, надо сказать, соблазн истолковать ее так действительно велик): Христос рассказывает историю о трех слугах, получивших от господина некую сумму. Один вложил сумму выгодно, второй не совсем выгодно (но хоть как-то), а третий закопал, ибо боялся риска. Господин поощрил

первых двух и наказал третьего, потому что надо бесстрашно рисковать и вообще что-нибудь делать, а кто боится и ничего не делает, у того отнимется. У Толстого вся эта история приобретает несколько иррациональный характер, и не зря приговор Соне произносит именно Наташа, которая «не устаивает быть умной» и не может рационально объяснить свое отношение к пустоцвету-Соне. Но если верить Наташе, дело обстоит так: *«Знаешь, вот ты много читала Евангелие: там есть одно место прямо о Соне. „Имущему дается, а у неимущего отнимется“, помнишь? Она — неимущий! Она пустоцвет»*. Княжна Марья, понятное дело, возражает насчет такой трактовки, но применительно к Соне — соглашается. Так вот, главный вопрос заключается именно в этом: почему Соня — пустоцвет и почему у нее отнимется? Ведь она именно бедная, в обоих смыслах. Ответ дан у того же Толстого: во-первых, Соня, как все бедные, — хитрая эгоистка. Она часто ведет себя жертвенно и самоотверженно, но всегда отмечает это про себя: *«Во всех действиях самопожертвования она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других»*. А это в русской литературе не прощается. А второе — Толстой не зря подчеркивает ее сильные, мускулистые шею и руки при несколько желтоватом, нездоровом цвете лица. Вот это и есть то, чего русская литература не прощает бедным: жестковейность — и мускулистые руки. Все это натренировано бедностью и унижением, все это только и ждет, чтобы наброситься, оттяпать руку дающего, наказать за милосердие. Добрые бедные бывают только в сказках. А на самом деле они злые, жестокие. Как разночинцы.

Пожалуй, только в советской литературе аристократизм, богатство, даже элементарная состоятельность стали признаками героев отрицательных, подозрительных и несимпатичных. Возникли надменные молодые аристократы, баре, сынки и дочки зарвавшихся совслужащих — и вместо того, чтобы любоваться их легкостью, милосердием, мягкостью, незащищенностью на земных благах, духовным аристократизмом и проч., советская литература принялась глядеть на них с задавленной нищенской завистью, с реваншистской злобой. Вот почему репрессии не вызывали массового протеста: это был не национальный, как хотелось бы некоторым, а социальный реванш. Низвергали ведь тех, кто жил слишком хорошо. Заелись. От масс оторвались. И эту черту родного народа, а точнее — того страшного мутировавшего сообщества, которое было когда-то народом, очень хорошо запомнили тогдашние дети советской элиты, будущий цвет отечественной культуры и общественной мысли. Они увидели радость при своем низвержении. Увидели, как радостно и с

готовностью травят их одноклассники, называя троцкистами: те самые одноклассники, которые вчера пили у них чай с дефицитными конфетами и брали почитать редкие книги.

Ненависть к богатым только за то, что они богатые, — вообще признак дурного вкуса (как и уважение к ним за то же самое). Русская литература никогда не считала имущественную бедность основополагающей чертой персонажа — всегда рассматривала ее как побочную; ведь из нее всегда можно выбиться! (Так она думала, и не без оснований: в России XIX века социальные лифты заработали вовсю, работали бы и лучше, если б не тупоумное трусливое охранительство, развившееся при Александре III.) А если кто и не выбивается — так ведь «бедным» в нравственном смысле быть вовсе необязательно! Русская литература отлично понимала разницу между «бедным» и «нищим духом». Ведь нищий — это тот, кому нечего терять. Это в некотором смысле полубог: *«Только размер потери и делает смертного равным Богу»*, заметил Бродский вполне в христианской традиции. Но «бедный духом» — это совсем другое дело. Бедный — это тот, у кого что-то есть, что-то последнее — шинелка, Варвара Алексеевна, — и он жалко цепляется за это свое последнее, и оно, конечно, отнимется. А нищий — это тот, у кого ничего нет: свободный бродяга, чья свобода не переходит в гордыню. Нищий — это отец Сергей, у которого хватает смирения принять милостыню проезжего француза. Нищий — одинокий странник, который никому ничего не должен. Достичь такого душевного состояния — и значит унаследовать Царство Небесное. И к нищим русская литература традиционно благоволила — взять того же отца Сергия. Нищие, странники, калики переходящие, народные певцы, бродяги, даже и горьковские босяки — это совсем не «бедные». Бедный — это жалкий чиновник, ничтожный переписчик, скромнейший Макар Деушкин; бедный — тот, кто изо всех сил вцепился в свою бедность и ни к какому другому статусу не способен, потому что перемена участи для него страшна, как любая перемена вообще, вплоть до погодной. Он может быть только бедняком, и все содержание его жизни составляет шинель либо недоступная девушка напротив. При виде его можно умилиться, но несколько брезгливо. И потом... у него все-таки слишком жесткая выя и мускулистые руки, которые он натренировал, бесспорно вцепляясь в шинель.

Русская литература не любит бедности. Она любит либо бесконечное богатство, которое иногда все-таки делает человека сверхчеловеком, — либо столь же сверхчеловеческую нищету, последнюю степень свободы. «Бедный» звучит жалко, «нищий» — величественно. Только утратив все, за что цепляешься, ты

взлетишь.

А просто человека русская литература не любит. *«Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон, — а человек... иль не затем он, чтобы забыть его могли?»*

Бедный Раскольников. Если б он бросил свою каморку и пошел странствовать — он бы просто не заметил старухи и сразу снял бы для себя вопрос, тварь ли он дрожащая или право имеет. В России право имеет только тот, у кого ничего нет — или тот, кому ничего не нужно.

2007 год

Нет, это не прутковский призыв, хоть он и был бы уместен по контексту, — просто я буду их так обозначать, для цензурности и краткости. Всякие «леди» и «ляди» — непозволительный компромисс. Слишком похоже на «люди», а я далеко не согласен с тем, что все люди б...ди. Это особенный, редкий, в каком-то смысле драгоценный отряд. Нет более пошлого рода литературы, нежели письма отца к сыну о странностях любви, — не зря в этом жанре так много трудится наш самый духовный телеведущий, ну тот, что еще балуется театром, детективами и богоискательством, — но есть вещи, о которых отцы должны предупреждать сыновей, просто чтобы они не так мучительно обжигались. У меня не было отца, а русская литература чересчур целомудренна, и некому было просто сказать мне: сынок, на свете есть бди, с этим ничего не поделаешь, это просто такие женщины, психотип, не плохой и не хороший, он не бывает, не может быть другим. Их нельзя изменить, как нельзя заставить тебя любить вареную морковь, а меня — заниматься спортом, а твою сестру — убирать кровать. Есть вещи неодолимые, изначально присущие. Просто реши для себя: либо ты играешь в эти игры, либо нет. Либо подписываешься на это и получаешь все по прейскуранту, либо выбираешь тихую домашнюю жизнь и недополучаешь многого, зато и не сталкиваешься однажды с ситуацией, когда твое существование разбито вдребезги.

О, мальчик мой, какие это неаппетитные, неживописные дребезги! Сколько раз я был их свидетелем. Один художник, фотограф, концептуалист и кто он там еще написал о такой своей личной катастрофе целый роман, где вывел всех знакомых, включая вершины треугольника, под их собственными именами. Наверное, для него это был спасительный акт аутотерапии, для них, наверное, травма и оскорбление, но для читателя, о боже, какое это было неприглядное зрелище! Как чужая рвота. Хотя и своя не подарок. «Стоит осенняя погода, с утра морозец небольшой... В троллейбусе, напротив входа, кого-то вырвало лапшой». Нельзя даже сказать, что наблюдать за этим поучительно, — поскольку зрелище чужой рвоты, хоть раз да встречавшееся каждому, никого из нас еще не остановило от алкогольных злоупотреблений, кончающихся именно так. Бди — не тот случай, от которого можно спастись. Их много, в твоей жизни они будут обязательно, и я вовсе не хочу, чтобы ты воздерживался от этого опыта. Он креативен. Тебе будет что вспомнить и будет о чем писать. Это будет болезнь, и

выздоровление будет труднее и мучительнее, чем сама болезнь, — примерно как лечение триппера в старые времена: я, слава Богу, не испытал, но мне рассказывали. Есть болезни, полное излечение от которых чревато серьезными деформациями личности. От тебя отломится слишком здоровый кусок, и тебе долго еще будет невыносимо вспоминать обо всем, что было так или иначе связано с бдью. Те или иные пейзажи, цитаты, совместно просмотренные фильмы — и хорошо еще, если не будет совместно нажитых детей: детей надо наживать в других союзах. Бди — для стихов и воспоминаний. Они так устроены, что каждый миг, проведенный с ними, переживается наиболее полно. Все и десять лет спустя будет помниться, как вчера. Тебе будет казаться, что это может длиться вечно. Длиться это будет долго, что да, то да, — и когда ты после первого расставания почти уже излечишься, она обязательно вернется, чтобы проверить свою власть. Это как маньяк в американском триллере — он никогда не убивается с первого раза, иначе жизнь казалась бы медом; а иногда он оказывается настолько живуч, что его хватает на фильмы «Фигня-2» и «Фигня возвращается». Когда ты уже успокоишься, заживешь сносной жизнью и, может статься, кого-то себе найдешь в качестве ватки на ранку («Сколько женщин ушло на бинты», цинично признавался великий Дидуров), — она явится, бедная, бледная, разбитая, покорно признавая свое поражение; она скажет, что не может без тебя жить и убедилась в этом окончательно, и умоляет ее простить, и разрушит шалашик, который ты еле-еле успел построить на месте лубяной избушки; и только разрушив его, втоптав тебя в грязь окончательно, уйдет сама, причем на этот раз надолго. Периодически, напившись, ты еще будешь звонить и умолять о встрече, хоть минут на пять, — это, конечно, если будешь таким же дураком, как Набоков, Лимонов, я и прочие жертвы. И она будет выходить на пять минут, томная и бледная, всем своим видом показывая, насколько ей в тягость лицемерие твоего полного краха, насколько это негигиенично, в конце концов, — вот так ходить с выпущенными кишками, с расстегнутыми штанами... И ты будешь уходить восвояси, в очередной раз понимая, что сделать ничего нельзя. Периодически она и сама будет позванивать — поздравить тебя с днем рождения, например. Мотивировка будет приличная, вроде: «Я просто хотела удостовериться, что у тебя все хорошо». То есть она столь высоко оценивает свой разрушительный эффект, что положительно не может смириться с твоей способностью к регенерации. Если ты дашь ей понять, что тебе плохо, ты, как говорят американцы, сделаешь ее день. Но по ней никогда нельзя будет этого понять. Она замечательно умеет быть нежной,

травмированной, печальной.

Вообще виктимность — отличительная черта этого женского типа; бди могут быть сколь угодно крепки, здоровы, даже спортивные, — но всегда по-вампиРСки бледны, медлительны, шатки, извилисты... Одну из самых убедительных бдей в мировой литературе создал Моэм — явно с натуры: я говорю, конечно, о Милдред в «Бремени страстей человеческих». В армии в последние полгода мне довольно часто случалось дежурить по КПП, времени там навалом, особенно по ночам, — и чтобы не засыпать, я непрерывно курил дикие тогдашние сигареты «Стрела» (не знаю, где они теперь, овальные, без фильтра) и все время читал. Я вообще, как ты знаешь, много читаю, но тогда — от недосыпа, от лихорадки, снедавшей меня и страну, от моего лихорадочного ожидания дембеля и всеобщего ожидания катастрофы (дело было в 1989 году) все западало в память особенно крепко. Вот тогда я за неделю прочел «Of Human Bondage» и написал моей тогдашней бди, делавшей вид, что она ждет меня в Москве, а на деле уже устраивавшей свою судьбу с модным молодым критиком, — прочти, мол, сочинение очень недурное. Она прочла — литературных моих советов всегда слушалась, и даже в ночь одного из окончательных разрывов, выставив меня на лестницу, сунула газету со своим совершенно бездарным очерком: посмотри на досуге, мне интересно, что ты скажешь. Ей было интересно, ты представляешь? И вот она прочла и робко, неуверенно, шатким своим почерком мне написала: не находишь ли ты, что я похожа на Милдред Роджерс? Не нахожу ли я, хо-хо! На это бледно-зеленое растение! Да не просто похожа, друг мой, а один в один; это из-за таких, как она и ты, Моэм сначала сделался женоненавистником, а потом убежденным гомосексуалистом. Трем гомосексуалистам я прощаю содомию, трем во всей мировой литературе: Уайльду, Моэму и Трумену Капоте. Все остальные для меня не существуют по причине крайнего свинства, перверсивной, искореженной морали, наглой развратности и прочих атрибутов своей сексуальной ориентации; но эти трое были слишком нежны, чтобы жить с женщинами. Женщина — существо грубое, особенно если, подобно этим троим, живешь в бдские эпохи и возвращаешься в бдских кругах.

Виктимность — это раз, но ты не обманывайся. Им нужно выглядеть хрупкими, бледными и даже слегка чахоточными — они знают, что это заводит. Вероятно, большинству мужчин присущ скрытый садизм, и им, вслед за нашим всем Пушкиным, нравится, когда «она жива еще сегодня — завтра нет». Посуди сам, ведь толстых все-таки любят реже, чем худых, а гибких —

чаще, чем крепко сбитых. В том, что возобладал модельный типаж с его вешалочной фигурой, виновато именно это садическое мужское начало, а вовсе не то, что педерастам-модельерам приятнее видеть баб мальчикоподобными. Вторая их отличительная черта — фантастически развитая интуиция. В массе своей они не умны — потому что ум всегда предполагает некую нравственность, моральность: ясно же, что быть добрым попросту разумно. Они этого не понимают, но в интуиции им не откажешь: им доступно высшее женское умение — понимать, чего ты хочешь, и в каждый отдельный момент говорить именно это. Не знаю, как называется эта способность, — но она, конечно, очень женская. Это своеобразная эхолоalia. Ведь они преподносят тебе твои собственные мысли — но в своем исполнении и преломлении; не знаю, когда-нибудь, вероятно, у них обнаружат особый орган, что-то вроде щупа, который они по ночам запускают в тебя, чтобы взять пробу. Потом, распробовав, они начинают тебя имитировать, притворяться тобой, быть тобой. Это что-то инопланетное. Так все эти чужие умеют появляться в человеческом облике. Так крысы у Грина умудрялись прикидываться людьми — и какими людьми! Любимой девушкой, бедным беззащитным мальчиком на утренней улице... И когда этот мальчик вцепляется тебе в руку — ощущение у тебя, как от укуса. В общем, они умеют превращаться в тебя, жить твоими интересами и способностями — и в результате дарят тебе на полгода, на год, на месяц идеальный союз. Как в том анекдоте: *«Какой мне сон снился! — Ты и она? — Нет! — Ты и он?! — Нет! — А что?! — Я и Я!!!»* Так и получается, ты и ты, но это второе «ты» — красивое, длинноногое, с ним можно спать и вообще много чего делать... Потом, конечно, выясняется, что освоение было самое поверхностное, на уровне словечек; что все это так, фантом, призрак... Ну, примерно как артист Безруков, играющий Пушкина. Но как они нацепляют эти бакенбарды! В этом есть что-то соляристическое, не зря «Солярис» — самый сексуальный фильм Тарковского.

Ну и третья их черта, самая главная: у них полностью отсутствует представление о морали. То есть ее нет как таковой. Есть только то, чего в данный момент хочет левая нога. Отчетливо помню момент, когда я это понял. И помню, как меня это потрясло. Я спускался на станцию метро «Киевская», представляешь, кольцевая, — и тут меня пробило. Я вспоминал один наш телефонный разговор — и понимал с возрастающим ужасом, что никакие апелляции к морали, совести и порядочности тут невозможны, что все они не нужны, смешны: передо мной существо другой породы. Трудно смириться с тем, о

чем сказала мне однажды умная девушка Татьяна Друбич: человек — не один биологический вид, а несколько. Не надо мерить всех одной мерой. И действительно. Просто привыкли, что они другие. Чувства долга у них нет, совесть отсутствует, и это вовсе не обо всех женщинах сказал Бунин: «Но для женщины прошлого нет». Это сказано о бдях, потому что с памятью у них тоже проблемы. Как и с возрастом, и с обучаемостью, и с освоением опыта — опыт они отбрасывают, как хвост. Когда ты отброшен, на тебя можно сочувственно глядеть, но чувствовать с тобой что-то общее — увольте.

Их главное наслаждение заключается в том, чтобы стравливать нас между собой. Конечно, им нравится и сам процесс, ради которого мы на столь многое готовы, — но никогда, при самых продолжительных усилиях и самом виртуозном разнообразии, нам не доставить им такого сверхъестественного, потрясающего все бдское существо оргазма, который они испытывают при виде мужской драки или просто ссоры, вспыхивающей по их наводке. Вероятно, при этом выделяется энергия, которой они питаются. Ради того, чтобы испытать это сверхъестественное наслаждение, они готовы тонко давать понять, что завели нового партнера, вот того самого, нашего старого друга, да, но ведь ты обещаешь не ломать ему руки? Нет, конечно, что ты! Поклянись! Клянусь. Клянусь, что я сломаю ему ноги. Они обожают заводить романы в одном кругу — одинокашном, дружеском. Чтобы все знали и все перессорились. Райское наслаждение.

К сожалению, они действительно так устроены, — это особенно тонко показано у Набокова в «Аде», чье название неслучайно так рифмуется с искомым словом, — что им никогда не хватает одного, и сам физический акт любви кажется им чем-то легким, необязательным, скорее прологом к главному, чем собственно главным. Самое интересное начнется, когда ты привязываешься к ней, — а она уже с другим, а иногда и с третьим; вот эта ситуация приводит их в настоящий восторг, заводит больше, чем мужчину виктимность.

Единственный способ по-настоящему привязать их к себе надолго — это не привязываться самому, что еще и у Пушкина замечено; они начинают изменять только тому, кто действительно сильно этого не хочет. Пофигистически-легкое отношение к их изменам приводит их сначала в состояние легкой досады, потом — в ярость, потом способно серьезно заинтересовать (именно в такой последовательности), а дальше бди тратят все свои силы исключительно на то, чтобы ты привязался к ним по-настоящему. Ради этого они готовы даже на

замужество. Если тебе удастся устоять даже после этого — она твоя навеки, но о чем ты с ней будешь говорить?

Настоящие чудеса чутья, трагизма и даже эрудиции они демонстрируют только тогда, когда ты уже пойман по-настоящему. Тут — берегись, потому что противостоять им в это время невозможно. При полном отсутствии тормозов вроде ума и совести они устраивают такие спектакли, каким позавидовали бы все Мейерхольды, все Станиславские, все Анатолии Васильевы: при полном сохранении хладнокровия и трезвомыслия они умудряются сводить своих поклонников в самых неожиданных местах и сочетаниях, сохраняя при этом абсолютную невинность. Они нашептывают тебе гадости обо всех своих предыдущих, а всем последующим — гадости о тебе. Они передают их слова о тебе, а твои — о них. Они обожают драки, как тот капитан, который любил девушку из Нагасаки — тоже один из них, судя по всему. Шакал Табаки — еще один рифмующийся персонаж — был явно из их числа.

Если кто-то из мужчин недостаточно восхищается ими, то исключительно потому, что они ему «не дали». Если они ему «дали» и он при этом не восхищается — он закомплексован. Слово «комплексы» мелькает в их речи даже чаще, чем мат. Еще они очень любят читать Фрейда, потому что он тоже любил объяснять чужие поступки максимально унижительными мотивами. У них уникальное чутье на все, что позволяет унижить высокое: на фрейдизм в психологии, структурализм в литературе и либерализм в политике.

После всего этого ты наверняка спросишь: что же заставляет мужчин иметь дело с этими чудовищами? С этими монстрами из сказок? С этими паразитами, омелами, плесневыми грибами? «Я скажу вам, я отвечу»: во-первых, это острота ощущений. Веллер, например, считает, что все на свете делается именно ради нее. Во-вторых, это все очень креативно: именно из этого вещества получаются потом стихи, романы, фильмы. В-третьих, они действительно созданы для любви, и в любви с ними отлично — только надо все время помнить, что сами они при этом ровно ничего не чувствуют, ибо их удовольствия начинаются позже. Физические радости значат для них очень мало — старайся, чтобы и для тебя это было делом десятым.

Что с ними делать, спросишь ты? Решительно ничего. Пойми, они просто такие. Одна из них когда-то в порыве откровенности поведала мне, что на пике нашего романа весьма тесно общалась с моим ближайшим другом (то-то в его голосе появились высокомерные и снисходительные нотки), при этом заигрывала с его ближайшим другом и продолжала бегать к грубому и

малоодаренному художнику, который плевать на нее хотел, поэтому только к нему она была привязана по-настоящему. «Знаешь, как он меня обзывал? Я кончала от одного его голоса». И что, по-твоему, я сделал с ней после всего этого? Ничего ровно. Принял к сведению и вставил в роман.

Это и есть единственное, что вообще можно сделать с жизнью: превратить ее в литературу. Потому что любые другие способы воздействия на бдей тоже широко описаны в мировой литературе, и все они сводятся примерно к тому, что сделал Рогожин с Настасьей Филипповной, типичной и классической бдью, срисованной с такой же бди Аполлинарии Суловой. Да-да, только убить. Но это наказуемо. Поэтому надо отойти в сторону — и предоставить времени сделать свою честную, убийственную и неотвратимую работу.

В конце концов, после тридцати пяти на них обычно без слез не взглянешь. А у нас в это время все только начинается.

2007 год

Некоторые особенности современной российской жизни и особенно лексики наводят на мысль, что описывать поздние нулевые в терминах политологии бесперспективно, но теология сгодится. На эту мысль меня навело распоряжение руководства единороссов о разделении всех губернаторов на тех, кому разрешено использовать в предвыборной пропаганде образ Путина, и тех, кто лишен этого удовольствия.

Само словосочетание «образ Путина» — нечто принципиально новое для российской реальности. Даже во времена застойного маразма, помнящиеся мне отчетливо, словосочетание «образ Брежнева» было непредставимо. Когда Виктор Коршунов в спектакле «Целина» по мотивам одноименного шедевра читал текст от автора, он не обозначался в афише как Брежнев — участники перечислялись общим списком. Это был рассказчик вообще, а не конкретный многожды герой. Можно бы, конечно, написать, что губернаторам запрещено использовать портрет Путина, но это звучит, во-первых, прозаично, а во-вторых, неполно. Речь идет не только об иконографии, но и об оценках, ссылках на дружбу с первым лицом, а возможно, о бегущей строке с его благословением. «Образ Путина» — понятие широкое и бессодержательное. Упоминая или показывая Путина, губернатор фактически повторяет сакральную формулу «С нами Бог», ничего не сообщая собственно о Боге. Он с нами, и этого достаточно. Это исключает моральные оценки и неудобные вопросы. Критерий, по которому отбираются ошастливленные, тоже неясен. По слухам, те двадцать семь из шестидесяти пяти, кому повезло, пользуются популярностью в собственных регионах и потому не могут скомпрометировать президента. Если у нас из шестидесяти пяти губернаторов тридцать восемь настолько отвратительны населению, что способны понизить рейтинг Путина одним появлением в кадре на его фоне, это тревожный сигнал; но от социологии воздержимся. Заметим лишь, что несчастным очень обидно: они не допущены не только к первому лицу, но и к его образу. Я уже предлагал в одной из колонок решить проблему диверсификацией образа президента, то есть введением нескольких образов вместо одного. Если успешных губернаторов будет осеять, допустим, благожелательный образ «Путин Всех Скорбящих Радость», то нерадивых будет пронизывать «Путин Ярое Око»; для особо деятельных возможен Троеручец. Такое разделение в духе православной иконической традиции

позволило бы не только удовлетворить все амбиции, но и обогатить политический лексикон.

Культ личности Сталина был гораздо больше похож на религию: во-первых, ему сопутствовала рациональная, внятно формулируемая идеология, от которой Сталин в своей практике отступал редко. Идеология с верой практически не совмещаются: «верую, ибо абсурдно» — по сути, антиидеологический принцип. Сфера идей не имеет права на абсурд. Книга Алексея Чадаева «Путин. Его идеология» потому и не имела широкого успеха, а автору принесла скорое изгнание из Общественной палаты, — что идеологией тут явно не отделаешься. Надо было писать «Его теологию». В случае Путина мы имеем дело не с культом личности — поскольку и личность слабо выражена, да вдобавок герметично закрыта от посторонних глаз, — но с культом субстанции, если угодно. Эта субстанция неопределима: ее можно назвать чекизмом — но это узко, мелко и фактически неверно, ибо чекизм жестче и brutальней, чем мягко сияющий «образ Путина». Можно властью — но власть была и у Брежнева, и у Ельцина, и даже у Горбачева, однако культа не породила. Субстанция Путина в наименьшей степени зависит от его личных качеств и вообще имеет мало отношения к реальному Владимиру Владимировичу, который и сам почти наверняка ничего не понимает в происходящем. Эта субстанция — своего рода субстрат коллективных ожиданий, которые оказываются сильнее всякой логики; путинизм — фантом массового самогипноза, порождение общественных чаяний. Если Бог есть, он тоже мало похож на наши представления о нем; мы вольны наделять его любимыми, часто взаимоисключающими свойствами. Как существует Бог христианский, иудейский и мусульманский — так есть Путин либеральный, Путин державный и даже Путин националистический, хотя существует и незначительная прослойка атеистов, утверждающих, что никакого Путина нет, а есть крошка Цахес, которому повезло. Но это, конечно, метафизическая глухота. Лишним доказательством религиозной природы путинского культа служит и то, что он существует в двух вариантах — мягком и жестком, официальном и тоталитарном. Тоталитарная секта Путина — движение «Наши» и его клоны; главный идеолог сектантской версии культа — Владислав Сурков, наглядно доказывающий старую мысль Владимира Мегре (культ «Анастасия», если кто помнит) о тождестве сектантских принципов и сетевых маркетинговых технологий. Тот факт, что пиарщик и маркетолог с менатеповским прошлым оказался во главе тоталитарнейшей из постсоветских сект, наглядно доказывает это тождество: вне зависимости от качества продукта

в тоталитарных сектах и на слабо развитых рынках они именно «впариваются», внедряются насильственно и безальтернативно. Секта никогда не вытеснит официальную церковь — власть сама не нуждается в слишком крикливых и кровожадных адептах; но секта необходима — хотя бы для того, чтобы служить пугающей альтернативой скучноватому силовому официозу и вдобавок растить для него кадры. Повзрослевший сектант чаще всего приходит в церковь, принося туда опыт пассионарности, но и смирения.

Старую формулу Кормильцева — «Можно верить и в отсутствие веры» — следовало бы скорректировать грамматически: не «верить в отсутствиЕ», то есть в безбожие, а в «верить в отсутствиИ», то есть в религиозном вакууме. Анализируемый новый тип веры возможен только при условии пустого места на вершине религиозной пирамиды, только там, где свято место оказалось пусто. Почему — отдельная и долгая тема: возможно, христианство было с самого начала неорганично для России, как утверждают наиболее радикальные почвенники и язычники, что часто совпадает. Возможно, оно было скомпрометировано государством или разрушено большевизмом. Как бы то ни было, вакансия Бога открылась. Сформировалась любопытная религия, рассмотрением которой мы здесь и займемся. Мифология Путина как верховного божества сформировалась не сразу и радикально отличается от ленинской или сталинской. Путин — Бог, которым может стать любой; он изъят из толпы, наделен ореолом народных чаяний — и вот сияет. Любопытно, что мифологема «Бога Сына» со временем развивается в сторону все большего отрицания Бога Отца. В христианстве Отец и Сын — единое, Сын уточняет, конкретизирует, иногда смягчает отцовские установления, лишает веру жестковости, косности и формализма, распространяет ее на все человечество и снимает национальный вопрос — но отрицать ветхозаветного Бога ему, естественно, незачем. Напротив, он постоянно подчеркивает преемственность. Правда, со временем (особенно непримиримо это звучало у Флоренского) богословие отваживается заговорить о несовместимости Ветхого и Нового Заветов. Андрей Кураев даже называет Ветхий Завет собранием иудейских мифов, противопоставляя ему боговдохновенное Евангелие. Культ Сталина формально был продолжением культа Ленина, но содержательно, а зачастую и формально отрицал его; если для шестидесятников Ленин был «анти-Сталин», то для «тридцатников» Сталин был явный и недвусмысленный анти-Ленин, зодчий Красной Империи. Об этом осторожно, но

достаточно внятно, чтобы его услышали, высказался Пастернак: *«Судьба дала ему уделом предшествовавшего пробел... За этим баснословным делом уклад вещей остался цел»*, — то есть, в отличие от разрушителя Ленина, Сталин выбрал органический и эволюционный путь, путь строителя и консерватора (иное дело, что от этого заблуждения Пастернак скоро отказался, — но многие разделяют его до сих пор).

Путин являет полное и открытое отрицание Бога Отца, и тому есть свои причины. Христос не нуждался в том, чтобы поднимать свою популярность и легитимизировать учение за счет неудачливого предшественника, но уже Сталину — при его весьма скромных личных дарованиях — необходим был ореол общественных ожиданий, атмосфера коллективной усталости от разрухи. Путину отрицательный фон позднего Ельцина жизненно необходим — новая мифологическая схема в том и заключается, что единственным положительным деянием Бога Отца было порождение Сына. Впрочем, и в христианстве есть тезисы, прямо подводящие к этому: ведь Христос пришел «спасти мир», и стало быть, мир, созданный Отцом, находился в глубоком кризисе, сродни российским девяностым годам. Таким образом, новая, извращенная и выхолощенная версия христианства опирается на миф о мире, погрязшем во зле, и о Боге Отце, единственной заслугой которого было порождение Сына. Выполнив эту миссию, он ушел на покой, чтобы больше уже не вмешиваться в судьбу Творения. Остается добавить лишь, что вместо храмов «на крови» новая религия возводит бесконечные храмы на нефти, и то, что большинство московских новостроек так и высится незаселенными вследствие безумных цен, лишний раз подтверждает их сакральную, храмовую природу. Церкви не для того, чтобы в них жить; они манифестируют веру — и здание Газпрома в Петербурге как раз и есть один из храмов новой веры; спор о целесообразности его возведения, таким образом, бесплоден.

Вопрос о том, чего требует от адептов эта религия, предлагает ли этику, — сложен и неоднозначен. Риторические призывы «быть, как Путин» содержат в себе логическое противоречие и даже более абсурдны, чем старые призывы «такими быть, как Ленин». Культ Ленина слишком рационален, чтобы стать религией; стать Лениным или, по крайней мере, асимптотически приближаться к нему — вполне возможно, для этого достаточно любить маму, получить золотую медаль, отомстить за брата и т. д. Но стать, как Путин — совершенно немыслимо, поскольку нынешний статус Путина не есть результат его карьеристских действий и даже собственных заслуг,

каковы бы они ни были. Путин не раз повторял, что он не политик, а гражданин России, ставший ее президентом. На вершину он был вознесен не только потому, что доказал лояльность и скромность, но и потому, что принадлежал к последнему кадровому резерву (в этом контексте Лубянка выступает богиней-матерью, которую Бог Отец хоть и бил поначалу, но под конец признал единственно достойной партнершей). Больше, в общем, было некого. Торжество Путина и его нынешний статус есть суммарное порождение чуда, наития, случайности, кризиса, ельцинского одиночества, нефтяного подорожания — словом, такой совокупности факторов, при которой личные качества властителя (если только он не маньяк) никакой роли сыграть не могут. Стать Путиным — значит организовать волшебное стечение всех этих случайностей, а такое никому не под силу. Путин — в чистом виде Избранник (Бога, судьбы, случая); его утверждение, как любят говорить иерархи РПЦ, «промыслительно». Возможно, для демонстрации этого принципа был сознательно избран «человек без свойств», единственным внутренним содержанием которого являются ожидания толпы и лексические упражнения придворных технологов, — но, зная, само небо одобряет этот выбор, ибо пока у нас во власти случались личности, ничего хорошего из этого не выходило. Путин — не личность, а посредник, медиум; через него благодать транслируется непосредственно, без помех. Следовательно, от личности ничего не зависит (отсюда и упомянутый культ субстанции), а значит, не может быть и этического кодекса имени Путина. Этические требования новой религии предельно скромны и сводятся к выполнению нехитрых ритуалов, из которых и состоит вся политическая жизнь. Один ритуал нам был недавно продемонстрирован — это ежегодное общение Божества с верующими, причем ответы на вопросы все чаще идут по ветхозаветной, недавно актуализированной схеме. Если помните, Иов спрашивает Бога «за что?», получая в ответ перечень особо выдающихся божественных деяний (как то: Левиафан, ряд пейзажей и др.). В последнее время общение идет именно по этой схеме: народ говорит о своих проблемах, Правитель излагает перечень достижений, зачастую не относящихся к делу. Иногда производятся одно-два показательных чуда, и скоро, при неизменности вектора, дело дойдет до исцелений.

Еще один ритуал, тоже недавно продемонстрированный гг. Церетели, Михалковым, Чаркиным и Салаховым, — сводится к мольбе о неоставлении. Сугубо ритуальный характер этой просьбы очевиден, поскольку ее адресат неоднократно заявлял о

желании уйти в отставку, как и предписывает Конституция; в конце концов, большинство ритуальных призывов имеет сугубо риторический характер. Просьба к Верховному Божеству не оставить подданных архетипична для всех религий. Иное дело, что в данном случае она, может быть, не так уж риторична — поскольку вопрос об отставке Верховного Божества никогда еще в современной истории не вставал, и как тут поступить — в самом деле непонятно.

Христианский Бог умер и воскрес; в духе этой мифологемы отдельные адепты нового божества предлагают вариант с кратковременной отставкой и последующим триумфальным возвращением, уже навсегда. Этот вариант, однако, сомнителен как раз потому, что Второе пришествие бесконечно откладывается и вдобавок знаменует конец света. Вряд ли найдется хоть один россиянин, который согласится на возвращение Владимира Путина во власть при условии немедленного Страшного суда. Вместе с тем удалиться от подданных Бог тоже не может — это чревато фрустрацией, драмой, прекращением экономического роста. Единственное, что можно предложить в этих обстоятельствах, — срочное создание новой церкви, главой которой мог бы стать Владимир Путин, но светское оформление этой церкви пока неясно. Совет безопасности или любая госкорпорация на роль церкви не тянут, потребно что-то менее прозаическое, лучше бы идеологическое, — но как раз идеологии-то у Путина нет, поскольку вся она сводится к абстрактной вере в Промысел, спасающий Россию, подбрасывающий ей то нефть, то газ, то выходца из спецслужб. Вся эта идеология уже многократно описана, в том числе и автором этих строк: она сводится к апологии простейших «сырьевых» ценностей, имманентностей вроде крови и нефти, родственных связей и газовых месторождений. «Суверенитет» следовало бы перевести на русский не как «самодержавие», как предлагали авторы книги «Рано подводить итоги», а именно как опору на эти имманентные, изначально данные вещи. Но суверенная демократия покамест никак организационно не оформлена, да и потом, как подчеркнул Владимир Путин, это не он работает у Суркова, а Сурков у него. Следовательно, за оставшиеся до выборов месяцы должен возникнуть некий орган вроде совета старейшин, который Владимир Путин сначала должен возглавить (после долгих просьб ткачих, поварих и бабарих), а потом заменить собой, как тройку «Единой России». Главной чертой этого органа должны быть не идеологическая выверенность, не силовые полномочия, не финансовое могущество — но абсолютный и беспрекословный авторитет. Тогда не будет противоречия между будущим

президентом и нынешним отцом нации, и не возникнет перспектива двоевластия, лишаящая сна Максима Соколова. Оптимальным вариантом, конечно, было бы провести Путина после отставки прямиком в Патриархи, но это, во-первых, трудно выполнимо, а во-вторых, авторитет РПЦ в сегодняшней России, увы, значительно уступает путинскому. Скорее уж возможно преобразование Лубянки в некий альтернативный храм: Путин, вновь возглавляющий госбезопасность, — сильный ход, при условии, что госбезопасность станет уже не просто спецслужбой, но средоточием российской государственности как таковой. Превращение отца нации в Великого инквизитора — не худший вариант, помогающий заодно отмыть добела черноватое чекистское ведомство. Это нормально и в смысле разделения властей — поскольку Лубянка давно уже государство в государстве и осуществляет собственный план, параллельный основной российской истории. Правда, для такой рокировки Лубянка должна стать достойной новой главы и получить либо обновленный статус, либо небывалые полномочия, либо новое здание с чертами традиционного храма и особым подвалом для жертвоприношений.

Есть еще, конечно, вариант с вознесением. Но какое вознесение в наш технический век? Разве что в президенты США — но это, кажется, еще нереальней вертикального старта в небо среди бела дня.

2007 год

Пятидесятилетний рабочий Аркадий Петрович Грачев, проживающий в городе Кандалакша Мурманской области, прислал в редакцию одного еженедельника, где я работаю, вот такое — абсолютно грамотное, хоть и с извинениями за орфографию, — короткое письмо твердым почерком:

«Уважаемая редакция! Может ли кто-нибудь ответить, что происходит у нас в стране? У меня такое ощущение, что всех журналистов обуял липкий страх. Они оправдывают любое действие президента. То, что у нас начинается культ личности, мне довольно ясно. Нисколько не умаляю заслуг президента, но о них столько твердят, что даже страшно подумать, что бы мы без него делали.

Почему в Чечне возрождается цензура? Это уже не Россия? Почему никто не встречается с рабочими — не теми, которых начальники подсовывают, а теми, кого коллективы делегируют? Может, обстановка стала бы ясней и страна крепчала быстрее? Почему партия, которую поддерживает президент, постоянно призывает его нарушить конституцию? Почему так живет трудовой народ в глубинке? Почему человек, который хочет и может работать, должен прозябать?

Но это вопросы не к журналистам. А к журналистам вопрос один: вас прикормили или запугали? Молчанием или замалчиванием гордиться не надо. Единомыслие — это нечестно».

Я бывал в городе Кандалакша и примерно представляю себе, как живет его население. Но отвечать Аркадию Петровичу на социальные вопросы я не уполномочен, да и в Москве хватает людей, живущих вполне по-кандалакшински. Я пытаюсь ответить на прямо обращенный ко мне вопрос: почему нам страшно?

На него нет рационального ответа — я, по крайней мере, не знаю. Россия на моей памяти попадала в гораздо худшие переделки, чем нулевые годы, — но такого повального и действительно липкого ужаса не было ни при раннем, ни при позднем Ельцине, ни при раннем Путине, ни при позднем Брежневе. Боятся все: редакторы на телевидении и радио, цепляющиеся к каждому слову, душащие в зародыше любой маломальски живой формат. Руководители силовых ведомств,

грызущие друг друга и робко, с оглядкой, которая трудно сочетается с надрывным пафосом, выносящие сор из Большого Дома. Олигархи, которых почти не осталось. Банкиры. Журналисты. Учителя, боящиеся ляпнуть на уроке истории что-нибудь, не соответствующее новому краткому курсу. Да что там, Аркадий Петрович, — вот я вам пишу это письмо и боюсь. Чего? Не знаю. Но текст дается мне трудно: я оглядываюсь на множество потенциальных читателей и привходящих обстоятельств. Раньше этого не было.

Зыбкий кисель в душе, неосушаемое болото, «двадцать семь лет непрерывной тряски», как характеризовал свою советскую жизнь Бродский, — это как раз и есть здоровое, наиболее адекватное состояние россиянина. Особенно если учесть, с каким наслаждением, с какой нескрываемой готовностью он в это состояние плюхается при первом сигнале «можно и нужно». Так проститутка, выкупленная из публичного дома разночинцем и вроде как приучаемая им постепенно к рутинным занятиям вроде шитья, радостно изменяет ему при первой возможности с его же другом-студентом — просто потому, что ничего другого не умеет.

Вряд ли население России боится исключительно за свою жизнь, потому что хуже бессмысленной, бездарно проходящей, вялой и позорной жизни все равно ничего не бывает. Существование, для поддержания которого ты трясешься перед каждым чиновником, унижаешься перед каждым жэковцем и заискиваешь перед каждым водопроводчиком, — не та ценность, за которую хочется цепляться. И ведь не сказать, чтобы не знали другого. Предположить, что верят пропаганде? Но качество этой пропаганды говорит само за себя, в нее не верят даже те, кто вынужденно (правда, никто не заставлял) ее озвучивают. И озвучивают-то с улыбками и подмигиваниями — типа, ребята, ну все же ясно? Однако, видимо, эта легенда про враждебное окружение, про злобную Грузию и смертельно опасную Украину достигает цели: есть сказки, в которые приятно верить вне зависимости от того, очевидна ложь или нет. Предположить, что боятся неопределенности, безальтернативности нынешнего правления, невозможности выстроить здесь другую конфигурацию власти и общества? Так ведь альтернатив море, и совершенно очевидно, что большинство будут лучше теперешнего варианта. Жареный петух еще не клюнул, нефть не подешевела? Так ведь он уже клюнул, много раз клевал — и все без толку. Кого боятся — Путина, гебни, бандитов, суда, начальства, кризиса? Непонятно, сами не знают. Но — парализованы, скованы, обезличены и обездвижены, и уже соревнуются «кто хуже», надеясь, что худших не тронут. А я глубже лизну! А я больше

запрещу! А я наглее совру! А я злее наору на того, кто зависит от меня и боится меня! Высунулся — получи. Обратил на себя внимание — не жалуйся. Всем сесть по стойке «Кротко» и спрятать головы в колени. Казалось бы, одни должны бояться, а другие — испытывать мстительный восторг реванша, но так уж получается во время российских заморозков, что победителей нет. Я вижу, конечно, патриотов, думающих, что теперь-то они отмстят либералам, — но патриотов запугивают не меньше, вон уж и в экстремисты производят, и террор приписывают... И державники, выдумывающие новую идеологию, и восторженные адепты «России, поднявшейся с колен», — видимо, опирается она при этом на нефтяную вертикаль, — запуганы до дрожи, до писка. Я ведь слышу, какими голосами они разговаривают. Их угрозы и пафос, их нацистский надрыв, их туманное наукообразие и слюнявый подхалимаж — все с сильнейшим привкусом ужаса, с запахом холодного пота.

Вернулся главный принцип советской очереди: ненавидеть всех, кто впереди, и презирать всех, кто сзади. Страх убивает человечность быстрее всех иных пороков, он разъедает человеческое, как кислота, — вот почему в России почти не осталось человеческого. Казенного, службистского, кафкианского — очень много; но того, что делает жизнь жизнью, а страну страной, почти не осталось. Не за что цепляться — и странна эта безумная привязанность к стабильности, при которой сохраняется и умножается только худшее.

Пожалуй, именно кафкианские аллюзии сейчас наиболее актуальны: Россия сегодня — очень кафкианская страна, вроде огромного «Замка». В Замке ведь тоже нет никаких репрессий — только зыбкая трясина всеобщего почтительного ужаса да соревнование в мерзости, дабы угодить мерзейшему Кламму. Откуда же берется этот ужас у героев Кафки, а главное — откуда он взялся у него самого, в тихой Австро-Венгрии, в буржуазной среде, в укомной конторе, которую он хоть и терпеть не мог, а посещал исправно? Причина сформулирована в «Письме к отцу»: этот вечный ужас и ощущение полного своего бесправия — черта детей, которых не любили. Как-то, желая воспитать в сыне стойкость и отучить его от ночных слез, отец взял да и выставил его в одной рубашке ночью на балкон. Продержал он его там недолго, но этой четверти часа хватило, чтобы маленький Франц Кафка понял: с ним можно сделать все, что угодно, и никто его не защитит. Это вообще-то очень страшное сознание — что с тобой ВСЕ МОЖНО. Нет ни закона, ни милосердия, ни абсолютного авторитета, который бы взял и громко сказал, что ТАК НЕЛЬЗЯ. Все мы с детства растем в сознании, что применительно к нам все

разрешено; что нет закона, который ограничил бы произвол; что нет морали, которую нельзя было бы отменить очередным съездом-плenumом-митингом. Мир без опор как раз и есть мир сплошного, тотального, бесконечного страха — потому что опереться в нем не на что. Кафка вырос таким потому, что его не любил отец. Мы выросли такими потому, что нас не любила мать — общая, грозная мать Родина, которую здесь так любят изображать с мечом и которая поныне встречает гостей Киева, напоминая о меченосности местного материнства.

Недолюбленные дети — страшная сила. Они не только понимают, что ничем не защищены, — они и сами готовы ничем себя не ограничивать, глумясь над чужой беззащитностью. Изуверство — обратная сторона страха: вот почему в армии из самых забитых новобранцев получают самые страшные деды. Вот почему в современной России все не только дрожат, но и с улюлюканьем кидаются травить любого несогласного или просто немного отличного от массы. Страх вообще — самая гадкая из человеческих эмоций; ничто так не выхолащивает жизнь. Если потолстовски представить нашу личность как дробь, вынеся в числитель все хорошее, что мы можем и видим, а в знаменатель — все отвратительное в нас и вокруг, страх почти сведет эту дробь к нулю: все хорошее безжалостно обесценит, а отвратительное многократно раздует. И что самое ужасное — эти нынешние страхи расплывчаты, размыты, не то что беспочвенны, а безадресны. Кого бояться? Почему смена власти, проходящая в обстоятельствах мирных и давно просчитанных, сопровождается такой нервозностью? Что грозит кремлевским элитам? — по миру-то уж как-нибудь не пойдут! Даже в 1999 году, когда в Москве взрывали дома, «Отечество» не на жизнь, а на смерть боролось с «Единством» и приход ОВР к власти реально угрожал ельцинскому окружению утратой статуса, а то и свободы, — такого страха не было: наверное, потому, что можно было высказывать опасения вслух. А отчасти потому, что случаи откровенно низкого, нарочито омерзительного публичного поведения были еще не так многочисленны: не достигала таких высот лезть, стеснялись так широко и беззастенчиво врать, не объявляли любого несогласного наймитом Запада, желающим расчленить нашу независимость и украсть нашу нефть... Уровень страха в обществе сильно зависит от нравственного здоровья этого общества: одно дело — бояться сограждан, пусть иногда звероватых, но вполне цивилизованных. Другое — кровожадных дикарей. Третье — гигантских рептилий, от которых и вовсе не знаешь, чего ждать. Дикари плохи, нет слов, да и сограждане не ангелы, но сегодня повылезли рептилии. В них еще кое-как

узнаются сограждане — у кого-то очки, у кого-то шляпа там или книга под мышкой, — но пахнет от них уже иначе, и следы остаются склизкие.

Если спросить перестраховщиков, вымарывающих каждое живое слово из телепроекта или радиоинтервью, — чего они, собственно, боятся, что такое ужасное с ними сделают? — они не ответят, потому что массовые репрессии пока все-таки не стоят на повестке дня, да вряд ли они и возможны в полуоткрытом обществе вроде нашего. Возможно, сильна память о восьмидесятых, когда на общество хлынул вал лагерной литературы об ужасах ГУЛАГа, шарашек и многодневных допросов, — но в тридцатые вала этой литературы еще не было, так, хилый поток политкаторжанских мемуаров. А страх был, да какой! Еще и брать по ночам не начали, еще только своих же в верхах хватали, — а ужас уже полз и ширился, катком проезжался по стране, парализовал талант художников, волю полководцев, любопытство журналистов... И чем больше обожествляли Верховного, чем тоньше пели, тем больше боялись; чего? Арестов, избиений, Колымы? Так ведь не знали еще ничего об этом. Позора? Разлуки с домашними? Смерти? Но ведь в двадцать первом было страшней, кровь ручьями лилась — и не боялись, летели в атаку, голодали, топили буржуйки книгами, под обстрелами ходили друг к другу в гости. Почему отчаянные краскомы, кидавшиеся в бой за рабочее дело, с такой легкостью сдавались пятнадцать лет спустя, когда за ними приходили? Почему тряслись бесстрашные маршалы?

Причин, на мой взгляд, было две. Первая — роковое сознание собственной неправоты, неизбежной расплаты. Они много наворотили и понимали это, своими руками выстроили пирамиду, которая теперь их давила. Русская революция и гражданская война создали ситуацию, в которой неправы оказались все. Чистой, безупречной, эскепистской позиции в те годы — не было. Виноваты были красные и белые, левые и правые, народ и интеллигенция; боровшиеся с властью (ибо она все-таки вытягивала страну из бездны) — и принимавшие ее (ибо из одной бездны она тотчас ввергала в другую). Всем было чего бояться, у всех в душе была трясина, каждый многократно предал себя во время этой борьбы — потому что и главное требование этой борьбы было: переступи через себя, через личность и совесть — во имя идеалов, сначала одних, а потом других. Смирись перед партией. Искорени в себе человеческое. Вот в результате человеческого и не осталось, и не на что стало опереться, когда накатил ужас: у всех этих людей, десятки раз отказавшихся от себя, не было опор, позволяющих достойно переживать смутные

времена. Партия постоянно отрекалась от себя, петляла, переписывала собственную историю. И вертикаль, к которой можно прислониться в душевной смуте, исчезла: кроме ужаса, не осталось ничего. Властные вертикали ее не заменяют.

Но разве нам самим не случалось в девяностые и позже предавать себя, когда на наших глазах, сначала под предлогом освобождения, а потом под предлогом восстановления государственности, то и дело совершались дела бессмысленные, аморальные, корыстные и глупые? У нас тоже не осталось ни одного нескомпрометированного идеала, ни одной необолганной ценности. Чем обернулась свобода — все видели. Чем оборачивается государственность — тоже видят все: трибунными ткачихами, например. Или «Нашими». Или «Единой Россией» с ее первой троицей, единой в одном лице. Для ослабленного организма и насморк — серьезное потрясение; для обесмыслившейся, лишенной стержня души и самый мелкий страшок оборачивается вселенским ужасом.

Есть, впрочем, и вторая причина: человек вообще-то давно борется со страхом смерти. Столько, сколько существует. Он придумал массу замечательных отвлечений — культуру, общественную жизнь, философию. Но когда люди сами у себя отобрали все, что делает жизнь жизнью, — им и отвлечься не на что: они смотрят на Петросяна, на «Ледниковый период», на «Программу максимум» — и трясутся. Это не может отвлечь от главных проблем бытия, поскольку лежит в другой плоскости: все равно что мазать больной зуб йодом. Проблема глубже, и справиться с ней может только то, что проникает в душу достаточно глубоко. А у нас ничего этого не осталось. Даже йод уже под вопросом.

Тут есть и всякие привходящие моменты — я упомянул бы о двух, наиболее существенных. Во-первых, раньше, в те же семидесятые, существовали какие-никакие правила игры. Оглядывались на Запад, то, се. А сегодня у нас суверенитет — в том смысле, что мнение Запада нам по барабану, да и мы Западу, если честно, тоже. Нефть качаем, и ладно, а сажают при этом пусть хоть каждого второго. Как раз останется ровно столько народу, сколько нужно для нефти. Сегодня власть привыкла не просто побеждать, а доламывать и дотапывать: побежденного не милуют, война идет на уничтожение, это как раз одна из немногих методик, которыми спецслужбы овладели в совершенстве. Почти ничего другого они толком не умеют — отсюда и почти стопроцентная уверенность в том, что на ближайшее время это станет их главным занятием. С нанотехнологиями у них всегда получалось как-то хуже. Это и

есть их главная нанотехнология.

А во-вторых, привычный вывих не так-то легко вылечить. Есть многолетний опыт подхалимажа и вранья, и выстраивания в затылок по первому требованию, и азиатчина в смеси с византийщиной, и государственный садомазохизм, вошедший в кровь и плоть населения, и разврат вседозволенности, и генетическая память. Иначе никак не объяснишь, почему двадцати- и тридцатилетние, не заставшие не только сталинщины, а и брежневщины, — с такой легкостью копируют в «Русском журнале» стилистику советских заметок о Буковском, так самозабвенно прорабатывают колеблющихся и клеймят отщепенцев. Историю не отменишь постановлением — она копится в генах. И в генах у нас с вами, дорогой Аркадий Петрович, ничего особенно хорошего нет.

Но есть и главная причина этого страха, о которой я покамест ничего не сказал, а надо бы. У нас на глазах, на ровном месте, без всяких усилий со стороны президента — и, убежден, не по его инициативе, — колесо русской истории вновь делает предсказуемый поворот. И тот факт, что это практически в неизменных формах происходит в XXI веке, среди остального мира, давно преодолевшего подобные соблазны, при общем ясном понимании происходящего, в здравом уме и твердой памяти, — как раз и есть самое жуткое: мы боимся не нового Сталина, не конкретного человека или ведомства, а иррациональной, грозной и неопределимой силы. К Богу она, конечно, никакого отношения не имеет, скорее уж к Его главному оппоненту. Назовите это роком, или судьбой, или русской матрицей, как принято сейчас у верховных идеологов, — это почти так же страшно, как яма из «Страшной мести», от которой колдун пытается убежать — но она караулит его на всех путях, а когда он стоит на месте, сама ползет к нему. Страшен Сталин, но фатум страшнее Сталина. А именно фатум явлен нам сегодня в полный рост: страна, полная талантливых, умных и честных людей, на глазах становится все бездарнее, глупее и бесчестнее, и двадцать лет спустя все опять будут спрашивать себя, как маньяк после оргии: что это мы?! Неужели это мы?! «Умопомрачение какое-то», как сказал Владимир Путин, посещая Бутовский полигон. Боюсь представить, как страшно ему самому.

Что делать? — вопрос отдельный. Да вы мне его и не задаете, Аркадий Петрович. Вы спрашиваете, почему мы все боимся.

Ну вот, я ответил. Если не вам, так хоть себе.

Опыт о свободе и справедливости

Разговор о том, почему идея справедливости в России популярней, чем идея свободы, можно было бы свести к одному тезису: потому что под предлогом справедливости можно переморить больше народу, чем под предлогом свободы.

Российская государственность оперирует не смыслами, а ощущениями. Одни и те же люди пылко выступают в поддержку взаимоисключающих тезисов, как зрители, аплодирующие на ток-шоу не умным мыслям, а сильным выражениям. При просмотре фильма Никиты Михалкова «12» публика с равным одобрением хлопает монологу Сергея Гармаша, оправдывающего ксенофобию, и речам Алексея Петренко, призывающего к человечности. В обоих случаях актеры задевают общие места коллективного бессознательного, но этому бессознательному совершенно не важно, под каким предлогом достигать вожделенного ощущения (как наркоману, в сущности, не принципиально — от чего кайфовать: это могут быть таблетки, трава или укол). Наиболее желанным для массы ощущением является теплая, оргиастическая сплоченность, достигаемая чаще всего за счет травли кого-то одного, непохожего или несогласного. Необходимость в такой травле — следствие высокой энтропии самой массы, которую не связывает воедино никакой принцип, никакая мораль, ни даже чувство Родины, о которой у всех слишком разные представления. Для того, чтобы переживать эту блаженную и бессмысленную общность (блаженство и бессмыслица у Мандельштама не случайно синонимы — при осмыслении какое же блаженство?), в России постоянно надо прибегать к репрессивным мерам, ибо только они еще ведут к иллюзии единства и правды: правыми мы можем себя чувствовать лишь от противного, по контрасту с чужой неправотой и преступностью. Вот почему россияне всегда восторженно приветствуют репрессивные меры (даже когда отлично сознают, что эти меры в той или иной степени коснутся каждого). Вот почему свобода чаще всего вызывает разочарование и разговоры о том, что без палки с нами нельзя.

На самом деле, в здоровом обществе, свобода и справедливость отнюдь не являются взаимоисключающими понятиями. Одна из наиболее примитивных и потому действенных ловушек дьявола в том и заключается, что друг другу противопоставляются вещи взаимно обусловленные, друг без друга невозможные; закон и благодать так же нуждаются друг в друге, как свобода и справедливость, гуманизм и порядок, вера

и сомнение. Свобода без справедливости превращает общество в стаю, справедливость без свободы — в стадо; и в том и в другом очень мало человеческого, но человечность дьяволу вообще отвратительна — он все время тщится объявить ее признаком слабости, развращенности, а то и безбожия. Религиозная идея, как правило, требует не противопоставления, а синтеза — крест олицетворяет собою не только и не столько победу над смертью, не только напоминает о распятии, но и отрицает бинарную модель мира, безмерно упрощающую его. Как правило, в борьбе двух крайностей побеждает третья, а сами они взаимно уничтожаются; в противостоянии справедливости и свободы — или, допустим, милосердия и порядка, — точно так же не может быть победителя. В России это особенно заметно — здесь нет ни свободы, ни справедливости; однако очередная борьба за справедливость, пароксизм уравниательства и расправ с элитами, сотрясает страну примерно раз в десятилетие, под разными предлогами. Это может быть борьба с хищениями в торговле, с олигархией, с коррупцией в спецслужбах — и вся эта борьба, естественно, ни к чему не ведет, поскольку искоренение несправедливости отнюдь не является ее целью. Богатые становятся богаче, бедные — беднее, а война кланов в итоге приводит все к той же отрицательной селекции: выживают и приспособляются мерзейшие. Однако такие мероприятия пользуются неизменным всенародным одобрением — поэтому с них чаще всего и начинаются массовые репрессии: они уже легитимизированы народным восторгом и благодарностью, так что потом роптать уже бессмысленно. Сами хотели.

Под лозунгами свободы и справедливости осуществлялись все русские революции, но со свободой почему-то разбирались очень быстро, запрещая все, что враждебно победившему классу. Справедливость растягивалась на десятилетия, поскольку общество, живущее в условиях тотальной несвободы, крайне редко оказывается способным конструктивно что-нибудь созидать. Оно отлично справляется только с одним — с самоистреблением, которое и становится неизбежным в условиях дефицита всего по очереди. Стоит отнять свободу — как можно практически бесконечно устанавливать справедливость, выбирая жертв по мере нарастания проблем. Конечно, это справедливость в скобках, кавычках и с прочими поправками: под справедливостью россияне традиционно понимают отмщение, желательно кровавое. Но само это отмщение сулит такие наслаждения, перед которыми бледнеют все негативные последствия.

Россия — страна чрезвычайно непосредственная, удобная для

наблюдений: можно сказать, что человеческое здесь до сих пор под вопросом, если не под запретом. Все, что «сверх биологии», тут изначально подозрительно: Россия — страна базисов, а не надстроек. Закономерности, отмечаемые обычно в зверином сообществе, тут наглядны, как нигде. Человека от зверя отличает соблюдение нескольких нехитрых законов, как помнит всякий читатель «Острова доктора Моро», — но как раз законов-то российское население и не признает, ибо консенсусных, всеми признаваемых норм тут нет в силу исторического раскола на условных европейцев и столь же условных азиатов; даже правила дорожного движения тут соблюдаются далеко не всеми, и если одни требуют карать смертью за переход улицы в неположенном месте, другие готовы упразднить и «зебру», дабы восторжествовали права свободного индивида. При отсутствии законов сама идея справедливости выглядит издевательской, и не зря в России так любят устанавливать справедливость не для всех, а для тех, до кого могут дотянуться. К счастью, пароксизмы особенно бурных тематических расправ внутри одного большого репрессивного периода длятся недолго: устроив себе небольшое кровопускание, страна дремлет лет пять или десять, после чего опять дружно начинает бороться с валютчиками, спекулянтами, безродными космополитами... Мода нынешнего сезона — борьба с коррупцией силами самих коррупционеров, опять-таки наиболее циничных, сочетающих беспредельно наглое воровство с полуграмотной, но очень энергичной патриотической риторикой. Так выглядит справедливость без свободы; немудрено, что в результате кратковременных реваншей за такую справедливость народ умудряется полностью демонтировать государство, утверждая в оправдание, что оно нереформируемо. После краткой эйфории его возводят вновь в практически неизменном порядке, хотя и в сильно деградировавшем виде.

Нынешняя эпоха в этом смысле особенно показательна: широко анонсированное равноудаление олигархов никого не обогатило (кроме узкого круга частных лиц, которых обогащает все). Заметим, что подлинной справедливостью было бы строительство пусть слабого, половинчатого, но социального государства: того, в котором старик не обречен на нищету, инвалид вправе рассчитывать хотя бы на один колясочный пандус на станции метро, а школьникам полагаются вкусные, сытные и дешевые завтраки. Ничего этого нет: Россия опять ограничилась выполнением репрессивной программы. Блаженство, которое она при этом испытывает, не сравнишь с тихой, не многим доступной радостью творчества. Можно сказать, что российский социум, одержимый идеей справедливости, в известном смысле

напоминает крысу, бесконечно жмущую на рычажок, активирующий электрод у нее в мозгу: электрод раздражает «центр наслаждения» или «центр сытости», а крысе хоть трава не расти: она умирает от истощения за две недели, но в эти две недели чувствует себя много счастливее всех нормальных крыс. Отсюда превосходная русская литература, сильное киноискусство (оно больше зависит от экономики и потому процветает не всегда), забавный национальный характер, поэтичный и грозный в точках экстремума, но почти незаметный в ровные времена. Центр наслаждения, по большей части садомазохистского, расположен в российском коллективном мозгу где-то в той точке, которая отвечает за теплые единения и оргиастические расправы. Несколько раз я замечал, что садомазохистские сайты в Интернете создаются и посещаются в основном русскими либо выходцами из России (там полно и европейцев, но они по большей части выступают в функции благодарных зрителей, как и в реальности). Темы эротических рассказов на этих сайтах связаны в основном с крепостным правом, революцией, коллективизацией и Великой Отечественной войной, хотя есть и несколько блестящих, истинно кафкианских историй о бюрократии. В этих рассказах самоистребление населения доставляет обеим сторонам — палачу и жертве — максимум удовольствия; рассказчик тоже не обижен. Сексуальная природа европейского фашизма вскрывалась во множестве картин от «Сало» до «Ночного портье», но сексуальная природа советского и впоследствии русского тоталитарного социума в кино доселе почти не разрабатывалась в связи с его крайней неэстетичностью (если не считать «Чучела» с подробным исследованием физиологии травли). Первым оказался в силу личной перверсии Алексей Балабанов — и масса с готовностью откликнулась, увидев в страшноватом «Брате»-Даниле культового героя. В «Грузе 200» метафора доведена до совершенства — здесь взаимное маньяческое мучительство является основным занятием практически всех персонажей (можно ведь предполагать, чем развлекается герой Алексея Серебрякова на своей одинокой заимке, из которой планируется сделать «город солнца»). Легче всего списать это на балабановское безумие или пристрастность автора этих строк, но «Груз» вряд ли стал бы общественно значимым диагнозом, если бы не попал в нерв.

Делать прогнозы в этих ситуациях легко: если больной не найдет себе более сильного раздражителя и более полного наслаждения, чем самая простая животная стадность под предлогом справедливости, если от наслаждений животного порядка не перейдет к чисто человеческим радостям вроде

творчества и гуманизма — его ждет судьба крысы, да уже почти и дождалась. Вечно питаться ресурсом нельзя — надо что-нибудь делать, а большинству российского населения очень не хочется отвлекаться от справедливости, понимаемой как строго периодическая оргия самоистребления. Владимир Путин, вместо того чтобы вправлять этот привычный вывих, предпочел усыпить или заткнуть потенциальных костоправов — хорошо еще, что не переморить, но ведь и правление его пока не кончилось. Недавняя вакханалия взаимных разборок в органах породила в обществе (в том числе и в верхах) новую волну липкого ужаса — ничего не изменилось ни социально, ни нравственно, ни эстетически. В этом смысле мы все дальше от остального мира, который куда-то (пусть к смерти) движется и в какую-то сторону (пусть в закатную) развивается. Россия обречена на самоповторы вечно и может пережить все западные системы, а заодно и Китай. Правда, чёрта ли в таком бессмертии? Но это тема отдельного разговора.

2007 год

Сага о форсажах

Главный жанр, повествующий о распаде империи, упадке старого государства и рождении нового, — семейная сага. Это вещь объяснимая: смену доминирующих идеологий проще всего показать через смену поколений, конфликт отцов и детей; слом уклада лучше всего иллюстрируется распадом большого патриархального семейства. Семья символизирует нацию, которая героически прошла через очередной излом, но не раскололась до конца, ибо скрепы, сдерживающие ее, оказались сильнее любых исторических катаклизмов. Почти любая грамотно построенная сага — и уж точно любой халтурно-эпигонский ее вариант — венчается встречей Большой Семьи за Большим Столом и хотя бы иллюзорным примирением главных героев (как правило, братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад). Саги для того и пишутся, чтобы возродить преемственность — то есть доказать, что главные катаклизмы позади.

Кризис Германии породил «Будденброков», кризис британской империи — «Форсайтов», перерождение российской в советскую — «Дело Артамоновых», «Тихий Дон», «Хождение по мукам»; кризис сталинизма породил «Журбиных» в исполнении Кочетова; отчетливый упадок уже советской империи вызвал к жизни жанр эпигонской, могучно-почвенной, пухло-многоatomной семейной саги в исполнении Г. Маркова («Строговы»), А. Иванова («Вечный зов»), П. Проскурина («Судьба» с двумя продолжениями). На гибель СССР успел отреагировать один Василий Аксенов (которому мы, пользуясь случаем, горячо желаем скорейшего выздоровления): «Московская сага» была одновременно и пародией на семейно-исторический роман, и первой пробой многих современных приемов. В конце девяностых чуткие умы распознали грядущую стабилизацию и необходимость осмысления Нового бурного периода. Первым отстрелялся Дмитрий Вересов (Прияткин), измысливший своего «Черного ворона», — а поскольку в советской истории много иррационального, он оказался пионером в насаждении мистического колорита на семейственной ниве. Вслед за Вересовым устремился Бахыт Килибаев, чья сага про «МММ» задала когда-то параметры образцовой рекламной кампании: теперь он сочинил телероман «Громы» — историю шахтерской семьи. По готовым килибаевским лекалам не пишет сегодня только ленивый: Елена Арсеньева запузарила в «Эксмо» серию «Русская семейная сага» и клепает роман за романом — «Несбывшаяся весна», «Зима в раю», «Осень на краю», «Последнее

лето» (будь в году не четыре, а двадцать времен, — событий в семье Аксаковых, Русановых и Вознесенских хватило бы). Александр Лапин издал грандиозную сагу «Русский крест», писанную языком лирической передовицы. Елена Колина написала «Сагу о бедных Гольдманах». Женский детектив пасует — даже Полина Дашкова переключилась на семейно-исторические тайны. Алексей Пиманов с «Александровским садом» окончательно закрепил каноны жанра — и в литературе, и на телевидении; поток саг будет все полноводней, ибо для эпох стабильности нет ничего лучше семейного чтения, а мысль, что все мы одна нация, несмотря на мелкие разногласия вроде истребления трети населения, актуальна как никогда. Героическое наследие, все дела.

Особенность жанра русской семейной саги, правда, в том, что крахи империй на протяжении последних ста лет у нас случались с потрясающей регулярностью, несколько могущественных государств пали на памяти одного поколения, и живы, слава Богу, те, кто родился при царе. Преемственность то и дело приходилось сращивать, склеивать и полировать. Примерно треть героев по причине очередного катаклизма стабильно отлетает за границу. В результате идеальная русская семейная сага, вобравшая в себя опыт Проскурина, Иванова, Арсеньевой, Килибаева, Вересова и Пиманова, должна выглядеть вот как (автор не настаивает на своей интеллектуальной собственности, поскольку сам писать эту многологию не собирается, а новая и на этот раз окончательная Россия остро нуждается в фундаментальном эпосе: берите, не жалко).

Том первый.

В большой, а главное — дружной, семье волжских купцов Столбовых растут два сына и дочь. Столбовы могущественны, родом они старообрядцы (тут хорош намек на то, что один из братьев Столбовых взял сторону Никона и новой веры, а другой избрал старообрядчество, так что расколы проходили через столбовое семейство с петровских, если не с опричных времен). Отец, Иван Столбов, — купец сурового нрава; мать, Акулина Столбова, — смиренная старушка, поистратившая женскую силу на рослых красавцев-сынов. Старший, Андрей Столбов, — убежденный большевик. Младший, материн любимец, — нежный и культурный Алексей Столбов, любящий веру, культуру и Русь святую. Рыжая красавица Елена Столбова, мечта всего приволжского юношества, политикой не интересуется и мечтает о

театре. В нее влюблен местный аристократ Молоствов, употребляющий выражения вроде «да-с», «так точно-с» и «очень прикольно-с». Революционная буря 1905 года забрасывает Андрея на каторгу, а кроткого Алексея — в Союз Михаила Архангела. (Если автор ориентирован на массовую беллетристику, здесь уже можно подпускать историю про отцовское наследство — крепкий старик Иван Столбов зарыл его очень глубоко, а разгадать завещание сумеет только тот, кто прочтет тайный код старообрядческой Библии, хранящейся в семье как святыня.)

Революция 1917 года освобождает Андрея. Семья собирается за большим столом. Долгий спор о перспективах России переходит в драку с поцелуями. Не участвует во всем этом только Елена, влюбленная в офицера-аристократа, чей лексикон состоит из «позвольте ручку», «зарублю!» и «жжыды».

Том второй.

Андрей Столбов — крупный советский сановник, Алексей Столбов — тихий инакомыслящий чиновник. У Андрея Столбова растут двое сыновей и дочь. Алексей Столбов не успевает обзавестись семьей и уезжает на Соловки. Елена Столбова со своим офицером давно проживает в Париже и работает подавальщицей в кафе, ее муж, естественно, таксист, а старообрядческая Библия, код которой хранит тайну главного семейного достояния, надежно укрыта под полом разрушающегося дома Столбовых. Между тем в семье преуспевающего Андрея все не так уж гладко. Его старший сын — Егор — убежденный сталинист, младший — Илья — столь же убежденный троцкист, а дочь Анна, понятное дело, мечтает о театре. Она увлечена молодым блестящим чекистом с любимым словом «разберемся». В 1938 году, во время кратковременной бериевской оттепели, кроткий Алексей Столбов ненадолго возвращается в Москву из ссылки, и вся семья (минус эмигранты) успевает собраться за столом, чтобы предаться излюбленному мордобою с поцелуями. Кстати, где наша Библия? Право, что за предрассудки! Кстати, на месте бывшего семейного гнезда растут новостройки, и тайник, скорее всего, закатали под асфальт. Жаль, но сколько там будет чистых и светлых квартир!.. Даже Илья ненадолго братается с Егором, и так-то уж все любо! — ждут только молодого чекиста, жениха Анны, который должен объявить об их будущем бракосочетании. В конце концов, она уже беременна. Молодой чекист входит, чтобы арестовать всю семью: Илью — за троцкизм, Алексея — как повторника, Егора и Андрея

— за недонесение. Анна падает в обморок, и у нее непременно случился бы выкидыш, даже три (два больших и один поменьше), но обрывать сагу на втором томе кощунственно.

Том третий.

Во время войны Андрея и Егора Столбовых выпускают как ценных кадров, Алексей и Илья записываются в штрафбат. Илья попадает в плен и оказывается за границей, Алексей смывает грехи кровью и возвращается в Москву на скромную конторскую должность. После войны Андрей руководит восстановлением родных краев и узнает, что новый квартал, выстроенный на месте их семейного гнезда, разбомблен. Он едет на руины, чтобы извлечь из тайника невредимую отцовскую Библию, — но сам прочесть кода не может: его знает только Алексей, а его опять выслали в Красноярск как повторника. Однако центр нашего внимания перемещается на сестру Анну: она родила от своего чекиста двух мальчиков и девочку! Старший мальчик, Петр, — крепко верит в советскую власть, но младший, Борис, — сомневается и мечтает о каких-то свободах. Девочка Люся, само собой, политикой не интересуется и мечтает о театре. Во время фестиваля молодежи и студентов она знакомится с молодым прелестным негром, наследником небольшой африканской монархии, и приводит его в семью. Мордобой, поцелуи.

Том четвертый.

Петр Столбов восторженно приветствует оттепель и верит в возвращение ленинских норм партийной жизни, а Борису не верится, он злопыхательствует, диссидентствует и издает непонятные машинописные альманахи. Чего не верить-то, чего злопыхательствовать — вон как все стало хорошо, из-за железного занавеса просачиваются сведения о Елене и Илье Столбовых, они за границей нашли друг друга и мечтают вернуться в СССР, чтобы одним глазком посмотреть на родню. Скоро они приезжают — седая, но еще красивая Елена, ее смуглый племянник Пуа... В день полета Гагарина вся семья собирается в новостройке, в квартире, которую получил персональный пенсионер Андрей. Тут же и Алексей, вернувшийся из ссылки. Кстати, где Библия? Ах, прости, Алеша, забыли при переезде. Зачем тащить старое в новый быт? За одним столом — бывший зэк Алексей, старый большевик Андрей, эмигрантка Елена, военнопленный Илья, член ЦК ВЛКСМ

Петр, студент-диссидент Борис, Люся с негритенком Мбамбой, и все они Столбовы! Это мы выиграли войну и запустили человека в космос, а отдельные ошибки — что ж, бывает. Кстати, Петр представляет родителям невесту — скромную красавицу Веру. Тут бы и кончить, но четыре тома — это несерьезно.

Том пятый.

У Петра Столбова растут, кто бы вы думали, два сына и дочь. Первый сын — Константин — комсомольский карьерист и функционер, второй — Геннадий — барыга и стилига, а дочь Евгения мечтает о театре. У нее роман с молодым неформальным художником Виктором, снимающим комнатенку в старой коммуналке. По странному совпадению, в этой коммуналке жил когда-то Андрей Столбов. Там и хранится до сих пор семейная Библия. Молодые люди читают Библию, но ничего не понимают. Барыга Геннадий женится на еврейке и эмигрирует за границу, пополняя команду иностранных Столбовых. Тут разражается перестройка, и карьерист Константин еле успевает родить двух сыновей и дочь. Дальше надо переходить к финалу, а то читатель запутается в Столбовых — их стало что-то уж больно до фига.

Том шестой, кода.

Старший сын Константина Столбова Игорь поступает в ФСБ, поскольку не может больше смотреть, как враги расшатывают страну. Младший сын Столбова Юрий идет в бандиты, потому что тоже не может больше спокойно смотреть, как другие разворовывают Родину — ему тоже хочется. Дочь Юлия становится фотомodelью и уезжает из страны туда, где давно уже обитает Евгения со своим художником. В результате бурных девяностых Игорь Столбов становится министром, Юрий — олигархом, Юлия — женой барона Фальцфейна, Андрей и Алексей — столетними развалинами, Петр и Борис — одинаково нищими брюзгами, а Мбамбе — актером на характерные роли. Вся семья собирается на даче олигарха Юрия (другое пространство не вместило бы такое количество Столбовых). Мордобой, поцелуи. Ребята! В конце концов все живы, а что мы за это время наворотили черт-те чего и пришли к тому же самому — разве это главное? Вон и Библия тут же — Евгения привезла из-за границы... Дайте-ка, дайте-ка, говорит Алексей. Тут же зашифровано наше главное сокровище. Он применяет двойную

литорею и иные православные коды, Столбовы облизываются, читатель трепещет. Наконец столетний экс-каторжанин победительно формулирует:

— Наша главная ценность — крепкая семья!

Мордобой, поцелуи, финал. Или не финал? Ведь у младших Столбовых уже растут детки: один — в «Молодой гвардии», второй — в «Другой России». И дочь, мечтающая о театре. Надо же кому-то и за границу пополнять.

2008 год

Конец фильма?

С кино что-то происходит, скрывать это бессмысленно. Раз за разом лажают ветераны и мэтры: Кустурица в очередной раз перепел себя, и «Завет» разочаровал даже фанатов балканского монстра. То, что Никита Михалков сотворил по мотивам Люмета, по многим параметрам просто неприлично, а с профессиональной точки зрения крайне аляповато. Допустим, мне нравится «Внутренняя империя» Линча, но нельзя не признать, что она безбожно растянута и крайне затруднена для понимания. У Киры Муратовой не было ни одного провала, и с профессиональной точки зрения «Два в одном» — интересное авангардное кино, но зачем оно снято — не ответит и Зара Абдуллаева, известная в кинокритическом сообществе способностью вывести все из всего. Братья Коэны, конечно, режиссеры на любителя, но репутация у них прочная; тем не менее «Старикам здесь не место» — фильм откровенно вторичный и вялый, при ряде несомненных достоинств. И тоже, кстати, не особенно понятно — в чем была насущная необходимость его, так сказать, снятия. Иногда в экранизируемой книге смысл есть, а в кино скрадывается, заглушается самоцельными приемами, растворяется в длиннотах — как в «Искуплении» Джо Райта. Райт, нет слов, талантлив и перспективен, но роман Макьюэна куда умнее, осмысленнее, сильнее элегичной и чересчур эстетской экранизации. Все это не помешало ей собрать чуть не полный комплект европейских кинонаград, но смотреть ее скучно, хотя мокрая Кира Найтли чудо как хороша.

Про отечественное молодое кино говорить нечего — у нас случаются полуудачи и даже почти удачи, вроде мелодрамы Ларисы Садилевой «Ничего личного» или трагикомедии Анны Меликян «Русалка», есть поводы для дискуссий — вроде «Александры» Сокурова или «Груза 200» Балабанова, но нет фильма, относительно которого существовал бы зрительский и критический консенсус: вот — событие. Бесспорное. Не только идеологическое, но эстетическое. То, что не стыдно предъявить Западу и Востоку, отправить в Канны и на «Оскара», включить в ретроспективу очередных дней России где угодно, хоть в Африке. Потому что кино — единственное искусство, которое, при всех соответствиях национальному канону, понятно везде: оно интернациональнее балета, музыки и живописи, оно родилось достаточно поздно, когда границы уже стирались и культуры лихорадочно искали общий язык. Собственно, оно и стало этим общим языком. Но фильма, который сегодня объединил бы мир в

едином порыве восхищения — как когда-то «Летят журавли» или «Андрей Рублев», «Сладкая жизнь» или «Забриски Поинт», «Римские каникулы» или «Некоторые любят погорячее», — сегодня нет. И что-то мне подсказывает, что «Трудно быть богом» Алексея Германа — самая ожидаемая картина десятилетия — тоже не заполнит эту вакансию. И мой любимый американец Гор Вербински, создатель «Пиратов Карибского моря», значительно превосшедший Хидео Накату в ремейке «Звонка», — тоже не снимет великого фильма, хотя он единственный, у кого есть для этого все задатки, то есть личность плюс ремесло плюс владение языком масс-культы. Кино не то чтобы в упадке — оно исправно делает свои миллионы, собирает полные залы, остается выгоднейшим бизнесом везде, где отлажен прокат. Но оно все хуже, и с этим не спорят даже киноманы. Напротив, им-то ситуация видней всего. Есть с чем сравнивать.

И объяснить эту ситуацию очень просто. Перед нами крах еще одного великого проекта, сопоставимого с мировой социальной или сексуальной революцией. Это последний из мегапроектов XX века, долженствовавших осчастливить человечество. Он держался дольше всех, потому что оказался самым коммерческим. Но вслед за коммунизмом и либертарианством рухнул и он.

Точней, он еще не рухнул, но уже расслоился — это судьба всякого великого наднационального проекта: то, что должно было объединить всех, распадается на массовое и элитарное, причем массовое оказывается слишком тупо и потому скучно, а элитарное слишком изысканно и, по-русски говоря, выпендрежно. Само расслоение кинематографа на блокбастер и артхаус — признак кризиса: та же «Сладкая жизнь» — артхаус или блокбастер? Ни то, ни другое. Она — фреска, как и поздний Пазолини, и «Бен Гур» Уайлера, и «Доктор Живаго» Лина. Кино массово по определению. При попытке изъять из него интеллигентизм, смысл, обобщение — оно немедленно начинает напоминать младенца из «Соляриса»: вылитый мальчик четырех лет, но огромный, пятиметровый. Помните, с какой брезгливостью рассказывает о нем Дворжецкий в роли Бертон, в экранизации Тарковского, которая, видите ли, не нравилась Лему по причине удаленности от оригинала? Вы Кроненберга посмотрите, тоже «Солярис» снял, и не последний режиссер, — и увидите, куда откатилось кино за двадцать пять лет... Но я не о «Солярисе», а о пятиметровом ребенке, на которого так похожи все современные блокбастеры: спецэффектов море, смысла ноль, зритель выходит смутно неудовлетворенным, будь он хоть трижды кретином. Мускулистый гигант без мозга, всадник без головы. Это заметно и в «Золотом компасе», и даже, страшно

сказать, во «Властелине колец», где Джексон волей-неволей вынужден был пожертвовать многими толкиеновскими смыслами. Дело не в том, что слово всегда многозначней изображения, о чем еще Лессинг написал вполне убедительно. Дело в том, что сегодняшнее кино боится хоть на секунду утратить темп — и движется в клиповом ритме, убийственном для повествования. Это не рассказ, а калейдоскоп.

Что до артхауса — у него свои проблемы, и как хотите — кино многое утратило, решив обращаться к немногим интеллектуалам. Сначала ушел масштаб проблем, вследствие чего талантливые люди вроде Патриса Шеро начали исследовать маргинальные темы и снимать всякие «Инстинкты». Потом возобладала экстравагантность в духе Ларса фон Триера, интерес к сугубой патологии — маргинальность прогрессирует, и вот уже героями умного кино становятся исключительно извращенцы, «Идиоты» или полусумасшедшие. А вот уже исчезает и всякий намек на внятность — художник мудрит, как хочет. И повествование опять-таки распадается — если в блокбастере рассказывать историю мешает клиповый монтаж, в артхаусном фильме главным врагом зрителя становится ручная камера, смазанное, дрожащее изображение, доведенное порой до полной тошнотворности и невнятности, как в «Необратимости» Гаспара Ноэ (где история вдобавок рассказана задом наперед, что окончательно уже затрудняет ее понимание).

Почему все это происходит? Боюсь, придется процитировать Андрея Белого: Петербург может быть только столицей, иначе не будет Петербурга. И Россия, как знает сегодня всякий, может быть только империей — иначе не будет России. Есть проекты, в которых величие заложено не по причине амбициозности или гордыни, а потому, что это нормальное условие их осуществления. Кино — эстетический аналог великой социальной революции XX века. Искусство искусств. Синтез всего, что накопило человечество. Оно должно было снять все оппозиции — объединить богатых и бедных, массу и элиту, Восток и Запад, агрессоров и пацифистов, умных и дураков, революционеров и ретроградов, мужчин и женщин, наконец... Самое массовое из всех доселе известных искусств — благодаря небывалым возможностям тиражирования. Спектакль не повезешь по всему миру и не будешь играть по пять раз в день, а тут — наштамповал копий и верти ручку! Синкретичнейшее действо, объединившее литературу, живопись, театр, музыку, технику! Выгоднейшее вложение денег: продукт практически не имеет срока давности, за двадцать лет окупится любой шедевр, даже если современники его не поняли! Универсальностью изобразительных средств

гарантируется и другая универсальность — воздействия. Кино понятно всем, и даже тот, кто не разберется в метафорах Ланга или Мурнау, насладится движущимся изображением. Кино — это ведь еще и аттракцион, чудо вроде женщины с бородой: вот простыня, вот луч — и на тебя накатывает поезд!!! Люди с визгом бежали из зала. Люди надрывали животики на «Политом поливальщике». Люди, ничего не понимающие в законах драматического искусства, ходили смотреть на любую ерунду — хоть на виды озера Чад: лишь бы понять, как оно двигается. И надо вам сказать, что истинный киноман до сих пор ловит главный кайф не столько от сюжета (сюжет может быть любой, актеры тоже), сколько от самого чуда: темный зал, большой экран, движущаяся картинка... Потрясает же огромное живописное полотно, вне зависимости от качества! А тут оно шевелится, дышит, живет: кино по силе воздействия уникально — а ведь есть еще стереоскопические, объемные, круговые кинотеатры! Ни одно из прежде существовавших искусств не удовлетворяло так полно всех потребностей восприятия, не давало столько пищи глазам, ушам, даже и носу (американцы обожают подпускать дымка на фильмах-катастрофах). Девять муз завистливо выдохнули, пропуская десятую. Не будет преувеличением сказать, что XX век прошел под знаком кино — носитель совершенствовался, кое-кто уверенно отказывался от пленки, но марш из «Аиды» остается маршем из «Аиды», хоть ты его на виниле слушай, хоть на CD.

Кино было не только развлечением, потому что ни одна из великих утопий, на которые так щедр был рубеж веков, не сводится к своей прямой функции: ни одна революция не ограничивается социальным переустройством, ни одна война не сводится к захвату территорий, и кино было не просто универсальным аукционом, заставившим служить себе все прочие искусства. Кино открывало небывалые возможности воздействия па толпу. Не зря его зарю восторженно приветствовал Лев Толстой, которого вообще-то трудно было заподозрить в симпатиях к достижениям цивилизации. Лев Аннинский в «Охоте на Льва» собрал все высказывания Толстого о кино: они по большей части сводятся к тому, что писателям, мыслителям, ведущим театральным драматургам необходимо срочно работать для синематографа! Нельзя отдавать его на откуп бездарям и пошлякам: ведь какие возможности! Толстой немедленно возмечтал писать для кино — что-нибудь нравоучительное, душеспасительное, конечно. Для кино работали все великие литераторы начала века: Маяковский писал отличные сценарии, да что Маяк — он кидался на любой синтез искусства и техники,

видя за ним будущее — Есенин, с его недоверием к этой самой технике, сочинял сценарии! Ленин, которого никто не заподозрит в недостатке прагматизма, подошел к делу здраво: *«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»*.^[2] Почему цирк? — он самый яркий и мобильный, и универсально доходчивый; естественно, клоунада должна быть не простая, а политическая. А кино — это тебе и нагляднейшая агитация, и простая, мобильная кинопередвижка, и минимум требований для просмотра: темнота, изба, простыня, электричество. «В темноте на белой простыни полтора часа удовольствия», — шутил веселый русский народ.

«Синема, синема, от тебя мы без ума» — Алла Сурикова в «Человеке с бульвара капуцинов» точно уловила эту атмосферу веселого безумия, сопровождавшего шествие люмьеровского аппарата по странам и континентам. Кинематографом бредили, дышали, жили. Чарли Чаплин был самым известным мужчиной планеты; есть версия, что Гитлер завел усики в подражание ему. Мэри Пикфорд затмила Сару Бернар. Киноязык развивался стремительно: в 1915 году Гриффит изобрел параллельный монтаж («Нетерпимость»), а в двадцатых Эйзенштейн, Ланг, Клер уже явили миру практически весь арсенал художественных средств, которыми мировое кино пользуется и поныне. В тридцатых появились цвет и звук; Виго, Ренуар, Хичкок, Вертов, Барнет превратили световой балаган в высокое искусство — хотя уже и Чаплин доказал, что десятиминутная фильма (о, этот прелестный, архаический женский род!) по воздействию может превзойти любой сентиментальный рассказ. Чаплин первым почувствовал наджанровую природу кино: настоящая картина не может удержаться в рамках одного жанра — ведь в кадре волей-неволей фиксируется реальность, сама жизнь, а она шире любой специализации. Чаплину принадлежит величайшее открытие: он смешал трагедию и фарс, пародию и проповедь, выпустил на экран своего Бродягу — Дон Кихота XX века; синкретичнейшему из всех искусств стал соответствовать универсальный синтетический жанр. Чистая комедия, кристальная мелодрама — канули в прошлое: кино стало работать на скрещениях, смещениях, сдвигах. Предназначенное всем, позволяющее любому выедать из пирога личный слой — в Голливуде оно достигло технического и профессионального совершенства; тут выяснились его небывалые перспективы в смысле создания национальной мифологии. В сущности, американскую историю придумали голливудские продюсеры, написали лучшие сценаристы (в числе которых перебивали и Фолкнер, и Уильямс, и Капоте), а разыграли великие актеры, ставшие для всего мира воплощением

американской мечты. Кстати, Индию тоже придумало кино — не зря бомбейская студия получила прозвище Болливуд. Россию, конечно, к тому моменту уже изобрела русская усадебная проза, но советская мифология тоже держалась исключительно на кино — хотя бы потому, что ни одна книга не имела такого тиража и не могла соперничать с фильмом в динамизме.

Но тут все начало оседать, поскольку век масс доказал свое банкротство, а универсальные концепции рухнули. Выяснилась нищета всех мифологем, которые внедрялись с помощью кинематографа. Оказалось, что единого для всех, единственно верного учения нет и быть не может, что удовлетворять всем вкусам способны лишь довольно примитивные творения (пусть великие — великое очень часто бывает примитивным), а любой шаг вглубь доказывает: люди все равно разные, и никаким социальным, сексуальным либо научно-техническим переворотом нельзя осчастливить всех. Кино перестало внушать общие для всех, простые истины — вроде необходимости милосердия, демократизма и социальной взаимопомощи. Оно сосредоточилось на более мелких задачах и адресных посланиях. И тут выяснилось поразительное: такое мегаискусство, вобравшее весь предыдущий опыт человечества, способно существовать, только если оно транслирует мегапослания. Только если у режиссера есть искренняя вера, что он этими несколькими километрами пленки изменит мир. Эта вера была у Эйзенштейна и Пудовкина, Селзника и Висконти, Бергмана и Брессона. Последним, кто относился к кинематографу как к религии, был Тарковский. Ведь только религия способна соперничать с кино по мощи и универсальности воздействия! Страшно сказать, но предыдущим синкретическим искусством была... церковная служба! Тут тебе и литература, и театр, и музыка, и метафизика, и стопроцентный охват аудитории; Евгений Марголит недавно доказал, что наиболее одаренными адептами кино и мыслилось как церковь! Вообразите картину: Артек, детский кинофестиваль (одно из немногих мест и мероприятий, где кино еще сакрально, где две недели им буквально живут). Приехавший из Москвы знатный киновед Марголит на темной костровой площадке Речного читает лекцию притихшим детям (после лекции будет извлеченный из недр Госфильмофонда набор ранних экспрессионистских ужасиков; по этому случаю отбой отменен, расписание похерено, работают ночные кафе с мороженым — гуляй, братва).

— Дети! Кто знает: почему у Эйзенштейна в «Броненосце» матросы без нательных крестов?

— Может, он забыл? — неуверенно говорит кто-то.

— Ну да, забыл! Он ничего не забывал. Они же все были

крещенные, православные!

— Может, ему запретили?

— Да нет же! Он хочет этим сказать, что до кинематографа — церкви просто нет! Что Бог еще не создан! А вот появится кинокамера — это и будет Бог.

— Загнул! — раздается среди потрясенного молчания. Кто это сказал? Это я сказал.

Но парадоксы парадоксами, а кино действительно может быть только церковью. Либо — ничем. Если у режиссера нет великого послания, которым он намерен осчастливить человечество, если он не верит в свою способность спасти мир, открыть ему глаза на первопричину зла и подарить способ борьбы с ним — он элементарно не потянет кинопроизводство. Ведь кино — не только могучее зрелище. Это еще и тяжелейший труд, испытание даже для идеального организатора, напряжение всех сил, сопоставимое с организацией дивизионного наступления. Сдвинуть такую махину с места способен лишь одержимый — а для этого надо, чтобы ему было чем одержаться. Бондарчук, снимая восьмичасовую эпопею «Война и мир» (снял-то он двенадцать часов, потом мучился, сокращая), дважды дошел до состояния клинической смерти, а ведущих актеров довел до нервного срыва. А сколько народу погибло на съемках? А сколько режиссеров умерли от инфарктов прямо на съемочной площадке? Кино — дело грубое, это вам не картинки рисовать, не стишки кропать, тут надо месить глину и лепить мир, как молодой Бог на заре мира. Если бы Бог думал о сборах, таргет-группе, бокс-офисе и о том, что скажут критики, — получился бы не мир, а мирок, средненькое, куцее мирозданиице для менеджеров среднего звена, которым некуда себя деть в воскресный вечер. Но он творил для всех — и получилось действительно интересно. Думаю, именно об этом он будет нас спрашивать, когда призовет: ну как? Не скучно? Убедительно? Он же прежде всего художник, и интересуют его не зрительские мелкие грешки, а зрительские впечатления. Понравилось? Хорошо я поработал? Ритм не провисает, свет поставлен грамотно, нитки не торчат? Ну и отлично, пожалуйста в рай.

Сегодняшний кинематограф — как и все прочие искусства — слишком озабочен побочными обстоятельствами. Но если другие искусства выдерживают такую озабоченность, и появляются тонны коммерческой литературы, и квадратные километры салонной живописи, и гигабайты легкой музыки, — кинематографу вся эта мелочность противопоставлена наотрез. Он может быть либо великим, либо никаким. Потому что потратить двести миллионов и заставить работать пять тысяч человек может

только сверхидея.

Которой нет. Вследствие чего мы и наблюдаем катастрофическое падение планки. Кино может быть великим, если берется за великие образцы, — но немедленно становится смешным и жалким, когда рассказывает пустяковые сказки, в которые не верит само.

Отсюда мораль: оно возродится, когда появится еще хоть одна всемирная утопия. Раз в столетие это бывает почти наверняка — и тогда мы опять увидим фильмы, сравнимые с шедеврами золотого века. Потому что снимать кино о невеликом — все равно, что жарить суп на молнии, забивать гвозди микроскопами, укрываться знаменем.

Впрочем, есть выход. Если взрослые не верят в универсальные лозунги и рецепты спасения, существует категория населения, которая готова поверить в утопию и всерьез воспринять происходящее на белом полотнище. Это дети, и я многократно в этом убедился на том же самом артековском фестивале, где на самом плохоньком фильмеце происходят бурные аплодисменты, дикий хохот, искренние слезы и оглушительное приветственное оражение.

Они еще верят, что кино знает окончательную истину. Не может не знать — ведь оно столько всего может!

Так что возрождение его начнется — и уже идет — через детскую сказку. Пока остальное человечество не продвинется настолько, что станет, как дети. Тогда и будут ему шедевры, а до этих пор пусть смотрит хиты.

2008 год

notes

Примечания

Этот краткий обзор наиболее распространенных штампов и легенд относительно России был сочинен для украинского еженедельника «Зеркало недели».

Из беседы с Луначарским, пятое издание сочинений, т. 44, с. 579.